И было утро, и был вечер

Моисей Дорман

SHOUT
SHARE
IT

- Дорман Моисей
  - ○

Дорман Моисей
И было утро, и был вечер

Моисей Дорман

И было утро, и был вечер

Воспоминания и размышления бывшего офицера Красной Армии времен Второй мировой войны о жизни и о войне, о фронтовых буднях и отношениях между людьми, о предназначении человека, о солдатском долге и о любви.

Коротко об авторе

Дорман Моисей Исаакович, 1924 г.

Во время Второй мировой войны - лейтенант противотанковой артиллерии. После войны - радиоинженер, научный работник, преподаватель вуза, разработчик электронной аппаратуры. Автор изобретений и научных работ по статистической радиотехнике и передаче информации.

После репатриации в Израиль (1992 г.) печатал в разных газетах

публицистические статьи, рассказы и эссе.

Искренне признателен Марии Ильиной и Давиду Школьнику, а также Марку Котлярскому и Леониду Дорфману, благодаря профессиональному и дружескому участию которых эта книга появилась на свет.

Особая благодарность жене Наде за постоянную воодушевляющую поддержку.

Автор

"ИЗВЕСТНАЯ ВАМ ЖЕНА"

В январе 1995 года собрание участников Второй мировой войны г. Реховота (город в Израиле) решило устроить к маю большую юбилейную выставку, посвященную 50-летию Победы. Собравшиеся обратились к ветеранам с просьбой передать юбилейной комиссии фронтовые фотографии, письма, наградные документы, газеты, "боевые листки" и пр. И тогда я вспомнил о своем "архиве", хранящемся в большой красной конфетной коробке.

Я вожу эту коробку за собой всю свою долгую суматошную жизнь. С места на место, из города в город. Наступило время навести в "архиве" порядок. Возможно, сохранилась моя фотография 1943 года, когда я был еще курсантом 1-го Ростовского артучилища, или фотография 12 мая 1945 года в Градце Кролевом под Прагой. Тогда у нас наконец по-настоящему закончилась война.

Архивную коробку я нашел сразу. Развязал шпагат, высыпал бумаги на стол. Среди старых писем и фотографий лежал розовый измятый конверт. Незнакомый почерк, мой фронтовой адрес: "Полевая почта 31040". Письмо из Конотопа, Черниговской области. Я вздрогнул - письмо не мне, а Гоменюку В.С., моему командиру!

Сразу отчетливо вспомнил: наш фронтовой почтальон вручил мне розовый конверт в декабре 1944 года для передачи Гоменюку, находившемуся тогда на излечении в санбате. Я машинально сунул письмо в свою полевую сумку. Разных приключений, переживаний и забот было предостаточно. В суете фронтовых будней о письме я забыл. Потом был бурлящий май 1945-го, "Победа со слезами на глазах". Началась новая жизнь, круговорот иных событий, надежд и начинаний...

Так и пролежало у меня дольше полувека не дошедшее до адресата письмо в розовом конверте.

Война долго казалась мне лишь отдельным, хотя и затянувшимся кровавым происшествием, лишь преходящим эпизодом жизни. Было и прошло, перемелется, позабудется, перестанет волновать. Увы, война не отпускает, она осталась во мне навсегда.

Удивительно, - все давно пережитое кажется теперь более значительным, и оно волнует даже сильнее, чем в дни молодости. Да, недаром говорят: "Большое видится на расстоянии". Сегодня, уже далеко за порогом старости, жизнь, вообще, воспринимается как один быстротечный удивительный сон, как странное, щемящее видение.

Я держу в руках взволновавшее меня письмо, измятый листок бумаги, исписанный черноглазой улыбчивой, наивной девчонкой Зиной, сидевшей однажды рядом и разговаривавшей со мной более полувека тому назад на передовой у села Пистынь, что за Коломыей, в Карпатах.

Вот оно, это письмо, и я читаю (содержание, стиль и орфография сохранены).

"Здравствуйте, многоуважаемый муж Василий Степанович Гоменюк!

Шлем вам свой пламенный привет и горячий поцелуй и низкий поклон от вашей жены Зины Сергеевны Гоменюк и вашей дочьки Светланы Васильевной и вашей известной вам теще Валерье Спиридоновны и нивестки Любви Осиповны и ее сына Вадима Святославовича и внука Адольфа Вадимовича и вашего дяди Лукьяна Васильевича Колбасенка и его жены Хрыстины Спиридоновны и их детей Евгенье Лукьяновной и Нины Лукъяновной и Ревмира Лукьяновича и от вашей известной вам

Тети Лукерье Спиридоновны и ее дочерей Светланы Федоровны и Эльвиры Федоровны и от известного вам вашего любимого дяди Архипа Никифоровича Продольного и его жены Галины Спиридоновны и от дочки Вилены Архиповной шлем вам свой горячий поцелуй и низкий поклон и желаем вам всего наилучшего в вашей офицерской жизни и желаем вам прожить хорошо с вашими фронтовыми подругами и друзьями.

Передаем вам привет и досвидане от всех ваших родственнков. От известной вам вашей жены Зины Сергеевны и от дочьки Светланы Васильевной и вашей теще

Валерье Спиридоновны и вашей нивестки Любви Осиповны и ее сына Вадима Святославовича и внука Адольфа Вадимовича и вашего дяди любимого Лукьяна Васильевича Колбасенка и его жены Хрыстины Спиридоновны и их детей Евгенье Лукьяновной, Нины Лукьяновной и Ревмира Лукьяновича и от вашей тети Лукерье Спиридоновны и их дочерей Светланы Федоровны и Эльвиры Федоровны и от вашего дяди любимого Архипа Никифоровича Продольного и его жены Галины Спиридоновны и их дочьки Вилены Архиповны и низкий поклон от всех знакомых.

От 5 ноября 1944 года. Известная вам жена Зина Сергеевна с горячим приветом".

Это безыскусное, наивное послание из невероятной дали, из моей давно отшумевшей юности, свидетельство давно отпылавших страстей и пережитых трагедий, взбудоражило меня. Эх, Зина, Зиночка, ты, наверно, и не догадывалась, какую роковую роль невольно сыграла летом 1944 года на передовой у села Пистынь, что под Коломыей.

% % %

Наша дивизия отличилась в тяжелых февральских боях вокруг Корсунь-Шевченковского котла. Затем она вновь отличилась в марте 1944 года при

освобождении Проскурова, за что удостоилась почетного наименования

Проскуровской. Наступление продолжалось весь март и апрель, но из-за нашей крайней усталости, из-за весенней распутицы и возросшего сопротивления немцев продвигались мы все трудней и медленней. Наконец в мае через Коломыю мы вошли в предгорье Карпат.

Потери были огромны: от полков остались неполные батальоны, от батальонов - роты и даже взводы. Наш противотанковый дивизион тоже нуждался в срочном пополнении.

В марте под Проскуровом во второй батарее, где я служил командиром огневого взвода, случилось ЧП: во время боя исчез

командир батареи старший лейтенант Салтыков. Через несколько часов его обнаружили в стожке полусгнившей соломы. Он выглядел очень странно: испуганно озирался по сторонам и бормотал что-то невнятное. Пришлось отправить его в сопровождении санинструктора и командира взвода управления в санбат. Вернувшись из санбата, сопровождающие рассказали, что Салтыкова отвезли в госпиталь для выяснения: действительно ли он тронулся умом или придуривается? Тогда и решат, лечить ли его как сумасшедшего или отдать под трибунал за дезертирство.

Салтыков в дивизион не возвратился, и командиром батареи назначили меня, а на освободившееся место командира взвода взяли младшего лейтенанта из армейского резерва.

В середине мая моя батарея заняла оборону северо-западнее Пистыни на гребне высоты, которую в штабе почему-то назвали "Кобыла". Так определился передний край, - пехоты впереди не было. От нас к немцам шел пологий спуск, поросший густым кустарником и высокой травой. Дальше, на западе, поднималась высокая гора с островками негустого леса. Вокруг все утопало в зелени и благоухало.

Первые дни под Пистынью прошли тихо. Не только мы, но и немцы, видимо, выдохлись. Целостного фронта здесь не было - сплошные прорехи, дыры. Проникнуть в тыл ничего не стоило: пехоты нет, вокруг леса, кустарник, местность сильно пересеченная - горы, долины, холмы и овраги. Не только разведка, целая дивизия в тыл пройдет - никто не заметит. Ночи были темные, таинственные, тревожные. Тогда особенно остро ощущалась опасность.

В конце мая нас доукомплектовали до полного штатного состава. Теперь в батарее тридцать человек и четыре пушки-сорокапятки. Между первым и четвертым орудием почти полкилометра. По ночам большая часть людей бодрствует - на постах и в секретах недалеко от пушек. Орудийные площадки подготовлены для круговой стрельбы: мы ожидаем нападения с любой стороны. Для ближнего боя готовы картечь, гранаты, два ручных пулемета РПД и, конечно, личное оружие. Перед нами, рядом - нейтральная полоса, ничейная земля.

Наступило затишье, и оказалось достаточно времени, чтобы отрыть глубокие ровики и орудийные площадки, оборудовать укрытия для сна и отдыха, обложить брустверы дерном и устроить хорошую маскировку.

Нередко шли дожди, ровики и укрытия заливало. Однако на "Кобыле" вода долго не задерживалась, стекала в долину. Весенний ветерок разгонял тучи, пригревало солнце, и мы быстро обсыхали. На обратном скате высоты, чуть пониже огневых

позиций, на пепелище чернела печь с высоким дымоходом и полусгоревшая бревенчатая банька. Солдаты устроили там кухню: кипятили воду, варили суп из концентрата и местной картошки.

В тылу батареи в долине, у самого края обширного сада, приютился старый приземистый бревенчатый дом, крытый дранкой. Он сильно потемнел от времени и оброс зеленым мхом. Рядом - сарай, за ним хлев, загон для скота, колодец с журавлем.

Хозяйка дома - газдыня - Ганна была черна лицом, неопрятна и печальна. Она рассказала мне, что хозяина - газду - и сына угнали немцы, а свою дочь она отправила к тетке в Коломыю. "Здесь опасно, - солдаты ходят", - сказала она. Ей и самой страшно, но что делать? Нужно присматривать за домом, огородом, - другого выхода нет. Были у них две коровы, овцы, но солдаты забрали. Какие солдаты, она не знает. Мой ординарец, немолодой, мудрый ефрейтор Никитин, давно разменявший пятый десяток, полагает, что муж и сын бабки Ганны угнали свой скот в горы, чтобы там спасти его. До осени они перебьются в горах, а там, даст Бог, фронт пройдет, и скот уцелеет. Хитрые мужики.

Прошло недели две. Фронт заметно укрепился. Бреши постепенно заполнялись свежими войсками. К нам на батарею зачастили полковые и дивизионные разведчики. Днем они подолгу лежали под кустами или пробирались на нейтральную полосу и, затаившись, наблюдали в бинокли передний край немцев, высматривали огневые точки, заграждения, проходы. Ночью разведчики уходили в поиск, а возвращались до рассвета где-нибудь на соседнем участке, иногда с "языком", иногда с раненым товарищем, "пустые".

Как-то вечером, сидя со мной в укрытии, лейтенант из дивизионной раз-ведроты рассказал, что недалеко от нас, в полосе 115-го полка, на нейтральной территории, в густом лесу притаилось небольшое село, точнее, хутор. Там всего несколько домов.

Хозяева очень богаты: у них много коров - молока и масла девать некуда.

К "лесным куркулям" наладились ходить наши солдаты и немцы. Хозяева откупаются от этих и от тех молоком, сметаной и маслом. По утрам туда идут наши братья-славяне, а к вечеру заявляются фрицы. Солдаты привыкли, друг друга не трогают. Немцы наладились даже менять свои эрзац-сигареты на наш табачок и махру. Русские якобы кричат: "Эй, фриц, ходи сюда, Гитлер капут!", а те - в ответ: "Гей, Иван, кам-кам! Сталин капут!". Говорят, что наши даже устраивают с немцами общий перекур. Разведчики много интересного знают. Они, кстати, установили,

что на нашем участке появились также власовцы и мадьяры.

Затишье на фронте постепенно расслабляет и понемногу деморализует. Так, во всяком случае, было летом 1944 года в Карпатах. Некоторые, в основном старые солдаты, стали поговаривать, что, видимо, начинается братание, а это верный признак скорого окончания войны. Ленин, дескать, сам призывал солдат к братанию. Одним словом, началось у нас некоторое брожение умов, появились слабые надежды на мир.

Однажды в самом начале июня, под утро разбудил меня дежуривший у пушки солдат-татарин Давлетшин:

- Комбат! Комбат! Война кончился! Читайте газету!

Он протянул мне какую-то газету большого, как у "Правды", формата, не то что наш армейский листок "За Родину!":

- Кто дал тебе эту газету?

- Никто не дал. Сверху упал. Самолет летал. Много газет тут упал.

На первой странице - огромные красные буквы: "ЗА МИР И СВОБОДУ!". Со сна ничего не понимаю. От неожиданности что-то дрогнуло во мне. "Неужели наконец мир?" Я быстро поднялся, протер заспанные глаза и стал внимательно читать.

Под красным лозунгом - воззвание какого-то генерала Синельникова: "Вступайте в ряды РОА - Русской Освободительной Армии!". На второй странице - фотографии власовцев в казарме, в столовой, у клумбочки с цветочками. В конце последней страницы жирным шрифтом набрано:" Прочти и передай товарищу! Эта газета является пропуском в плен и рекомендацией для зачисления в ряды РОА".

- Да ты что, Давлетшин, читать по-русски не умеешь? Это же власовская газета! Не шуми и не буди людей! Все газеты, которые упали около огневой, подбери и утром отдашь мне. Смотри, это немецкая пропаганда. Наверно, скоро сюда прибежит "Смерш", будет тебя допрашивать: "Где взял газету? Кому давал читать?" - "Никому не давал, кроме комбата", - так скажешь. Понял?"

- Ай, жалко! Думал, мир будет. Свобода, да? Не сердитесь, что будил.

Конечно, утром, ни свет ни заря - звонок из штаба: "Организовать на участке батареи прочесывание местности. Газеты и листовки - все до единой собрать, сосчитать и составить акт. Приедет особист и со всем разберется. Собранные газеты передать ему. С личным составом батареи провести воспитательную беседу".

- "Есть! Будет сделано!"

Часа через три заявился на батарею особист. Беседовал наедине со мной и с солдатами. Никакого криминала не

обнаружил. Скинул собранные нами газеты в поджидавший его внизу "виллис" и уехал.

На передовой было, в общем, спокойно. Впрочем, спокойствие на фронте всегда относительно. Происшествия местного значения случались почти ежедневно.

В одну из "спокойных" ночей немецкие разведчики добрались до третьей батареи, стоявшей правее нас на соседней высоте. Они сумели тихо, не вызвав тревоги, вырезать расчет левофланговой пушки, а командира орудия сержанта Самылина увести с собой.

Утром на огневой позиции обнаружили четыре трупа: кого - с перерезанным горлом, кого - с пробитой ножом грудью. В стороне нашли еще пилотку, подписанную Самылиным, как было принято, изнутри химическим карандашом. Немцы не только утащили Самылина и унесли личное оружие, но и укатили с собой пушку, что потрясло всех! То была тщательно продуманная и четко выполненная диверсия.

Рядом с огневой Самылина в сторону немцев тянулась почти незаметная твердая грунтовая дорога. По ней они тихо, на руках, и укатили нашу сорокапятку весом

570 кг.

С немцами, скорее всего, были и власовцы. Они, видимо, обманули наших солдат-новичков, заговорив с ними по-русски. Естественно, командира взвода младшего лейтенанта Знаменского - отдали под трибунал. Суд продолжался полчаса. Выяснилось, что в ту ночь Знаменский спал и посты не проверял. За такую преступную халатность его разжаловали в рядовые и отправили в штрафбат.

Через несколько дней, когда почти все забыли уже и Самылина, и Знаменского, для поддержания дисциплины был объявлен важный приказ по дивизии. Всех известили, что трибунал приговорил к расстрелу старшину и солдата из соседнего 115-го полка за "братание с фашистским врагом".

Расстрел устроили показательный. Каждая часть, в том числе и наша, по

распоряжению политорганов направила на эту акцию по два представителя: сержанта и солдата. Приказом замполита дивизии было предусмотрено, что эти представители, возвратившись в свои части, проведут беседы с личным составом и расскажут, за что и как расстреляли предателей: старшину и солдата.

Провинившиеся, как установил трибунал, ходили на "нейтралку" по молоко и масло. Там они встречались с немцами, но в бой с ними не вступали, бывало даже, мирно беседовали. Такие действия, сказано в приговоре, есть предательство Родины. За это полагается высшая мера наказания - расстрел перед

строем.

Старшина принял смерть молча, глядя в небо. Солдат же ползал на коленях, плакал, просил помиловать и отправить в штрафную, чтобы кровью искупить вину. Он был совсем молод, пережил оккупацию, не успел еще окончить школу. Только в феврале его мобилизовали. И вот... Он кричал, что многие ходили по молоко, а с них ничего не спрашивают, они будут жить.

Какой-то офицер подскочил к нему, пнул сапогом в лицо и поднял на ноги... После залпа солдат упал, но продолжал дергаться. Тот же офицер пристрелил его из пистолета - в затылок. К расстрелянным сразу же подошел военврач и объявил, что оба преступника - мертвы, можно закапывать.

Кто знает, сколько человеческих душ убивал и калечил каждый день и каждый час войны? А до Победы оставалось еще долгих 330 дней и ночей!

% % %

Помню яркое утро 6 июня 1944 года - мой день рождения. Мне исполнилось 20 лет. Начался день хорошо. Из штаба передали долгожданную весть: союзники открыли наконец второй фронт! Победа стала ближе. Дожить бы...

После полудня к подножию нашей "Кобылы" подкатил штабной "виллис". Кто-то из солдат громко позвал меня:

- Комбат! К нам Макуха идет и с ним какой-то начальник!

Я вылез из укрытия. Начальник штаба дивизиона, официально - старший адъютант капитан Макухин, медленно поднимался к нам. Рядом с ним незнакомый немолодой офицер, высокий, статный, усатый, красивый. Новенькая комсоставская гимнастерка, фуражка с лаковым козырьком, начищенные до блеска хромовые сапоги, кавалерийская, особо ценимая франтами, портупея. В левой руке - аккуратный чемоданчик и шинель. Ко всему - три ордена и две медали. Вид строгий, внушительный.

Макухин на батарее - гость редкий, с зимы не появлялся. Значит, у него важное дело. Я, как положено, доложил начальнику штаба части: обстановка спокойная, потерь не имеем, боеприпасов полный комплект, огневые позиции вот они, на гребне высоты. Он пожал мне руку:

- Привез вам командира батареи. Вот - капитан Гоменюк.

- Как, как? - не расслышал я.

- Гоменюк Василий Степанович, из госпиталя, после ранения. А это, - он обернулся к капитану, - твой командир взвода.

Капитан молча протянул мне руку. Вот оно, важное дело - новый комбат. Макухин к пушкам идти не пожелал. Он вытащил из планшетки карту, дал мне карандашик:

- Уточни положение батареи.

Я отметил на его карте наши позиции.

- Ну, вот и все, капитан. Принимай у него батарею. Познакомься с личным составом, с обстановкой. Вечером доложишь. Действуй! А я пошел, дела.

Так началось мое знакомство с капитаном Гоменюком.

- Пойдем, лейтенант, в твой блиндаж. Там поговорим, познакомимся с людьми. А потом посмотрим местность, огневые позиции.

- У меня своего отдельного блиндажа нет.

- А как? Ты же был командир батареи! Где ты находишься?

- Со вторым расчетом. А телефонисты рядом ровик себе отрыли. И все. Я не генерал, чтобы оборудовать себе отдельный блиндаж.

- Непорядок, непорядок. Подрываешь авторитет офицера и дисциплину.

- А дисциплина у нас хорошая. Нарушений и ЧП не было. Хотите со мной поговорить, давайте присядем здесь, на ящики. Ничего, - это стреляные гильзы. Удобно, светло.

- Ладно, придется навести порядок. Давай, показывай свою документацию!

- Э-э, какую документацию? Список личного состава по форме и учет

материальных ценностей по вещевому снабжению и боепитанию - все у старшины. У меня ничего нет. Всех людей я знаю на память, наличие боеприпасов тоже. Тягачи отогнали к штабу, приказ был. Там целее будут. А пушки - вот они на огневых. Все! Хотите, я продиктую вам список личного состава. Придет старшина - сверите.

Я чувствовал, что капитан чем-то не доволен, но не мог понять, чем? Он посидел минуту молча, потом вытащил из полевой сумки большой блокнот и карандаш:

- Давай списочный состав. Начнем с тебя.

- Пишите. Фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность...

- Имя-отчество у тебя странное.

- Какое есть. Ничего странного. Нормальное, еврейское.

- Да я сам понял, что ты еврейской национальности. А что, - Моисей, Исак - святые ваши, что ли?

- Ну, вроде того. Просто древние имена. Между прочим, Исаак пишется через два "а".

- Вообще, не играет значения. Но грамматически нужно два "сэ".

- Играет, играет. В личном деле два "а". Так и пишите.

- Раз попал в армию, да офицером, то надо и называться по-русски, Михаилом, что ли.

- Имя дается один раз на всю жизнь. Не надо меня крестить. А в армию я не попадал, а пошел добровольно из Военно-механического института, артиллерийского факультета. Институт военный, дает отсрочку от призыва. Чего вы хотите?

- Ладно, не кипятись. Горячий, видишь ли. Пошли дальше. Первый расчет... Память у меня была хорошая, и я продиктовал Гоменюку списочный состав батареи.

- Товарищ капитан, зовите сюда людей, скажите, что положено, и закончим с этим.

- Сам знаю. Иди собери личный состав. А передачу закончим со старшиной. Звони в штаб и гони его срочно сюда. Понял?

- Понял, понял. Иду.

Так в первый же день знакомства мы не понравились друг другу.

Когда все свободные от дежурства собрались, Гоменюк хорошо поставленным командирским голосом объявил, что с сего дня вступает в командование батареей, а лейтенант возвращается к своему взводу. Новый комбат строго предупредил, что не потерпит никаких нарушений воинских уставов и порядка. Нарушителям никакой пощады не будет! Потом он сказал, что раньше командовал гаубичной батареей в артполку РГК (Резерв Главного Командования) и прибыл сюда после тяжелого ранения, полученного на Курской дуге.

- Какие есть жалобы?

Все молчали. Кое-кто начал чиркать кресалом, готовясь раскурить цигарку.

- Отставить курение!

Молчание затянулось, и капитан приказал разойтись по местам. Потом мы осмотрели огневые позиции. Я рассказал об особенностях местности, выбранных ориентирах, скрытых подходах, опасных направлениях и других деталях.

- Лейтенант, теперь иди в свой взвод, а мне пришли ординарца.

Он вытащил пачку "Казбека", взял папиросу и стал стучать мундштуком по коробке. А я направился к своему взводу.

Ординарец Никитин ждал меня. Ему не нужно было ничего объяснять: он знал, что переходит к Гоменюку. Никитин был очень симпатичен мне природным тактом, умом и естественной добротой. Я постоянно ощущал на себе и ценил его заботу. Не раз он выручал меня. К нему, единственному из солдат, я обращался на "Вы" - исключение из правил фронтового этикета.

- Никитин, мне жаль, что нам приходится расставаться. Я

написал о Вас своим родителям. Получил недавно письмо от матери. Она просит передать ее, ну, материнскую благодарность. Вы мне много помогали и по службе, и по дружбе. Я, само собой, хочу сказать Вам спасибо.

Я, как мог, горячо и благодарно, пожал ему руку.

- Да чего там, лейтенант. У меня сын на фронте. Гляжу на Вас, а думаю-то о нем. Вот оно и получается. Мы же рядом служим. Гора с горой не сходится. А человек всегда может. Так что, Бог даст, свидимся еще. Бывайте здоровы. Ваш сидор (вещмешок) и одеяло у Воловика.

И он отправился к своему новому начальнику.

Не успел я еще осознать происшедшей перемены, вернулся Никитин:

- Комбат приказал выделить от каждого расчета по два человека с

инструментом. Будут срочно делать ему блиндаж. Старшим назначить командира орудия из ваших.

Делать нечего - послал я Воловика с тремя солдатами. Шанцевый инструмент: лопаты, пилы, топоры и ломы - есть в каждом расчете. Работать солдаты умеют.

Тем не менее к ночи выполнить приказ комбата не успели, потому что велено было строить блиндаж особый: в полный рост, стены обшить и к тому же накрыть двойным накатом. Для этого пришлось разобрать по бревнышку недогоревшую баньку, что стояла в тылу батареи. Работы было очень много. И хотя трудилась вся батарея, сооружение укрытия для комбата закончилось лишь поздним вечером следующего дня.

Этот огромный блиндаж с отсеками для телефонистов и ординарца показался всем нелепой барской прихотью. У нас командир батареи всегда находился при одном из орудий. Гоменюк же, по-видимому, привык сидеть на своем НП (наблюдательный пункт) в персональном укрытии, вдали от огневиков. Его

высокомерие и неразумная требовательность вызвали удивление и глухую

неприязнь. Сержант Воловик, человек горячий и искренний, пожаловался мне ночью:

- Надсмотрщик какой-то, а не комбат. Вот нашелся надзиратель на нашу голову. Шкура. Не хочет жить с нами вместе, как другие комбаты. Дистанцию держит.

- Он привык так в своем гаубичном полку, - пытаюсь я смягчить Воловика.-Осмотрится, разберется, осознает, что такое прямая наводка. Может, и переменится.

- Не похоже. Сволочь он - сразу видно.

Командир второго орудия Воловик - москвич, парень образованный,

культурный. Перед самой войной окончил учительский институт, готовился

преподавать историю и географию в люберецкой школе. Не успел. Ему 26 лет, и

жениться тоже не успел, о чем теперь сожалеет. Он близок мне, и мы доверяем друг другу.

Первым расчетом командует старший сержант Батурин. Это совсем другой человек: грубый, жесткий, самолюбивый и недоброжелательный, но командир толковый, волевой, самостоятельный. Ему уже 37 лет. Работал токарем в

Челябинске, на тракторном заводе. С ним я держусь настороженно, официально, опасаюсь подвохов.

Так двадцатый день рождения запомнился мне навсегда. Июньская ночь была тепла, на небе - ни облачка. Брезент, служащий крышей нашего "блиндажа", сняли. Я лежал на спине и смотрел на звезды. Время от времени то слева, то справа раздавались пулеметные очереди. Трассирующие пули ярким пунктиром прорезали чернильную темень, накрывшую землю и притаившихся в ней людей. Немцы для собственного успокоения то и дело запускали осветительные ракеты. После них ночь казалась еще темней.

Я смотрел на звезды и думал, что молодость уходит, "распечатан" третий десяток.

И казалась тогда несбыточной мечта - дожить до тридцати. Часто возникало предчувствие, что умру я на огневой от раны в живот. Повидал я такие тяжелые смерти, и приснилось мне однажды именно так. Причем сон был столь ярким и убедительным во всех деталях, что был воспринят мною как пророческий, вещий.

% % %

В июне продолжалось затишье. Новый комбат укреплял дисциплину: запретил игру в карты, требовал уставного обращения, пресек отлучки в село за яблоками и картошкой. Он часто уходил с Никитиным в штаб, и я, как положено, оставался старшим на батарее.

В июне же у нас случилось необыкновенное происшествие: комбат привел на батарею женщину. Прямо на передовую. Он поселил ее в "хитром домике" у бабки Ганны под присмотр Никитина.

На вопросы солдат Никитин отвечал коротко, без подробностей:

- Жена к комбату приехала на побывку.

- Не дури нам голову, Никитин! - удивлялись солдаты. - Какая может быть жена здесь, на передке? Какая побывка? Скажи честно: ППЖ (полевая походная жена)

или какую местную подобрал? Может, хозяйкина дочка? Бабка Ганна могла привезти. Хороший ей зять будет. Ха-ха.

- Говорю - жена, значит, жена. Не вру.

Всем было интересно посмотреть на комбатову жену. Наших дивизионных ППЖ мы, конечно, знали. Это были "законные" ППЖ.

У командира дивизиона была наш фельдшер, старший лейтенант медслужбы Женя, между прочим, дочка полковника, начальника артиллерии дивизии. Она очень хороша собой, даже в военной форме. Однако как медик ничего не стоит: небрежна, невнимательна, на передовой во время боя не появляется. Как-то она делала нам прививку (под лопатку) то ли от тифа, то ли от столбняка. После уколов у всех образовались на спине нарывы и поднялась высокая температура. Говорили, что скисла вакцина, а кроме того, Женя колола всех одной и той же грязной иглой.

Макухинская ППЖ числится радисткой. Радиостанции же у нас нет. Поэтому она иногда дежурит у штабного телефона. Это толстая, сонная, хмурая деревенская девка, тихая и как будто чем-то напуганная. Помню ее очень светлые, почти белые волосы и круглое лицо, усыпанное веснушками. Она окончила в своей деревне всего восемь классов. В начале войны убежала в город, заявилась в военкомат и упросила военкома принять ее на воинскую службу. Получила направление в учебный полк связи, где готовили девушек-связисток. Оттуда она и попала к нам, когда в 1943 году дивизион формировался под Москвой.

А еще помню Татьяну Васильевну - ППЖ капитана Вишневского, заместителя командира дивизиона. Это была солидная женщина лет тридцати, если не больше, настоящая, опытная, дипломированная медсестра. Она часто появлялась на передовой во время боя, умело перевязывала раненых. Держалась просто, но строго. Ее все уважали и обращались только по имени-отчеству, что свидетельствовало об истинном почитании.

В конце лета, будучи уже командиром взвода управления, я оборудовал

КП (командный пункт) дивизиона на окраине Пистыни. Работали мои солдаты и несколько местных жителей, которых прислал по нашему требованию комендант села.

Днем метрах в двухстах от КП на дороге остановился штабной "виллис". К нам направился капитан Вишневский - проконтролировать работу. В машине остались водитель и Татьяна Васильевна. Капитан убедился, что КП почти готов, и

передал приказ командира: к ночи перевести сюда всех разведчиков и часть связистов.

Капитан уже возвращался к своей машине, когда начался артналет. Снаряд разорвался между КП и "виллисом". Вишневский упал. К нему бросились Татьяна Васильевна, водитель, я и один из солдат. Капитан лежал в луже крови. Он был жив, но сильно покалечен.

Татьяна Васильевна наложила жгуты и быстро перевязала его. На нее было больно смотреть. Перевязывая, она шептала сквозь слезы: "Только не умирай, Витя! Только не умирай!" Она попросила меня передать Макухину, что останется с Вишневским до конца, что в любом случае сюда больше не вернется, потому что беременна; будет ухаживать за Вишневским и растить ребенка.

Позже я узнал, что из санбата раненого капитана сразу увезли в армейский госпиталь. Татьяна Васильевна уехала с ним, и следы их затерялись...

Все были уверены.что комбатова жена - всего лишь новая ППЖ.

В день, когда она объявилась у нас, Никитин прибежал ненадолго за продуктами и сразу же возвратился в "хитрый домик". Гоменюк ушел с батареи за полночь, не сказав мне ни слова. Утром он появился в расположении, прошелся по огневым, доложил в штаб, что на батарее все в полном порядке, и возвратился в "домик". Позже кто-то из солдат, ходивший к бабке Ганне по воду, узнал, что капитанову жену зовут Зинкой. Солдат через открытое окно слышал, как Зинка плакала, а капитан обзывал ее дурой.

На следующую ночь капитан опять ушел в "домик", сказав мне на прощание:

- Остаешься за меня. В случае чего срочно вызывай! Бегом! И чтоб никаких лишних разговоров! Все понял?

Ночью, как уже не раз бывало в последнее время, внезапно разгорелась перестрелка на участке первой батареи. Окопавшийся слева от нас взвод ПТР всего три ружья - открыл бесприцельный огонь. Командир взвода Алимов, стоя в полный рост позади своих солдат, истошно кричал:

- Болшэ агня! Болшэ агня! Пуст ани баятся!

Ко мне из комбатова блиндажа прибежал телефонист:

- Комбата - к телефону!

Я скомандовал Батурину: "Быстро кого-нибудь за комбатом в домик!" - и кинулся за телефонистом.

В трубке не очень трезвый, как мне показалось, голос майора:

- Ты спишь, что ли, телефонист? Давай комбата!

- Береза - два. Слушаю, - ответил я, слегка запыхавшись.

- Что там у тебя, Гоменюк? Что за шум?

- Перед нами все спокойно. Все на местах. А слева у самой дороги пулеметная и автоматная стрельба. Может, разведка напоролась, не знаю. У нас тихо.

- А кто это говорит? Ты, Гоменюк?

- Нет, не он. Он сейчас подойдет.

- Узнал тебя. Ты что это по старой привычке докладываешь! Давай капитана сюда!

Командир дивизиона длинно выругался и еще нервно добавил:

- Давай, мать его за ногу!.. Быстро!

Комбат задерживался. Дальше по линии пошел изощренный командирский мат, и майор бросил трубку. Через несколько минут прибежал запыхавшийся Гоменюк:

- Ну! Что тут у вас случилось?

- У нас все в порядке. Но только что звонил майор. Спрашивал обстановку, вас требовал. Я сказал, что Вы отошли, сейчас подойдете. Он с минуту подождал и бросил трубку.

- А чего ты ему еще наговорил?

- Больше ничего.

- Иди! Я тут сам разберусь.

Остаток ночи капитан провел на батарее, а утром ушел в свой домик. Затем появился Никитин и взял у старшины продукты: он теперь себе и капитану готовил сам. Воловик сидел рядом с укрытием на ящике, хлебал из котелка чай и грыз сухарь:

- Ну, как, Никитин, провел ночь, пока комбат тут по телефонам разговаривал и дисциплину укреплял? Хорошая у него жена или как?

- Бросай, Воловик, эти разговоры.

- Нет, ты скажи правду. Неужели всю ночь стоял на посту, как евнух турецкого султана? Охранял молодую жену и свечку держал?

- Тебе, сержант, все шутки да шутки. Как не надоест?

- Не серчай, Никитин, не надо. Я просто так, не удержался.Сам не знаю зачем.

Давай, помогу тебе этот ПФС (продовольственно-фуражное снабжение)

отнести да и воды у вас наберу. Капитан еще не опечатал колодец?

Возвратился Воловик не скоро. Веселый, довольный:

- Капитан спит как сурок. Молодая жена скучает. Никитин стряпает. Она совсем девчонка... Не жена ему, - внучка. Ей сказки рассказывать - будет слушать. Особенно, если на руках носить.

Любопытная и разговорчивая. Спрашиваю: "Как приехала?" Отвечает: "Знакомый от Василя Степановича приезжали, передачу привезли и все рассказали, как сюда ехать". Отчаянная девка. Хочет стать боевой подругой и медсестрой при дедушке. Ночью будет помогать ему по нужде. Ха-ха!

Солдаты пристают к Воловику с расспросами, плоскими шутками и советами:

- Заметит капитан, что ты его жену в кусты водил - конец тебе. Он такой. Лихой.

- Никуда я ее, к сожалению, не водил. Там Никитин на посту. Не дремлет -охраняет, как "катюшу" на огневой. В саду на лавке посидели, поговорили немного. Вот и весь роман. Вообще, ребята, жаль мне ее. Простая она и наивная, хотя уже 18 лет. Я за полчаса выпытал про всю ее жизнь. Все байки принимает на полном счерьезе. Шуток наших не понимает.

- Эй! Да она влюбилась в тебя. Ученицы часто в учителей влюбляются. Ты ей в самый раз будешь. Колись, Воловик! Было дело?

- Если честно, то понравилась. Доверчивая и ласковая. В умелых руках, может, и станет хорошей женой. А так... Не в нашего коня корм.

- Не то говоришь. Капитан, похоже, ее в ежовых рукавицах держит. Все будет ладно.

- Она уже родила дедушке дочку. А он ей аттестат не высылает. Может, он в ЗАГСе не на том месте печать поставил? На вещевой книжке. Во - хитрец. Ха-ха.

- Какие-то знакомые наговорили ей, что на фронте каждому офицеру полагается по боевой подруге. Вот она и хочет записаться к нему в такие подруги.

- Ты, Воловик, не насмехайся. Любит она его, вот и боится, как бы чего не вышло.

- Ты, небось, уговорил ее остаться за подругу. Тогда и тебе достанется.

- Ну, и жеребцы вы, братцы! Не завидуйте, никакого греха не было. Никитин с нас глаз не спускал. Все к лучшему. Но приласкать ее очень хотелось. Очень!

Воловик помолчал немного, улыбка с его лица сошла, и он добавил:

- Все вам выложил. Раскололи вы меня, как на допросе в гестапо.

На батарее капитан появился в полдень и сразу по вызову ушел с Никитиным в штаб.

Вскоре подоспел обед. Воловик отпросился на минутку в "домик". Не прошло и получаса, как он явился на батарею с

Зиной. Тут мы и увидели ее вблизи. Все, кто был свободен, пришли к нам в укрытие, чтобы посмотреть на жену комбата. Она показалась нам истинным чудом. Думаю, все тогда позавидовали капитану Гоменюку.

Воловик усадил ее на ящик из-под снарядов.

- Товарищ лейтенант, - обратился он ко мне, - я пригласил от всех нас Зинаиду Сергеевну пообедать с нами. Вместе. Вы не возражаете?

- Нет, конечно, - что я мог еще сказать?

- Видите, Зиночка, я же вам говорил, что боевые друзья Василия Степановича будут рады познакомиться с вами. А вы такая красивая и стесняетесь.

Она испуганно смотрела на нас широко раскрытыми глазами и сияла юной цветущей красотой. Невысокого роста, черненькая, краснощекая, с яркими губами и большим улыбающимся ртом, - такой сохранилась она в моей памяти.

Давно мы не видели так близко молодых женщин. Очень хотелось дотронуться до нее. Не сон ли это?

Воловик был сильно возбужден. Да и всех нас присутствие красивой взрослой девочки как-то взволновало.

Наводчик Ковалев, наш нештатный повар, принес Зине полную миску супа и кусок хлеба. Готовил он вкусно, и неудивительно, - до войны работал помощником шеф-повара в хабаровском ресторане:

- Кушайте, Зинаида Сергеевна, на здоровье. После войны приезжайте с

капитаном к нам в Хабаровск. Я поваром работал в "Амуре". Это большой ресторан. Буду жив, - опять стану там работать. Угощу тогда вас настоящим блюдом.

Подошел Воловик с фляжкой и двумя кружками. Была, оказывается, у него заначка водки. Он налил понемногу в обе кружки и протянул одну Зине:

- Давайте, Зиночка, выпьем за ваше здоровье и за нашего лихого командира, чтобы не брала его ни пуля -дура, ни штык - молодец!

- Ой, та я ж не пила водку сроду.

- Ну, не пейте. Пригубите только. Прекрасному полу пить не обязательно.

Она все же чуть-чуть отпила, скривилась. Видно было, что ей противно. Потом она ела, отставив манерно пальчик, а мы улыбались, любуясь ею, и, кажется, становились немного человечнее и чище.

Затем пошли вопросы. Главный - откуда родом, не землячка ли? Где работала? Не страшно ли здесь?

- Так я после школы работала немного в госпитале санитаркой. Там лечились Василь Степанович. В Конотопи. Как сюда ехать, люди добрые рассказали. Из Коломыи солдаты довезли. Сказала, что к мужу очень нужно, они и привезли.

- Оставайтесь, Зиночка, у нас, - говорит Воловик. - Ребята у нас хорошие, офицеры справедливые, добрые. В обиду вас никому не дадим. Будете наша боевая подруга, санинструктор и мать-командирша. Согласна?

- Нет-нет. Не буду я ваша боевая подруга! Хочу поступить к вам медсестрой, раненых спасать. Пусть только покажут, как спасать. В школе мы проходили

санитарное дело... Да. Но Василь Степанович, наверно, не разрешат мне.

- Не хочешь подругой, будешь сестрой милосердной. А капитана мы все попросим, и он разрешит тебе спасать раненых. Он нам как отец родной, а ты тогда будешь мать наша. Получится дружная семья.

- Вы шутите, наверно? Смеетесь надо мной?

- Нет, Зиночка. Мы говорим серьезно, но немножко смешными словами, чтоб не было скучно. Был у нас санинстуктор, но его ранило, потому что лез, куда не нужно. Спасал. А тебя мы побережем. Потому что ты хорошая, жалко тебя потерять. Это точно.

- Я еще сама попрошу Василя Степановича, чтоб он записал меня в штабе.

- Ой, Зиночка, там враз запишут. Как только наш главный командир тебя увидит, сразу возьмет на карандаш, поставит на учет и пристроит, как захочет. Он у нас и бог, и царь, и воинский начальник. У него самого жена боевая подруга и лейтенант медслужбы в одном лице. Очень знающая особа. Она тебя всему научит. Дело, в общем, нехитрое, женское. Будешь спасать, кого положено.

Воловик был в ударе, никогда его таким не видел. Зина не сводила с него глаз и слушала с большим удовольствием. Стало почему-то жаль ее, и я решил прекратить эти игривые разговоры.

- Кончаем, товарищи. Нам было приятно познакомиться с Зиной. Проводите ее до дома. Они с капитаном сами решат, как поступить.

Воловик подставил Зине локоть:

- Пойдемте, Зиночка, домой. Вам надо отдохнуть от этого шума. Может быть, вам с нами скучно или неинересно? Но мы хотели, как лучше.

- Ой, с вами не скучно. Но надо идти, а то Василь Степанович заругаются. К локтю Воловика она не прикоснулась, и они ушли:

высокий стройный мужчина и маленькая пухленькая женщина-девочка. Старший сержант Батурин был раздражен:

- Какого черта Воловик здесь комедию ломал? Фраер. Кавалер нашелся.

Некоторые возражали:

- Ничего плохого Воловик не сделал. Он по-доброму пошутил. Ну, немного поухаживал. Так ведь мужчине положено. Да и чего ей одной весь день в избе сидеть? А посмотреть капитанову жену все хотели. Ну, познакомились - и все

по-людски.

Возвратился Воловик серьезный и задумчивый. К нему кинулись солдаты с вопросами:

- Ну, хоть поцеловал?

- Отстаньте, жеребцы! Вы же видели - ребенок она. Наивная. Пропадет с нашим говнюком. Ей еще в куклы играть. Не все она, конечно, говорит. Жаль.

Батурин зло посмотрел на Воловика и процедил сквозь зубы:

- По-дурному балуешься, Воловик. Зря играешь! Прознает капитан про эти твои шуры-муры, капец тебе! Понял? Попомни.

Капитан появился на батарее лишь к вечеру. Хмурый, ни с кем ни слова. Ушел в свой дом за полночь. Ближе к утру меня разбудили:

- К телефону!

- Слушай, пока ищут Гоменюка, что там у вас? - командир дивизиона говорил мирно, ровно.

- Спокойно. Все на местах.

- На местах, говоришь. А капитан ваш где?

- Вообще, я сейчас спал. Только вылез. А часа два тому назад мы с ним разговаривали. Отошел куда-то, сейчас подойдет...

- Не крути. Ладно, иди. Буду с ним разговаривать.

Я ушел к своему взводу. Сел рядом с часовым у пушки, закурил. Через несколько минут увидел, как прибежал Гоменюк...

Наутро вся батарея уже знала - через телефонистов, конечно, - что Федя раскрыл комбата и драил его за то, что тот прячет на батарее неизвестных людей. Приказано срочно доставить женщину в штаб!

Пошли разговоры, что наш Федя промаху не даст, а обязательно "оприходует" капитанову Зину, придумает способ. Ему не впервой...

Гоменюк с Никитиным с утра отправились в штаб. Видимо, капитан хотел уладить дело без Зины. Ко мне подошел Воловик и стал отпрашиваться в "домик". Ему нужно водой запастись, а главное, поговорить по срочному делу с Зиной. Я не разрешил:

- Не ходи туда, не смущай Зину, не дури ей голову. Добром

это не кончится. Капитану не понравится. Да и какому мужу может понравиться?

- Капитан - сволочь, само собой. Я ничего плохого не делаю. Хочу посоветовать ей насчет аттестата: у нее же ребенок... Должен же я попрощаться!

Хоть адрес узнать. Может быть, через час ее заберут отсюда! Хоть проститься по-человечески можно?

Воловик произнес это с несвойственной ему печалью в голосе, надеясь, пидимо, на мое участие. И я сдался.

- Иди. Я понимаю. Только не задерживайся. Поскорее.

- Понятно. Обернусь быстро. Скажу честно, между нами: в другое время увел бы ее. Вот такая мне нужна. Говнюку она ни к чему. Все. Я побежал.

Он схватил ведро и, размахивая им, вприпрыжку побежал вниз, к дому.

Воловик застрял там надолго. Я собрался уже послать за ним. И тут, как назло, к "домику" подкатил "виллис". Из него вылезли капитан и Никитин. Быстрым шагом они направились в дом. Через минуту оттуда вылетел Воловик с пилоткой в руке. Он постоял, как бы прислушиваясь к чему-то, повернулся и пошел в гору, на батарею. Потом остановился и побежал обратно, к колодцу забыл ведро.

Я почувствовал себя втянутым в нехорошую историю и встретил Воловика с возмущением и раздражением:

- Тебе нельзя верить. Почему сразу, как обещал, не вернулся? Дурак ты, ко всему. Теперь остерегайся! Намотает капитан на ус, не забудет и возьмет тебя на прицел. Учти.

- Не смог я уйти, лейтенант. Не смог уйти! Она плакала. И всю ночь, говорит, проплакала. Просила совета. Как ребенок. Он ее очень обидел. Очень. Она была рядом, держала за руку, и я не смог оторваться. Виноват, конечно. Но не вернешь. Что будет, то будет. Семерым смертям не бывать, а одной не миновать.

Вскоре капитан вывел из дома Зину. За ними следовал Никитин с чемоданом. Они уселись в "виллис" и укатили в село...

Невеселые мысли лезли в голову. Ко мне подошел Воловик и тихо сказал:

- Теперь капитан прикончит меня. Прямо здесь. Или под трибунал подведет. Найдет за что. И на вас, лейтенант, он тоже почему-то большой зуб имеет. Не жить нам с ним. Очень он злопамятный и дурной какой-то.

Я и сам понимал это.

Ближе к вечеру по налаженной солдатской связи - через телефонистов - до нас дошла новость: в штабе готовится "сабантуй", попросту говоря - пьянка. И, что показалось странным,

приглашены также капитан с Зиной. Вот те раз! А мы-то думали, что Федя капитана в суд отправит или в "Смерш"! Чудные дела. Вот что значит молодая и красивая жена! Капитан с ней, ясно, не пропадет И Федя свое получит. Такие пошли слухи.

Воловик был хмур и молчалив. О том, что произошло в "домике", о встрече с капитаном помалкивал. Я никогда не видел этого оптимиста и весельчака таким подавленным. Ему сочувствовали и даже утешали:

- Не переживай, Воловик. Да все забудется; перемелется - мука будет. Спишется на войну. Ты молодой, - другую найдешь, получше этой. А что ее забрали отсюда - правильно. Капитан сам все свои любимые уставы нарушил. Получит клизму. Все к лучшему.

Комбат с Никитиным возвратились на батарею без Зины и, к нашему удивлению, еще засветло. А как же "сабантуй"? Где осталась Зина?

Гоменюк ночевал на батарее в своем блиндаже. Утром, когда я курил у нашего укрытия, ко мне подсел Никитин. Угостив его "офицерским" табаком и убедившись, что Гоменкжа поблизости нет, я спросил:

- Куда вы вчера Зину девали? Что там произошло?

- В тыл ее отправили, домой. Майор очень сердился на комбата, что допустил нарушение порядка. Нельзя было здесь жену держать.

И Никитин рассказал, что видел сам и что узнал от знакомого штабного писаря.

Капитан, как было приказано, привез Зину в штаб. Он признал, что она ему жена и что у них есть ребенок. И еще он уверял, что приехала супруга самовольно, без согласия мужа, по глупости и по молодости лет, сказал, что провел с ней воспитательную работу и она осознала свою ошибку. А еще просил капитан не поднимать шум...

Майор негодовал и стучал по столу кулаком:

- Кто привел ее на батарею? Почему не доложил сразу? Разлагаешь людей! Мы знали, что Федя, в общем, человек добрый, хотя и вспыльчивый. Зла не держит. Так вышло и на этот раз. Командир быстро успокоился, потом почти по-отечески поговорил с Зиной, пожурил ее за легкомыслие и приказал Гоменюку срочно, первой же попутной машиной, отправить жену домой воспитывать дочку.

В штабе - вот молодцы! - дали справку, что она жена капитана. Чтобы в пути не задержали. Таким образом, Зина как сестра милосердия и фронтовая подруга не состоялась.

В штабе она успела пожаловаться, наверно, по совету

Воловика, что не получает аттестат, и Макухин обещал все исправить.

Когда капитан убедился, что никакого спецрасследования и других

неприятностей не предвидится, он успокоился и повеселел. Они втроем вышли к ближайшему перекрестку на южной окраине Пистыни, дождались пустого "студебеккера" до Коломыи и усадили Зину в кабину к пожилому шоферу.

Капитан приказал довезти ее до станции и помочь достать по справке билет до Киева. Номер машины, часть и фамилию шофера капитан записал в свой 5локнот.

- А что было потом? - спросил я.

- А потом, - сказал Никитин, - мы вернулись в штаб, и капитан доложил Феде, что приказ выполнил. А тот ему: "Пожалел я тебя, а особенно, ее. В "Смерш" не передам. Но учти, если еще какое ЧП (чрезвычайное происшествие) у тебя случится, пеняй на себя!."

Капитан хотел остаться на сабантуй, но Федя выгнал его: "Тут тебе делать нечего! Ступай на батарею!" С тем и ушли. Само собой, лейтенант, никому не говорите, между нами это.

- Конечно. Повезло капитану. Правильно говорят, что наш майор справедливый и отходчивый.

% % %

С каждым днем на передовой становилось беспокойней. Разведка докладывала, что к немцам подходят подкрепления. Появилась у них горная артиллерия, минометы и, главное, пехота, альпийские части. Труднее стало работать разведке. Немцы планомерно пристреливали наши огневые точки и реперы (специальные ориентиры) в глубине обороны. Участились артналеты на различные объекты в ближнем тылу: на артиллерийские позиции, перекрестки дорог, штабы, скопления техники.

Нашу батарею немцы, видимо, не засекли, потому что за последние недели мы не сделали ни единого пушечного выстрела. Нам везло - никаких потерь.

Как-то днем, когда солнце стояло еще за спиной, дежуривший у пушки наводчик Ковалев подозвал меня:

- Смотрите! Смотрите, лейтенант, туда, где ориентир три! Там, у высокой сосны, две головы. Немцы. На нас глядят!

Я посмотрел в бинокль. Действительно, два немца. Один в фуражке офицер. Другой - в пилотке, похоже - солдат. Офицер смотрит в бинокль прямо на нас. И солдат показывает рукой в нашу сторону. Они - прекрасная цель. Во мне взыграл охотничий азарт. Не отрываясь от бинокля, зову Воловика. Боюсь упустить

немцев:

- Орудие, к бою! Маскировку не снимать! Прицел восемь! Осколочным! Свинтить! Зарядить! Не маячь!

Продолжаю наблюдать. Вот немцы вышли из-за кустов и спокойно, даже, можно сказать, нахально, идут по направлению к нам. Соблазнительная, просто учебная цель.

- Ковалев! Прицел семь!

Трава немцам по колено. Теперь они наверняка засекли нас, но хотят, видимо, рассмотреть получше, что здесь - наблюдательный пункт или огневая позиция? Нельзя дать им уйти! Все, буду стрелять!

- Маскировку снять! Огонь! Небольшой перелет. Медлить нельзя.

- Прицел постоянный! Шесть! Два снаряда! Беглый!

Оба снаряда легли рядом с немцами. Солдат поднялся и, пригнувшись, побежал назад. Офицера не видно. Значит, ранен или убит.

- Прицел семь! По убегающему! Два снаряда! Беглый! Огонь! Упал и не поднялся солдат.

- Отбой! Маскируй! В укрытие! Прибежал комбат:

- Почему открыл огонь?

- Два немца подошли близко. Обнаружили батарею. Мы уничтожили их.

- Почему меня не позвал? Самовольничаешь!

- Они могли уйти. Я очень спешил.

- Ты что! Забыл, кто хозяин на батарее? Что все решает командир батареи?! Я же на месте! Все норовишь не по уставу! Не ты хозяин! Припомню тебе еще!

Мне возразить нечего. Формально он прав. Не по уставу я действовал. Но нельзя же прятаться и молчать, когда немцы в полный рост разгуливают перед тобой. Тем более, что они уже нас засекли. А комбат, гад, отчитал, как мальчишку, перед подчиненными. Обидно и незаслуженно. Сволочь он - Воловик прав.

Капитан ушел в свой блиндаж к телефону. Своим командирам орудий Батурину и Воловику - я приказал неотрывно наблюдать: не попытаются ли немцы вытащить своих, не "засветится" ли какая-нибудь огневая точка?

Вскоре меня вызвали к телефону. Ясно: Гоменюк нажаловался.

- Что ты самовольничаешь? - раздраженно говорит командир дивизиона.

- Немцы стояли близко и наносили на карту наши позиции. Вот я и решил, что их надо уничтожить.

- А почему не спросил командира батареи?

- Не сомневался, что разрешит. Мне казалось, что надо спешить, а то скроются в кустах. Показалось, что уйдут.

- Казалось, показалось. Когда кажется, креститься надо! А что, ушли они?

- Нет, не ушли. Уложили обоих.

- Сколько орудий вело огонь?

- Одно, конечно. Мое второе, крайнее.

- Гм, одно. Ладно. Впредь докладывай. Не забывай, кто твой командир. Это был не разнос, а нормальный разговор, и я немного приободрился. Было ясно - позицию второго орудия нужно срочно менять, и я, как положено, обратился к комбату:

- Разрешите оборудовать запасную позицию для второго орудия. Наверно, нас засекли. Переставлю левее, там есть удобное место. Ночью все и сделаем. Быстро.

Гоменюк, конечно, не возражал, и я предупредил Воловика, что ночью предстоит смена огневой (огневая позиция, площадка, с которой орудие ведет огонь)

Однако не прошло и часа, как засвистела первая мина. Она шлепнулась немного впереди нас. Мы попрыгали в ровики. Капитан был в это время на правом фланге, у четвертого орудия.

Вторая мина легла за нами, не долетев до "хитрого" домика: "вилка". Значит, - по наши души. Я выглянул из ровика. Капитан, пригнувшись, бежал к своему блиндажу. Кто-то из третьего расчета позвал его:

- Прыгайте к нам, капитан! Сюда!

Я, грешным делом, подумал: "Сейчас нажалуется в штаб, что по моей вине минометы накрыли батарею". А Воловик шипел мне на ухо: "Бежит в свой блиндаж, под свой двойной накат. Боится, сволочь, с нами в открытом ровике сидеть".

Третья мина с коротким свистом рванула совсем близко. Комья земли

посыпались на голову.

- Никитин! - раздался вдруг крик капитана. - Ко мне! Никитин!

Я выглянул. Капитан стоял на коленях, схватившись рукой за левое бедро.

Еще три мины, одна за другой, упали далеко позади. Либо нас засекли неточно, либо минометчики неопытные.

Подбежавшие Никитин и телефонист унесли Гоменюка в блиндаж. Следом и я прибежал туда. Никитин распорол ножом левую штанину до конца. Видно было, что осколок прошелся касательно по бедру и ягодице. Крови было немного.

Я сказал капитану:

- Звоню в штаб. Вызываю машину. Телефонист! Давай штаб. Кого-нибудь. Через двадцать минут примчался наш "додж 3/4" - удобная машина - с

санинструктором и носилками. Санинструктор пощупал рану, кости ноги,

подбинтовал и велел нести лежащего на животе капитана в машину, а сам позвонил в штаб:

- Капитана везу в санбат. Карту заполню там.

- ? ? ?

- Да нет. Легко. Руки-ноги целы. Голова тоже.

- ? ? ?

- Не проникающее. Касательное. В бедро, в жопу! Забинтовал. Крови мало. Все сделал. Еду. Да, лейтенант здесь. Даю.

Макухин передал мне приказ командира дивизиона - снова принять батарею.

% % %

Прошло три недели. Мы все еще стояли в обороне под Пистынью. На фронте неизбежные ежедневные события быстро вытесняют из памяти воспоминания о прошлом. Стали и мы понемногу забывать июньские события. Но ...

В один из погожих июльских дней на батарее снова появился Гоменюк. И сразу вспомнилось то, что так хотелось забыть!

Я возвратился в свой взвод. Капитан был по-прежнему строг и требователен, держал дистанцию. Он придирался по мелочам и ко мне, и к Воловику, и к его солдатам. Все придирки облекались в строгую уставную оболочку. Мы это понимали и чувствовали. И копилась подспудно черная злоба и ненависть.

Однажды, уже в начале августа, перед рассветом меня разбудил Воловик и, наклонившись, тихо позвал:

- Лейтенант, дело есть. Пойдемте.

В долинах перед немецким передним краем и за "хитрым" домиком еще клубился легкий туман. Было зябко; плохая видимость. У левой станины на бруствере с автоматом на шее сидел наблюдатель Ковалев, а метрах в десяти от него на охапке веток и травы полулежал второй часовой - заряжающий Матвеев. Воловик посмотрел на Ковалева и прошептал:

- Давай, Коваль, повтори лейтенанту, что рассказывал мне. Как все было?

- Было так. Час, а может, и поболе, тому назад ходил тут капитан. Посты проверял. Подошел к стволу, за бруствер. Говорит: "Проверю, как маскируете". "Плохо, - говорит. - Веток мало здесь". Я ему: "Мы же щитки откидываем. Получается низко. Тут много веток не надо, а то немец заметит". А он: "Нет,

пойди-ка подальше от огневой, наломай еще и получше ствол

накрой". Ну, я и пошел, наломал, принес и положил, как капитан велел. А Матвеев лежал там, подале, эа тем кустом. Когда капитан ушел, Матвеев и говорит: "Смотри-ка, комбат дерну в ствол напихал". Я поглядел, пощупал - и правда, напихал. Тогда я позвал сержанта, а он велел ничего не трогать и пошел за вами.

- Скажи, Ковалев, а наводку комбат не трогал, маховички не крутил?

- Нет, этого не было. Он стоял там, за бруствером.

Мне как-то не верилось, что Гоменюк способен на такое коварство. Ведь при первом же выстреле разнесет ствол и снаряд взорвется на огневой! Всех поубивает или покалечит. Если же Воловик останется жив, то его отдадут под трибунал за преступную халатность или же за диверсию в боевой обстановке. И мне достанется "на полную катушку".

Я обошел орудие, потыкал пальцами срез ствола: да, канал был плотно забит дерном. Это не случайное попадание земли в ствол, а подлое, заранее спланированное покушение на убийство.

Ковалев взволнован и возмущен. Он все понимает. Но больше всего его

почему-то поражают лицемерие и наглый обман:

- Обманул, как дурачка. Надо же: послал за ветками. Обштопал, как мальчика! А сам ствол законопатил. Какой хитрый!

Нам с Воловиком ясно: готовится убийство. Западня. Здесь в суд не подашь и начальству ничего не докажешь. Если сейчас поднять шум, то все обернется против нас. Гоменюк докажет, что мы с Воловиком подрываем его авторитет. Насобирает "факты". Вряд ли кто-нибудь поверит, что комбат способен на такое! Наверняка Гоменюк продумал такой вариант. Он хитрее нас, опытнее.

- Хорошую мышеловку устроил, подлюга, - говорит Воловик. - Что делать?

- Спокойно, не паникуй! Пока - никому ни слова! Никому! Слышали? Ковалев, Матвеев! Быстро прочистить ствол! Пройдись банником, Ковалев. Без шума. И сидите молчком, а то хуже будет. Уйдем отсюда, Воловик, и не показывайся. Пока что.

В укрытие мы не спустились - там спали солдаты, - а залезли в пустой ровик, сели на дно, закурили. Воловик был мрачен, и у меня настроение - хуже некуда.

- Круто дело повернулось, лейтенант, - прошептал Воловик. - Он добьет меня. За Зинку. Начнутся бои, - так подставит на прямую наводку: туда не дойдешь, оттуда не вернешься. Говорил я вам, лейтенант, что так будет. Так и получилось. Мои солдаты уже норовят сбежать от меня. Боятся.

- Если ты такой умный, надо было раньше поостеречься. Тоже мне

предсказатель судьбы! Начнутся бои, - положение будет очень переменчивое.

Неизвестно, кому от кого прятаться. Пока я твой командир. Значит, иногда смогу прикрыть тебя и твой расчет. Но и сам не плошай, думай, как от него уберечься. Будь осторожен. А пока молчи. Вроде ничего не случилось. Думаю, завтра же, нет, уже сегодня, он через меня, конечно, прикажет тебе открыть огонь. Интересно,

какую цель найдет? Скорее всего, стрельбу начнешь утром, пока солнце за спиной. Так грамотней, конечно. Последняя сволочь он. Все продумал. И из блиндажа не выходит, чтобы не засветиться. Ладно. Ствол и остальное проверь сам, но незаметно. А потом тихо иди в укрытие, к солдатам. Все.

- Понял, лейтенант. Жаловаться некому, - вы правы. Да, вы правы. Самому такие дела решать надо. Я пойду...

Утром, когда солнце еще стояло невысоко, комбат вызвал меня к первому орудию.

Он лежал за кустом рядом с орудийной площадкой Батурина.

- Бери бинокль. Смотри левее ориентира один. Там на большом дереве, на разлапистом, - НП. Наблюдай внимательно, может, заметишь.

Я долго ничего особенного не замечал. Но вот сквозь листву блеснули стекла. Потом блеск исчез и только через несколько минут появился снова. Да, капитан - профессионал, наблюдать умеет. Все продумал, чтобы угробить нас с Воловиком. Какой хладнокровный убийца! Уверен, что через несколько минут нас уже не будет в живых.

- Действительно, НП вижу. На дереве.

- Действительно, действительно. А то как же. Выдумал, что ли? Слушай задачу: НП - уничтожить! Сейчас же, пока нас труднее обнаружить. Все. Выполняй!

У меня было заготовлено проверочное предложение.

- Можно прямо отсюда, первым орудием. Цель видна очень хорошо. Батурин, ко мне!

- Отставить! Не отсюда. Вторым орудием. Оттуда тоже хорошо видно будет, но демаскировать батарею будет меньше. Понятно? Иди! Я понаблюдаю отсюда.

Да, он все до мелочей продумал. Все по уставу. Не подкопаешься. Воловик сидел на бруствере, свесив ноги в ровик.

- Все подтвердилось. Сейчас откроем огонь. У тебя чисто?

- Чисто. Я проверил. А какую цель он нашел? "Липу", небось?

- Нет, цель хорошая, удобная для наводки, неподвижная. Цель

- что надо. Стрелять буду я. Контролируй Матвеева. Проверяй, не повреждены ли осколочные взрыватели. Понимаешь? На всякий случай. Все, начинаю... Орудие, к бою! Маскировку не трогать! Воловик! Ковалев! Даю целеуказание! Ориентир один. Влево десять. Дерево - зонтиком. Наверху - НП.

Наводчику не надо ловить блеск стекол. От него требуется лишь найти через прицел указанное дерево. Ковалев поймал цель и быстро навел: "Цель вижу!" Я скомандовал дальность, взрыватель, наконец: "Зарядить!", "Маскировку снять!" Когда Ковалев ответил: "Готов!", я отодвинул его и сам проверил наводку, выбрал люфт. Пушку мы недавно выверяли - должна бить точно. Вообще, наши длинноствольные сорокапятки, если за ними ухаживать, бьют очень точно и кучно, не то что, новые трехдюймовки.

- Огонь!

Стрельба была на редкость удачной: первый же снаряд разорвался в ветвях дерева. Затем - очередь: четыре снаряда. Два из них разорвались на дереве! Прямая наводка в спокойных условиях, да еще по неподвижным целям, дает прекрасные результаты.

- Отбой! Накрыть! В укрытие!

Все длилось пять минут, не более. Подошел капитан, остановился позади огневой.

- Ну, что? - как будто ничего не видел.

- Не видели? Цель поражена. Три прямых попадания. Я громко, специально, чтобы все слышали, объявил:

- Воловик! Ковалев! Матвеев! Молодцы! Отлично отстрелялись!

Капитан стоял, как замороженный. Солдаты спустились в укрытие. И тогда он сквозь зубы процедил:

- Ты, оказывается, хитрец. Я понял. Но со мной тягаться - молод еще, кишка тонка. Ничего. Доберусь до тебя, не уйдешь.

- Не понимаю, о чем вы говорите.

- Понимаешь. Только придуриваешься. А не понимаешь - потом поймешь!

На душе стало гадко, словно в грязи вываляли. И появилось ощущение безысходности и полного одиночества. Не с кем поговорить по душам, не с кем посоветоваться...

% % %

Через несколько дней ранним утром меня вызвали в штаб. Я быстро спустился в село. Зачем вызывают, догадаться не мог. Может, Гоменюк нажаловался?

Вошел в штабной дом, доложил майору, как положено, о прибытии. Дружески улыбаясь, он сказал:

- Садись. Как дела на батарее?

- Да ничего особенного. Спокойно.

- Так-так. Спокойно, говоришь. Ладно. Я знаю. Так вот, заберу я тебя из батареи. Так будет правильно. Скоро начнется наступление, а у нас нет командира взвода управления.

Предложение было неожиданным.

- Я уже привык к батарее. Знаю свои обязанности. А взводом управления командовать не приходилось. Вдруг не справлюсь...

- Ты же в институте учился. Училище, хоть и сокращенное, кончал. Почему же не справишься? Я перевожу тебя с огневого взвода на взвод управления. Считай - на повышение, а ты вроде упираешься. Чудак. Ну, все! Это приказ! Так будет лучше. Ступай на батарею, сдавай взвод. Переходишь в непосредственное подчинение к начальнику штаба. Или капитан Гоменюк тебе больше по душе? Иди! А Гоменюку приказ я сейчас передам.

Хорошо помню этот яркий летний день. Я шел по тропинкам через сады и огороды, выбирая кратчайший путь. Мне попадались спелые яблоки и вишни. Как вкусно! Какие запахи! Как красиво вокруг! Надоели ровики, огневые и наша "Кобыла".

Мелькнула мысль: может быть, командир дивизиона, забирая меня из батареи, хочет предотвратить назревающее ЧП? Значит, он что-то знает! Выходит, есть среди нас стукач! Кто же он,доносчик? Или мой перевод не имеет отношения к конфликту? Выяснить это тогда не удалось. Так я и остался в неведении.

Через час я возвратился на батарею. Доложил капитану, что перехожу в распоряжение начальника штаба и должен сдать взвод.

- Знаю, знаю. Напросился все же в штаб.

- Ага. Тем более командир приказал.

- Сдай взвод старшему сержанту Батурину. Все сдай!

Разговаривать с Гоменюком было не о чем. Я отошел к своему взводу, подозвал Батурина и Воловика, сообщил им новость. Искренне признался, что уходить из батареи не хочу, но приказ есть приказ. Батурин молчал, а Воловик покряхтел: "Я так и знал. Жаль, лейтенант".

Я направился к своим расчетам. После прощальных слов и рукопожатий вскинул на плечи вещмешок, на руку - шинель и позвал Батурина:

- Пошли, Батурин, доложим комбату.

У капитанского блиндажа стоял Никитин. Я попрощался и с ним, а он пожелал мне удачи на новом месте. Вокруг нас собралась вся батарея, и многие солдаты говорили мне теплые слова. Приятно было слышать. Из блиндажа вышел Гоменюк. Я доложил ему, что взвод сдал.

- А ты, Батурин, что скажешь?

- Считайте, что принял. Чего там принимать? Пушки - вот они, Воловик вот стоит. Солдаты живы-здоровы. А что еще? Не знаю.

Я махнул рукой: "Тогда я пошел. Не поминайте лихом!"

- Постой, лейтенант! Я же не отпустил тебя. Сдавай личное оружие! Оно числится за батареей. Давай свой пистолет!

- Вы хотите обезоружить меня на передовой? Пистолет не сдам!

- Приказываю сдать немедленно! - закричал капитан злобно, даже истерично.

- Не сдам! - я повернулся, поправил вещмешок и направился вниз, к селу. Наступила тишина. Солдаты расступились, пропуская меня. Я шел не спеша,

кожей ощущая звериную ненависть Гоменюка и ожидая выстрела в спину. Выстрела, однако, не последовало, но раздалась резкая, требовательная команда:

- Старший сержант Батурин! Сержант Рахматуллин! Взять трех бойцов!

Разоружить этого лейтенанта! За неподчинение - арестовать! При сопротивлении - применить оружие! Бегом!

Сзади послышался тяжелый топот. Меня быстро догнали и окружили сержанты и солдаты "группы захвата".

- Товарищ лейтенант! Комбат приказал отобрать у вас оружие. Он ругается. Лучше сдайте, - сказал Рахматуллин, командир четвертого орудия.

- Оружие не сдам! Он не имеет право отбирать оружие на передовой. В штабе я сейчас же доложу. Они разберутся. Не бойтесь. Вам он ничего не сделает.

Батурин стоял позади солдат в нерешительности, а Рахматуллин спросил:

- Что нам комбату сказать?

- Да пошлите его... - вырвалось у меня грязное ругательство.

Солдаты замешкались. Медлить было нельзя, и я быстро пошел прочь.

Уже идя по селу, я подумал, что Гоменюк допустил тактическую ошибку. Если бы он лично возглавил "группу захвата", конечно, удалось бы схватить, обезоружить и арестовать меня. Поскольку я сопротивлялся бы, то у него была возможность убить или, на худой конец, ранить. Только спесь помешала капитану бежать за мной, хватать за руки, бить. Батурин и солдаты приказ командира не выполнили - нарушили устав. Позор...

Об инциденте я доложил командиру дивизиона. Он сначала не поверил, посмеялся, как над нелепой шуткой. Потом, подумав,

разозлился и позвонил на батарею. Войдя в раж, майор стал крыть чрезвычайно изощренным и тяжелым матом Гоменюка, этого "дуболома" и "придурка". Заключение было следующим:

- Запомни, господин голландский, будешь продолжать в таком духе, а мне все известно, - плохо кончишь. Я тебя больше спасать не буду.

% % %

Взвод управления оказался странным подразделением. Числилось в нем -телефонистов, радистов, разведчиков, водителей и прочих - больше, чем солдат в батарее. В действительности, половина из них не имела никакого отношения к управлению и никакого понятия ни о связи, ни о разведке - ни о чем подобном. Это были "придурки": денщики, писаря, ППЖ, снабженец, почтальон, химинструктор...

Они, конечно, выполняют приказы не мои, а своих патронов и покровителей. Надо мною же десять начальников, даже замполит командует: давай связь, оборудуй КП, ищи пехоту, сопровождай на передовую, поддерживай дисциплину. Какая может быть дисциплина, когда "придурки" мне фактически не подчиняются!

В августе началось наконец наступление. Прощай, Пистынь!

Мы продвигались медленно. Под Чопом, Мукачевом, на перевалах шли тяжелые бои. Все же мы одолели Карпаты, в октябре заняли Ужгород и вошли в Чехословакию. Изнурительные фронтовые будни.

Глубокой осенью 1944 года мы наступали в Восточной Словакии. В промозглый ноябрьский день дивизион перебрасывали в район города Кошице.

Было холодно. То затихал, то усиливался мелкий колючий дождь. К ночи мы добрались до только что освобожденного словацкого села. Оно было забито войсками. В темноте мы долго искали указанный на карте район. Для штаба нашли большой дом в глубине сада. Только я вернулся в штаб из первой батареи, - протянули туда связь - получил приказ: срочно явиться к командиру дивизиона!

Майор сидел с Макухиным в штабной комнате за столом над картой. Тускло светила керосиновая лампа. Рядом телефонисты устанавливали свои аппараты. Командир, усталый, заросший, курил, согнувшись над столом, и стряхивал пепел прямо на лежащие перед ним бумаги.

- Слушай, - сказал он после длительной паузы осипшим голосом, - иди, принимай опять вторую батарею. Там Гоменюка ранило, что ли. Выясняем. А свой взвод сдай Строкачу. Действуй!

Старший сержант Строкач - "помкомвзвод" - мой помощник. Он не только хороший телефонист, но, главное, умеет ладить с

людьми, особенно с начальниками.

Я удивился и, конечно, обрадовался возвращению в родную батарею, потому что там чувствовал себя на своем месте, независимым человеком, хозяином. А здесь, в штабе - был мальчиком на побегушках: каждый командовал и мало кто подчинялся.

Но почему майор сказал о Гоменюке: "Ранило, что ли"? Уже второй день, как мы вышли из боя, под обстрел не попадали. Странно это. Командир махнул рукой:

- Иди, иди! Принимай и сообщи обстановку там.

- А где вторая? Связи с ней нет еще.

- Вот и давай связь. Ищи! Тут кто-то от них был. Гоменюка привозил. Выйдя от командира, я сразу натолкнулся на Никитина и обрадовался ему, как родному. Расторопный Никитин немедленно реагирует на изменения в иерархии:

- Здравия желаю, комбат! Оказывается, он ждет меня и уже все знает.

Я передал Строкачу карты, взял двух телефонистов, крикнул Никитину: "Пошли", - и мы вышли из штаба.

Мелкий холодный дождик продолжался. За день вся одежда промокла насквозь: плащ-палатка, шинель, гимнастерка. В сапоги набралась вода - хоть выливай. Рядом со мной сутулится такой же промокший Никитин. Позади плетутся телефонисты с катушками и аппаратом.

- Что случилось на батарее, Никитин? Где Гоменюк? То, что рассказал Никитин, произошло у него на глазах.

Вечером, как только мы остановились на окраине этого села, начальник штаба уже в темноте показал комбатам район расположения. Гоменюк взял Никитина, и они вдвоем пошли присмотреть место для ночлега и подъезд к нему.

Быстро подобрали дом недалеко от штаба, на соседней улице. Вошли. Там на кухне сидели шесть пехотинцев, среди них - лейтенант и младший лейтенант. В комнате было темновато, хотя она и освещалась керосиновым фонарем. Хозяев не было видно. Пехотинцы находились уже в хорошем подпитии, а на столе стояли непустые еще бутылки. Гоменюку это сразу не понравилось, и он прямо с порога скомандовал:

- Что за пьянка? Встать! Кто такие? Какой части?

Солдаты притихли. Кто-то встал: подумали - большой начальник! Когда же они рассмотрели, что вошли всего лишь какой-то капитан с солдатом, то "забазарили":

- Не шуми, капитан. Садись с нами - гостем будешь! Мы весь день по передку ползали и даже дальше ходили. Промокли, устали. Вот только подзакусим и уйдем отсюда. По-хорошему

разойдемся. Садись и солдата своего бери!

- Немедленно освободить! Это наш район. Марш на выход!

- Да уймись ты, капитан! Откуда ты свалился на нас? Мы этот дом до тебя оприходовали. Вот посидим немного и сами уйдем. У нас дорога дальняя, в логово врага. Дай ты нам спокойно посидеть.

Один из солдат налил в стакан спирту, а младший лейтенант поднес его

капитану:

- Пей, капитан!

Гоменюк оттолкнул протянутую руку, да так резко, что спирт выплеснулся в лицо младшему лейтенанту и попал, видимо, в глаза. Тот взвыл от боли.

Солдат, наливавший Гоменюку, крикнул: "Ах ты, падла офицерская!" - и, не долго думая, со всего маху разбил ту самую бутылку с остатками спирта о

капитанскую голову.

Все произошло мгновенно. К упавшему Гоменюку кинулся Никитин. Кто-то огрел его кулаком по виску и свалил на пол.

Пехотинцы, видимо, разведчики, были мастерами ближнего боя. Они действовали быстро и расчетливо. Никитин услышал:

- Мотай, братва! А то загребут.

Пехотинцы выскочили из дома и скрылись в темноте.

Никитин с трудом встал, осмотрелся. В комнате никого не было. Капитан лежал ничком в луже крови, но был в сознании. Никитин определил, что проломлен череп. Он перебинтовал голову индивидуальным пакетом, кое-как поставил капитана на ноги и довел до дороги, где ждала батарея. Отцепили пушку, и на батарейном тягаче отправили капитана в штаб. А оттуда санинструктор увез его в санбат.

Никитин же остался в штабе, резонно полагая, что связистов, а может быть, и нового комбата нужно будет проводить на батарею.

Хулиганов, ранивших капитана, не нашли, конечно. Да никто их и не искал. Никитин отделался синяком, шишкой на лбу и, как говорится, легким испугом.

Когда мы подошли к дому, пушки и тягачи были уже заведены во двор, а на посту стояли неизвестные мне солдаты

Начались привычные будничные дела. Я почувствовал себя свободно, как будто домой вернулся. Утром получил новую задачу: батарею придавали стрелковому батальону. Предстояло найти командира батальона, выбрать огневые позиции, поставить батарею на место, установить связь со своим дивизионом... Привычные хлопоты.

За последние месяцы батарея понесла большие потери. Пришли два новых командира огневых взводов, оба еще не обстрелянные младшие лейтенанты из училища. Воловик и Батурин были живы. Воловика, якобы для укрепления второго взвода, Гоменюк назначил командиром четвертого орудия вместо убитого Рахматуллина. Мне же Воловик сказал:

- Весь мой расчет Гоменюк раскидал. Меня - в четвертый, Ковалева - в третий, Матвеева - в первый, к Батурину, на перевоспитание. Отдайте мне Ковалева. Мы с ним еще из-под Москвы. И Зайкова отдайте - тоже старый друг. Больше ни о чем просить не буду.

Мне понятны чувства Воловика. Зайков - его старый водитель. Он бывший матрос, отчаянная голова. До войны отсидел год за участие в какой-то драке. У нас он известен как самый опытный и везучий шофер и защитник всех "притесняемых". У него тягач всегда в порядке, он выбирает самый безопасный путь к огневой, он реже других садится на "диффер".

Просьбу Воловика я выполнил, что "старики", как сообщил мне Никитин, одобрили.

О летних событиях в Пистыни Воловик не вспоминал. Лишь однажды он поблагодарил меня за восстановление своего расчета. И еще высказал опасение, что по возвращении из санбата Гоменюк опять всех разгонит.

- А что, прошлое не забылось? - спросил я.

- Гм, не забылось. Он все время держит меня на прицеле. Ждет момента. Я сам должен о себе побеспокоиться. Моя жизнь - на волоске.

- Может быть, тебе перейти в другую батарею? Ты думал?

- Думал. Другие не берут. Он дурные слухи обо мне распустил. Вообще, Федя знает, что у нас происходит. Есть на батарее стукачок. Говнюк его побаивается, а то давно бы пришил меня. Я, может, лишнего наговорил. Забудьте все это. Чем сердце успокоится, только цыганка знает. Да и то вряд ли.

- Печальная история. Жаль. Ладно, я все уже забыл.

Недели через две после этих событий батарею посетил, как всегда, желанный гость - почтальон. Он раздал письма. Счастливчики отплясали положенные "барыни" и "гопаки". И тогда, напоследок, он подошел ко мне с письмом и руках:

- Товарищ лейтенант, возьмите письмо для капитана Гоменюка. Я узнал, что он скоро вернется из санбата. Чего же гонять почту туда-сюда? Передадите?

- Передам, конечно, - согласился я и сунул письмо в полевую сумку. А внутри зашевелилось недоброе желание: хоть бы не вернулся!

% % %

Последующие дни прошли в переездах и непрерывных сменах позиций. Наш дивизион ежедневно перебрасывали с места на место. Шли бои местного значения в приграничных районах Словакии, Венгрии, Польши. Погода в ту зиму стояла мерзкая.

В один из таких хмурых дней, когда почти непрерывный дождь сменялся мокрым снегом, а мы промокли и промерзли до мозга костей, пришел приказ сняться с позиций и прибыть к железнодорожному переезду, указанному на карте, для последующей переброски на другой участок. По дороге туда было километров десять, хотя по прямой - не более четырех.

Еще не стемнело, когда батарея в полном составе отошла с занимаемых позиций на дорогу. Видимость была плохая, и огня на себя мы не навлекли. Двинулись дальше в обычном походном порядке. На развилке недалеко от переезда нас должен был встретить "маяк" - разведчик из взвода управления.

На следующих за мной двух тягачах рядом с водителями находились офицеры -командиры взводов. На последней, четвертой, машине офицера не было, его место занимал командир орудия - Воловик. Таков порядок.

Мы проехали совсем немного, километра два, когда я увидел на обочине фигуру в шинели, с чемоданчиком в руке. Офицер энергично размахивал свободной рукой, требуя остановиться. Я приказал водителю притормозить, а когда подъехал ближе, узнал офицера - Гоменюк!

- Хорошо, что встретил. Я из санбата как раз. Переходи на другую машину, - грубо приказал мне Гоменюк. - Быстро! Быстро давай!

- Пока батареей командую я. Садитесь в последнюю машину. Там нет офицера. Прибудем на место, доложу майору и сдам батарею. А пока я выполняю задачу. Разговаривать некогда! Поехали. Вперед! - крикнул я водителю.

Гоменюк соскочил с подножки и быстрым шагом направился в хвост колонны. Я оглянулся и увидел, что он садится к Воловику.

Настроение испортилось, за дорогой следил невнимательно, пропустил нужный поворот. Пришлось возвращаться. Из-за этого на место мы прибыли с опозданием. У переезда дорога проходила по неглубокой долине. Дождь продолжал накрапывать.

До передовой было уже недалеко. Противник вел редкий беспокоящий огонь. Снаряды рвались с перелетом, далеко от дороги, в чистом поле. Фрицы, наверно, пристрелялись засветло. Теперь наводка сбилась, но они с немецкой методичностью продолжали постреливать одной гаубицей, не меняя установки.

Я доложил командиру дивизиона, что привез Гоменюка.

- Как мне быть? Сдавать батарею?

- Ты почему опоздал? - спросил командир.

И, не дождавшись моего ответа, резко сказал:

- Не задавай ненужных вопросов. Когда прикажу, тогда сдашь! Не до того пока. Выполняй свои обязанности и не отставай на марше.

Он подозвал командиров батарей к своему "виллису", где сидели начальник штаба и замполит, вытащил карту и, посветив фонариком, показал маршрут и село, куда нам надлежит прибыть не позже пяти часов утра. Там мы получим боевую задачу.

Обстрел продолжался, но снаряды падали реже, чем прежде.

- Все, братцы. По машинам! Заводи! И не отставать! - он посмотрел на меня и с едва заметной улыбкой погрозил кулаком.

Моя батарея, прибывшая последней, замыкала колонну. Я сел в первую машину и повторил команду на марш. Фар не зажигали - соблюдали маскировку. Из-за дождя видимость была плохая. Порывистый ветер продувал насквозь промокшую одежду.

Вот ушла первая батарея, за ней - третья. "Поехали", - похлопал я по спине водителя, и мы двинулись по дороге, набирая скорость. Две машины шли вслед за мной, а последней не было видно. Далеко справа разорвался очередной снаряд. Мне почудился какой-то шум в конце колонны. Впрочем, это, возможно, слышались порывы ветра и стук дождевых капель по капоту.

- Сбрось газ! Медленней, - сказал я водителю. - Пусть подтянутся. Прошли томительные минуты, пока я наконец увидел четвертую машину.

Опять моя батарея отстала! Нехорошо. Я заторопил водителя:

- Гони быстрей! Отстаем!

Вскоре показался хвост третьей батареи, и я успокоился. Дорога оказалась не разбитой и пустынной. Дождь приутих. До самого места мы шли без задержек.

Была глубокая ночь, когда мы остановились в центре села. Оно казалось безлюдным, вымершим, без признаков присутствия войск.

Командир дивизиона крикнул: "Привал! Здесь располагайтесь!" - и укатил на своем "виллисе". Я соскочил с машины, бросил командиру первого взвода: "Ждите! Я сейчас!" - и пошел с Никитиным к ближайшему дому. Постучал в дверь. Нам сразу, как будто ждал, открыл старик. Позади куталась в пальто испуганная старуха с керосиновой лампой в руках. Я чувствовал непонятную тоску и усталость. Рядом стоял Никитин.

- Идите! Заводите машины и людей во двор. Я с хозяевами

разберусь. Никитин вышел. Я стал закручивать цигарку и подумал, что сейчас сюда войдет Гоменюк, начнет распоряжаться, и я окажусь лишним, ненужным. Не хотелось возвращаться в опостылевший взвод управления. Не успел я на своем русско-украинско-польско-немецком диалекте объяснить хозяевам, что до утра мы будем отдыхать в их доме, как вбежал Никитин:

-Комбат! Гоменюка убило! Сейчас занесли в соседнюю хату.

- Как это? Не могло его убить.

- Да говорят, снаряд близко упал. Осколком и убило.

- Непонятно. А ну-ка, пойдемте, узнаем, что там случилось.

И тут Никитин дал мне совет, мудрость которого я оценил позже:

- Не надо вам, комбат, ходить туда. Не встревайте. Там есть начальство. Оно само решит, как надо. Не стоит с ними лишние разговоры разговаривать. Не то скажешь, и начнут тягать, собак вешать. От них надо подальше. Не ходите.

- Что вы знаете, Никитин?

- Не выдадите, комбат?

- Что вы? Слово даю!

- Так, значит... Воловик на том привале порешил его. Вышел спор у них, значит. Старое дело...Я всего не знаю. Они, понятно, помалкивают. Правильно. Вот "Смерш" приедет. Значит, пытать начнет... Не выдайте!

- Не сомневайтесь. Считайте, что ничего не знаете и никому ничего не говорили. Я не мог представить себе, как повернется дело. Все могло случиться. Через полчаса в дом зашел замполит, собрал батарею и произнес речь:

- Товарищи! Вы, наверно, знаете, какой трагический случай произошел сегодня на марше. Осколком шального снаряда убит возвратившийся из санбата ваш командир товарищ Гоменюк. Война без случайностей не обходится. Он был прекрасным офицером и верным сыном коммунистической партии. Утром перед боем мы похороним его и отомстим врагам за смерть нашего боевого товарища!

Замполит умел и очень любил выступать на людях. До войны он был

райкомовским работником и даже редактором газеты. Я понял, что это оперативное выступление и есть установка начальства. Не возможная версия, а окончательное

решение. Любые дознания в будущем, если они будут, подтвердят его.

На рассвете Гоменюка похоронили на окраине села. Замполит произнес красивую трехминутную речь о боевом пути и превратностях фронтовой жизни, о боевой дружбе и о

необходимости удвоить усилия для победы над коварным врагом.

Мы дали три залпа, засыпали могилу и установили на свежем холмике фанерную табличку. На ней химическим карандашом вывели:

"Гв. к-н Гоменюк В. С.

1907-1944.

Пал смертью храбрых".

Я получил приказ занять позицию в километре западнее села, чтобы прикрыть танкоопасное направление вдоль дороги.

Место было неудобное, опасное: голое рыхлое поле, раскисшее после

многодневных дождей. Мы окапывались уже засветло, на виду у противника.

Пушки увязли в грязи, в ровиках набралось воды по щиколотку. Немецкие пулеметы не давали поднять голову.

Не успели мы еще толком осмотреться, получили по телефону приказ: отправить в штаб Матвеева. Я попытался было уговорить Макухина перенести вызов на вечер, но безуспешно. Макухин твердо приказал:

- Надо немедленно, в интересах дела. Только сейчас!

Делать было нечего, и я передал Воловику приказ отправить Матвеева

немедленно.

- Его подстрелят, как зайца. Что, у них горит?

- Ты что, не понимаешь? У них, я думаю, уже "Смерш" сидит. Нужны показания для протокола. Сюда же они не полезут для допроса свидетелей. Посылай!

Матвеев выбрался из ровика и пополз к дороге. За ним тянулся глубокий грязный след. Время от времени он останавливался, поправляя сползающий со спины автомат.

Метрах в восьмистах перед нами над плоским полем возвышался фольварк: большой кирпичный дом и пять каменных сараев. Оттуда били пулеметы. Самым опасным был пулемет, окопавшийся слева от дома. Он буквально вжимал нас в землю.

В какой-то момент пулеметы умолкли. Матвеев поднялся и, пригибаясь, побежал к дороге. Длинная очередь прошла совсем рядом, но он успел упасть и доползти до кювета.

Дальше Матвеев полз по кювету, в воде и жидкой грязи. Чтобы прикрыть его, мы обстреляли фольварк, однако особого ущерба немцам не причинили. . За каменными стенами они могли чувствовать себя в безопасности.

Матвеев, услышав нашу стрельбу, поднялся в полный рост и побежал к селу. Невидимый нам пулемет слева немедленно дал длинную очередь. Матвеев странно споткнулся, как бы о какое-то

невидимое препятствие, упал, снова встал, прихрамывая, заковылял дальше и скрылся за бугром.

Позже я позвонил в штаб. Макухин сказал, что Матвеев у них. Он легко ранен в ногу, с ним побеседовали. Больше никого вызывать не будут, потому что все ясно. Раненого же скоро отправят в санбат. Я сообщил об этом Воловику, и он облегченно вздохнул.

А о лежащем в моей полевой сумке чужом письме я не вспомнил...

О Т Д Ы Х

Последние месяцы 1944 года наш отдельный истребительно-противотанковый дивизион - сокращенно ОИПТД - непрерывно перебрасывали с места на место по Южной Польше, Закарпатской Украине, Восточной Словакии и Венгрии. Ежедневно, а то и по нескольку раз в день, перегоняли с одного танкоопасного направления на другое, выдвигали для "оседлания" дорог и "ужесточения" обороны или придавали побатарейно поредевшим в боях стрелковым батальонам для помощи им "огнем и колесами". Командир дивизиона майор Кузнецов любил действовать самостоятельно, а не подчиняться пехотным начальникам. Поэтому, когда дивизион придавали пехоте, он бывал недоволен и раздражен:

- Опять эти обалдуи (имелись в виду начальники из штаба артиллерии дивизии) отдают нас царице полей для "поддержки штанов".

Мы тоже этого не любим, есть причины, но - ничего не поделаешь подчиняемся.

Наши пушки-сорокапятки, по идее, предназначены и приспособлены исключительно для стрельбы прямой наводкой. Поэтому мы всегда располагаемся близко к немцам, на самом передке, в боевых порядках пехоты, на открытых позициях. Наши пушки почти всем хороши: маленькие, легкие, точно бьют, легко маскируются и не заметны, пока, конечно, не стреляют. Недостаток у них один - слабоват огонь. Мы довольно эффективно подавляем близкие огневые точки, легкую бронетехнику и одним своим присутствием ободряем пехоту, укрепляем ее боевой дух, то есть, действительно, "поддерживаем штаны"!

Прямая наводка - дело, конечно, рискованное, отчаянное, какое-то гусарство, особое измерение. О фронтовых буднях писали, но все же, все же...

Где вы, участники и свидетели тех дел? Сколько осталось вас, истребителей танков?

Вернемся, однако, к нашему рассказу, к осени 1944 года.

% % %

В дивизионе я прослужил по фронтовому исчислению времени изрядно, с декабря 1943 года. Видимо, поэтому меня, лейтенанта, командира огневого взвода, после гибели капитана Гоменюка назначили командиром второй батареи. Повышение в должности было лишь кратковременным эпизодом моей весьма скромной военной карьеры. Судьба распорядилась иначе.

В сентябре 1944 года наши старые удобные сорокапятки были заменены более крупными и, следовательно, более мощными трехдюймовками ЗИС-3, а маленькие юркие "виллисы" - тягачами посильнее, - тоже американскими машинами "додж три четверти". Наш огонь усилился, но управляться на прямой наводке с громоздкими орудиями стало гораздо труднее.

Оно и понятно: новая пушка вдвое тяжелее сорокапятки, а большой неоткидывающийся щит торчит нелепо, словно учебная мишень на полигоне, за три километра невооруженным глазом видно. Недоработали наши конструкторы. Впрочем, пушка создавалась, очевидно, не как противотанковая, а как обычное полевое орудие. Так или иначе, из-за этого мы особенно навлекаем на себя огонь противника: пулеметный, минометный, артиллерийский. Иногда даже от своих достается, ибо из-за близости к противнику нас, бывает, принимают за немцев. Вот почему пехота, хотя, в общем, любит нас, предпочитает держаться на некотором удалении от пушек, не приближаясь.

Кроме трех пушечных батарей, в дивизионе имеется рота противотанковых ружей - ПТР. Эту роту в штатном расписании предусмотрели разумные начальники. Пэтээровцы - наш боевой резерв, используемый для бесперебойного пополнения огневых взводов. Все объясняется просто. Артиллеристов-огневиков в наших батареях хватает ненадолго. Выбывших немедленно заменяют пэтээровцами. Мы

по-быстрому, на ходу обучаем их несложным обязанностям номеров орудийного расчета.

Самое трудное - подготовить наводчика. От него требуется многое: быстрота, аккуратность, даже скрупулезность в действиях и, главное, хладнокровно. Быстро и точно навести орудие на движущуюся цель не так просто, когда вокруг с визгом рвутся мины и снаряды, сочно плямкают о щит орудия пу-ЛИ и танки нагло прут на огневую(позиция, с которой орудие ведет огонь), стреляя на ходу. Неаккуратность или медлительность наводчика дорого обходится.

Мой друг Константин Левин, командовавший, как и я, огневым взводом со-рокапяток, хорошо прочувствовал это. После войны он написал:

Сорокапятимиллиметровая,
Это ты втолковывала мне
Обязательное хладнокровие
Нам положенное на войне.
К. Л. 1949 г.

Именно так. Но легко ли, возможно ли быть на войне хладнокровным? Пушки держатся дольше людей, но и им довольно быстро приходит конец. Тогда их ремонтируют или заменяют новыми, - как солдат.

% % %

В декабре и январе на нашем участке фронта шли бои, в основном местного значения. Дивизион сильно потрепало. Рота ПТР растаяла полностью. В моей батарее осталась всего одна из четырех пушек, один тягач, один командир взвода - младший лейтенант со странной фамилией Пирья, один командир орудия - старший сержант Батурин, два водителя и четверо солдат.

Батурин - старожил, в нашей части - со времен боев на Курской дуге, а Пирья, хотя и недавно прибыл из армейского резерва, уже пообвык. Привыкать приходится быстро, - жизнь заставляет. Прослужил месяц-другой - вот уже и бывалый солдат.

В стрелковых полках дела обстоят не лучше. Говорят, во всей дивизии

"активных штыков" едва наберется теперь на два полнокровных пехотных

батальона...

День 20 января был напряженным: бой то разгорался, то затихал. С утра нас поливал густой осенний дождь, потом облеплял мокрый снег. В ровиках хлюпала липкая жижа. Когда немецкие контратаки прекращались, мы жались друг к другу и курили, накрывшись плащпалатками. С нетерпением ждали темноты, чтобы отрыть блиндаж и обогреться.

К вечеру подул холодный ветер. Низкие, тяжелые, свинцовые тучи потянулись в горы, закружил порывами мелкий колючий снежок. Начало подмораживать. На "передке" огонь постепенно утих. Только изредка нам во фланг короткими очередями бил с соседнего холма немецкий пулемет. Медленно подступала темнота. За неплотной снежной завесой одна за другой вспыхивали неверным светом немецкие осветительные ракеты.

Пока не смерзлась земля, мы начали, не дождавшись полной темноты, рыть себе укрытие, предполагая превратить его затем в блиндаж.

Незадолго до полуночи, когда блиндаж был почти готов, на огневой появился командир дивизиона с двумя незнакомыми офицерами и приказал готовиться к маршу. Прибыла свежая

дивизия, а нас отведут в тыл для отдыха и

пополнения. Именно так обычно и бывает: только окопались, оборудовали огневую и укрытие - "Отбой! Кончай ночевать!". Зря копали. "Мартышкин труд", говорит в таких случаях Батурин.

Смена, как обычно, происходила глубокой ночью, скрытно, с соблюдением правил маскировки: "Не шуметь!", "Не стрелять!", "Не курить!", "Фар не зажигать!", "Орудия с огневых выкатывать на руках!".

Мы порядком устали, пока выбирались на твердую дорогу. То машина, то пушка раз за разом увязали на рыхлом, под тонкой коркой льда поле, садились на "диффер" и на "брюхо". Мы без конца подкапывали грунт то под передним мостом тягача, то под задним, подкидывали под буксующие колеса разбитые снарядные ящики, заготовленные для наката жерди и ветки, - что имелось под рукой. Почти два часа ушло, пока добрались до указанной командиром на карте часовни. Оттуда, уже в составе дивизиона, продолжился марш в тыл. К рассвету мы были далеко от передовой - подъезжали к Кракову.

Небо прояснилось, и как-то незаметно прекратился снег. Он успел немного подукрасить придорожный ландшафт: набросил белое покрывало на черные пятна полей, спрятал от глаз раны земли - воронки, рваные струпья окопов и огневых позиций, одел чистым саваном не убранные еще трупы людей и лошадей.

Справа, на востоке, из-за пологих холмов уже поднимается розовое солнце. День обещает быть морозным и ярким.

Навстречу нам по разбитой дороге движутся грузовики с боеприпасами, две самоходки СУ-76, тяжелые минометы на "студебеккерах". То и дело образуются небольшие заторы, но, слава Богу, небо чисто: "рамы" и "мессера" не появляются.

Слева, на возвышенности, в морозной дымке возникает какой-то сказочный, с высокими стенами и островерхими башнями, красный средневековый зпмок. К нему от главного шоссе уходит обсаженная тополями узкая аллея. Справа, недалеко от дороги, на заснеженном поле, искрящемся под косыми лучами низкого солнца, застыл сгоревший "тигр" со сбитой набок башней. Длинный орудийный ствол уткнулся в землю. "Не устоял перед нашим "зверобоем" СУ-122", - удовлетворенно подмечаю я.

Вдоль дороги попадаются разбитые дома со следами устрашающих воззваний немецких или власовских политработников. Большими черными буквами по-русски выведено: "Русский солдат! Впереди твоя погибель!", "Дальше пойдешь - смерть найдешь!"...

Немцы в своих листовках запугивают нас каким-то

"сверхоружием", которым фюрер вот-вот сокрушит Красную Армию, если она посмеет вторгнуться.

в глубь Германии. Да, плохи, видно, дела у фрицев, раз они так неуклюже и глупо блефуют.

Наконец въезжаем в Краков. Он кажется неопрятным и тесным. Петляем в лабиринте грязных, кривых улиц, среди неказистых двух- и трехэтажных домов. Вдали из-за нагромождения заснеженных крыш тянется острыми шпилями к голубому небу внушительный собор.

Командир не выпускает из рук карту и гонит свой "виллис" вперед.

Промелькнули приземистые здания, похожие на большие бараки. Стены, очевидно, с целью маскировки раскрашены большими зелеными пятнами. "Ягеллонский университет" - успеваю разобрать табличку над одной из дверей.

В Кракове, вопреки ожиданиям, мы не останавливаемся. Выбираемся на восточную окраину, за предместье. Затем километров десять, не меньше, трясемся по разбитой дороге, объезжая воронки, рытвины, ухабы и, наконец, спускаемся в маленький, кажущийся вымершим, неразрушенный городок. В центре, на покрытой тонким слоем нетронутого снега площади, мы остановились, сгрудились. Умолкли моторы, и внезапно наступила тишина.

В ярком свете раннего утра видно, как сильно нас потрепало, как нас мало. Горстка грязных, усталых солдат, семь помятых, замызганных машин и четыре пушки. Командир дивизиона, не вставая с сидения, оборачивается к нам и громко сипит:

- Комбаты, ко мне!

Мы подходим, а он продолжает сидеть, медленно складывая карту в планшетку; некоторое время еще молчит, устало смотрит куда-то вдаль. Потом выдавливает из себя:

- Ну, все. Приехали. Вот она, Величка. Будем отдыхать.

Он бросает сидящему позади начальнику штаба капитану Макухину:

- Значит, так. Я - в дивизию, а ты располагай их здесь. Для штаба посмотри-ка вон тот хитрый домик.

Командирский "виллис" круто разворачивается и исчезает. Из-под тента штабного трехтонного "форда" вылезла "штабная братия" взвод управления. "Братия" вслед за Макухиным направляется к двухэтажному, плохо побеленному, неухоженному дому у самой площади. Мы топчемся у своих машин, курим. Кто-то дремлет, сидя в кузове спина к спине...

Минут через пятнадцать Макухин возвращается, энергичный, довольный, и указывает нам район расположения. Мне он машет

рукой направо, на ближайшую улицу, и я слышу долгожданные слова:

- Располагай батарею на той улице, поближе к штабу. Ясно. Конечно, ясно. Пирья и Батурин стоят позади, ждут меня

- Пошли, - говорю им. - Посмотрим, что там. Похоже, других вояк поблизости нет. Хорошо, значит, дома пусты. А вы, Никитин, - это ординарцу, - побудьте пока здесь.

В начале улицы за невысоким штакетником, в глубине садика, напрашивается, прямо лезет в глаза, симпатичный красный кирпичный домик с мансардой. Сквозь голые черные ветви зимних деревьев видны окна в белых наличниках, темное деревянное крыльцо. Вокруг все цело, чисто, ухожено. Хозяева, видно, живут в достатке и благополучии. Здесь и отдохнем!

Привычно вслух оцениваю обстановку:

- Ну, что же. Искать больше не будем. К штабу близко, дом подходящий, двор хороший: и людей разместим, и для матчасти место есть. Пойдем, младший лейтенант, посмотрим, что там внутри, а ты, Батурин, веди людей! Холодно как!

Сдвигаю ржавую защелку калитки. Заходим во двор, поднимаемся на крыльцо, и я стучу в дверь. Никакого движения внутри дома не слышно. Стучу сильнее, кулаком. Опять никакого отклика. Тишина. Не выдерживаю и что есть силы колочу в дверь носком сапога. Наконец изнутри доносится звук шагов. За дверью о чем-то спрашивают, о чем - непонятно. Я бодро, непринужденно, почти весело кричу:

- Открывай, хозяин! Свои приехали! Отважи дверь! Быстро, прэнтко!

Щелкнула задвиж!а, дверь немного приоткрылась, ее удерживает лишь короткая цепочка. В образовавшейся щели просматривается седой человек. Вижу белую щеточку усов, круглые очки в железной оправе. За спиной мужчины есть, кажется, еще кто-то.

Я спокойно, сдерживая нетерпение, объясняю:

- Открывайте, пан, не бойтесь. Не бачь сен. Мы русские. Красная Армия. Немцев шляг трафил (черт побрал). Гитлер капут!

К польскому языку я кое-как приспособился: неплохо понимаю, знаю немало слов, произношу, хоть и с ошибками, простые фразы. Но для большей, как мне кажется, выразительности и доходчивости объясняюсь с местным населением на самодельном "эсперанто", точнее, на диковинной смеси польских, русских, украинских и немецких слов.

Это получается уже непроизвольно, потому что в этих местах ежедневно слышу разноязычный говор: польский, венгерский, словацкий, гуцульский и, конечно, немецкий. Здесь еще со

средних веков образовался своеобразный языковой перекресток. Так сложилась история этого района Центральной Европы.

С перечисленными языками, за исключением, разумеется, венгерского, мне легко, потому что до самой войны я учился в украинской школе. В школьном расписании значились "укрмова", "росмова", "ниммова", а дома разговаривали на идиш.

Вот и теперь продолжаю объясняться на привычном языковом "суржике"(смесь, мешанина):

- Не бачь сен, пан. Не бойся. Мы недолго простоим у вас, отдохнем только. Видпочинем. Будем шляфен, шляфен. Вшистко бэндже бардзо добже (все будет очень хорошо) . Зер гут. Ферштейн, пан?

Хозяин, видимо, все "ферштейн", поскольку он немедленно объявляет, что они, разумеется, люди бедные и, ясное дело, у них "ниц нема - вшистко герман забрал!".

- А нам ниц и не тшеба, бо мы мамэ вшистко свое. У нас есть все свое! Вир габен ганц аллес. Открывай, не бойся!

Переговоры затягиваются. Хозяин советует мне занять большой дом на соседней улице, недалеко. В том доме жил "фольксдойч", убежавший с немцами. Хозяин считает, что в доме "фольксдойча" нам будет "лепей", чем у него.

Упрямство хозяина меня уже раздражает. Ему же хочется покоя. Он, видимо, почувствовал во мне слабину и понял, что можно торговаться: а вдруг удастся отбиться от непрошеных и крайне нежелательных гостей? Но и я не намерен отступать. Дом хороший, на хорошем месте. К тому же меня подгоняют усталость и досада за непредвиденную задержку.

Во двор, свалив калитку и штакетник, примяв кусты смородины, въезжает наш "додж" с пушкой. На переднем сидении, рядом с водителем Ковтуном, развалился Батурин. За пушкой тянутся солдаты. Я кричу им:

- Осторожней заезжай! Зачем ломать? Что за люди! Батурин игнорирует мое замечание.

- Прибыли. Все в порядке, комбат. А чего дом не открыли?

С Батуриным у меня напряженные отношения. Временами бывает трудно. Он упрям и жесток. С Пирьей же все легко и понятно. На людях я называю его "младший лейтенант, вы", а наедине - "Володя, ты". В пререкания со мной он никогда не вступает и свою линию, как Батурин, не гнет.

- Володя, - говорю я ему, - посмотри, чтобы машину и пушку поставили вон там, поближе к амбару, и чтобы деревья не ломали.

Он привычно отвечает: "Есть!" и уходит.

Батурин уверенным неторопливым шагом вразвалочку

поднимается на

крыльцо. Он снисходительно и, кажется мне, с чувством превосходства улыбается:

- Чего, комбат, вы с ними долго разговариваете? Чего дом не открыли? Эти паны - все гады. В Польше тот пан, у кого хайло больше! Давить их надо, а не агитировать за Советскую власть. Зря время теряем!

Не успеваю я ответить, как он срывает с плеча карабин, с размаху бьет прикладом в дверь и прямо-таки по-звериному рычит:

- А ну, открывай, сука! Быстро! Счас дверь в щепки разнесу!

- Прекрати, Батурин! Нельзя так!

Однако эффект оказывается мгновенным: дверь со стуком открылась. Батурин хохочет и победно смотрит на меня:

- Вот, так. Верно? С поляками надо построже. Они нас не любят, и мы их должны...

Хозяин и стоящая за его спиной черноволосая женщина испуганы, о чем-то перешептываются. Мне неловко, а они суетятся и заискивают:

- Прошэ, панове. Прошэ, - это относится к нам и возвратившемуся Пирье. Вслед за хозяевами мы входим в дом.

% % %

Последние три ночи спать мне почти не пришлось, да и другие, конечно, измотались. Все же солдатам удается, прислонившись к пушке или друг к другу, урвать чуть-чуть сна, пока командиры суетятся: при свете спички или подфарника сверяют карту с местностью, выясняют, где "передок", где пехота, где нужный батальон, где противник, куда ставить пушки, где укрыть тягачи. Командирам не до сна...

Усталость очень дает себя знать. Туман в голове, заторможенность.

- Какой день сегодня, Володя? - спрашиваю я механически.

А он спит на ходу, чешет затылок, тоже сбился со счета. Тут меня удивляет хозяин:

- Дзисяй пьонтэк, прошэ пана, пятница сегодня, - отвечает он с готовностью.

Оказывается, он понимает "по-росийску", а ведь сначала вида "панам" не

подавал.

Выгляжу я совсем не "по-пански", более того, - отвратительно. Когда-то белый полушубок вывалян в грязи, а его правый рукав - в рыжих пятнах крови: вчера помогал перевязывать раненого солдата. К моим кирзовым сапогам с неприлично широкими голенищами присох толстый слой земли и глины. Наконец, шапка

- она тоже выглядит убого: сильно помята и неумело зашита. Ко всему, я давно не мыт

и не брит. Одним словом, не ухожен с головы до пят. Так какой же из меня пан?

Три дня тому назад мы потеряли предпоследнюю пушку: мина разорвалась рядом с огневой - пробило накатник и разметало расчет: всех ранило, тяжело.

А вчера все сложилось удачно: позиция оказалась удобной, хорошо прикрытой, с прекрасным обзором. Мы весь день с небольшими перерывами вели прицельный огонь, мешая немцам организовать эффективную контратаку. Снарядов хватало, солдаты Батурина работали быстро и точно, особенно наводчик. Так что командир стрелкового батальона, которому мы были приданы, остался доволен: "Ну, пушкари, спасибо вам. Здорово вы меня сегодня выручили!" Повезло нам вчера: потери были минимальны - ранило только одного солдата-подносчика снарядов.

Вечером, когда задул холодный ветер, мы мечтали лишь об одном: развести костер и обсушиться. Ни о чем другом.

Постепенно не то что привыкаешь, - смиряешься с трудностями фронтового быта, даже с тем, что раньше представлялось невыносимым. Оказывается, можно притерпеться к грязи, холоду, вони, вшам, крови...

К счастью, кое в чем нам натура помогает. Она милостива: простуды, гриппы, язвы, инфаркты нас, в общем, не задевают. Но всего важнее другое: мудрая природа защищает нашу психику. Оказывается, утомление - великое благо. Наступают минуты, когда нас, оглушенных и ослепленных боем, потрясенных ощущением и видом смерти, охватывает полная апатия, равнодушие ко всему, происходящему вокруг. Тогда думаешь: скорее бы. Днем раньше, днем позже - все равно. Быстрее бы обо всем забыть. Тогда спасительная усталость притупляет чувства, загрубляет нервы - страх отступает, и ты можешь преодолеть ужас смерти и трусость, то есть сохранить достоинство.

Это очень важно, потому что трусов презирают, бесстрашными же восхищаются, а это - справедливая награда за преодоление страха, другими словами, - за смелость. Так сберегается честь, которая, как известно, дороже жизни.

Еще важно самовнушение. Я внушаю себе: "На тебя смотрят солдаты. Держись достойно. Не позорься!" Мысленное повторение этой формулы тоже помогает сохранить честь и достоинство.

От психических потрясений и перегрузок, бывает, и рассудка лишаются.

В сентябре в Карпатах к нам из пехоты попал солдат Бураков

Он прилежно выполнял свои новые обязанности в орудийном расчете и казался человеком спокойным, даже чрезмерно молчаливым. Все бы хорошо, но по ночам он

будил и пугал нас дикими криками, какими-то предсмертными воплями.

Выяснилось, что однажды ночью Буракова и трех его уснувших товарищей,

находившихся в боевом охранении, захватили врасплох немецкие разведчики.

Бураков успел притаиться под кустом, накрывшись плащ-палаткой. Немцы в спешке этого не заметили, и он лежал, умирая от страха, видя, как немцы долго душили и резали двух его товарищей. То ли ножи были тупые, то ли солдаты сильно упирались... Было жутко. Третьему - сержанту - немцы забили рот кляпом и уволокли. Оставшиеся какое-то время еще хрипели и дергались... Придя в себя, Бураков побежал в роту. Состояние его было таково, что немедленно отправили в санбат. Там его подлечили уколами, таблетками и возвратили на передовую, но не в свой стрелковый полк, а к нам, в ОИПТД. Бураков стал панически бояться темноты, ему снились страшные сны. Со временем ночные припадки и крики участились, внушая ужас окружающим и мешая людям спать. Тогда его снова увезли в санбат, и к нам он больше не вернулся. Стало известно, что Буракова отправили в тыловой "дурдом". Было ему в ту пору неполных двадцать лет...

Иногда наше естество вознаграждается за перенесенные тяготы и страх. Вот вчера была радость, когда до сознания дошло: мы победили в бою, пусть и местного значения, и честно заслужили отдых. Это награда нашим душам и телам. Сегодня уже кажется, что не так близка была смерть и не так тягостно было лежать в холодной вязкой грязи под дождем и снегом. Все, оказывается, можно вытерпеть и превозмочь. Теперь, что ни говори, приятно предвкушение заслуженного отдыха в этом сухом, теплом и чистом доме. Отоспимся, отогреемся, отмоемся - чего же еще желать?

% % %

Вслед за хозяином мы входим в темноватую прихожую, большую и теплую. Вешалка, стулья, картина. Из прихожей - три двери. Открыта только та, что слева. За ней - кухня. Там видны плита, облицованная кафелем, большой стол, раковина, шкафчики, табуретки. Говорю хозяину, что солдаты будут греть воду, варить еду: "Жолнеже бэндже готовац страве". Кроме того, нам нужна комната для отдыха: "Покуй для одпочинку". Поэтому пусть уберут из нее лишние вещи.

- И не бойтесь, пан. Ничего плохого мы вам не сделаем. Вшистко бэндже бардзо добже! Аллес вирд зайн зер гут! Все будет хо-ро-шо!

Он наклоняет голову, как бы в знак согласия. Пошептавшись о чем-то с

хозяйкой, просит подождать, "чекачь", так как им для устройства требуется время, не сразу же все делается. Мне задержка не нравится:

- Давайте, панове, побыстрей! Швыдко! Прэнтко! Не тяните время. Мы устали.

И, не задумываясь, машинально добавляю:

- Абер шнеллер! Шнеллер! (но побыстрее!) Мы спать хотим!

Глупо сказал. "Незачем травмировать хозяев немецкими командами", - с опозданием соображаю я.

А солдаты уже тащут в дом свое имущество: сидора, плащпалатки, трофейные одеяла, котелки, мешок с продуктами, параши - так у нас называются ведра, в которых варят традиционную баланду или кандей и кипятят воду для чая. Вещей немало - вот и преимущество артиллерии перед пехотой.

С личным оружием - автоматами и карабинами - солдаты, конечно, не расстаются, постоянно носят за спиной, - так приучены. Между прочим, старые солдаты предпочитают карабин, он надежен, не то что наш автомат: чуть попала грязь - обязательно заест в самый неподходящий момент. Ну, и карабин бьет дальше и точнее.

Подходит "старик" Никитин - мой ординарец и связной. Его любимые поговорки: "Подальше положишь - поближе возьмешь" и "Запас спину не тянет и есть не просит". В руках у Никитина два вещмешка, - значит, и мой.

Вещмешок - главное солдатское достояние. Там белье, НЗ (неприкосновенный запас) индивидуальные пакеты, патроны, пара гранат-"лимонок" - на всякий случай - и многое другое.

При некотором интересе и внимании можно заметить, что содержимое

солдатского сидора отражает характер и жизненные установки владельца.

Например, наводчик Ковалев "на гражданке" работал помощником шеф-повара в ресторане. Он давно мечтает попасть к большому генералу, "обслуга" которого состоит из четырех человек: адъютанта, ординарца, шофера и повара. Труднее всего генералу найти хорошего повара. Ковалеву, умеющему готовить любые, даже французские и китайские, блюда, вообще цены нет! Мы в этом давно убедились. Однажды под Киевом он нажарил на всю батарею удивительно вкусных - татарских - котлет, как

оказалось - из убитой лошади. Никто не догадался.

Ковалев возит с собой большую красивую коробку красного дерева с набором невиданных кулинарных инструментов. Надеется на удачу. Увы, так пока и не попал он в поле зрения большого генерала. Да и как может попасть на глаза генералу наводчик противотанковой пушки? Тем более, что никаких попыток изменить

судьбу Ковалев не предпринимает. Однако в свою счастливую звезду он продолжает верить. Пусть верит.

Бывают странные увлечения и привязанности. Все, например, знают, что водитель Ковтун бережно хранит собираемые им непристойные картинки и фотографии. Время от времени он пересматривает свое собрание и наиболее впечатляющие "произведения" демонстрирует новичкам. Те от изумления только рты раскрывают и тихо ахают. А Ковтун от этого получает большое удовольствие, гордится знанием предмета и хорошим подбором иллюстраций, могущих служить наглядными пособиями для неискушенной молодежи. Интересующимся он объясняет, что свою коллекцию собирал в разбитых домах, каких на нашем пути великое множество, в письменных столах, книжных шкафах и семейных альбомах. Он искренне удивляется нашему недомыслию: такие ценности валяются у нас под ногами, а мы, глупые люди, проходим мимо. Ковтун убежден, что после войны интерес людей к эротическому жанру сильно возрастет и собранной им коллекции цены не будет. Тогда-то благодарный народ воздаст ему по достоинству за дальновидность и самоотверженный труд. И, само собой, в накладе он не останется. Некоторые осуждают Ковтуна, считая такое занятие не достойным серьезного мужчины. Однако он стоит на своем, продолжает поиски и пополняет коллекцию новыми экспонатами. Теперь перед ним возникла чисто техническая проблема: подобрать для своего сокровища крепкий чемодан с надежным замком.

Никитин - вот образец настоящего солдата: умного, расторопного, надежного. Все он делает продуманно, ловко, быстро: и костер под дождем разожжет, и обмундирование починит, и шину раненому наложит, и ровик в самом удобном месте за несколько минут отроет - все умеет Никитин. В своем туго набитом сидоре он хранит множество необходимейших вещей: спички, мыло, иголки, нитки разных сортов, кресало, индивидуальные пакеты, марлю, вату, веревку, ножницы и прочее ценное имущество. В трудную минуту всегда поможет советом и делом, выручит.

% % %

Не проходит и пяти минут, как все, кроме часового,

собираются в прихожей. Ощущение - как после трудной посадки в проходящий поезд: наконец забрались в теплый вагон, все тревоги остались позади, а впереди какая-то радостная неизвестность. Самый раз - закурить и спокойно поговорить в предвкушении приятной поездки.

Батурин полушутя, как бы по-свойски, обращается ко мне:

- Комбат, разрешите бумажки закурить вашего табачку, а то у нас спичек нет.

Это обычная формула, когда надо "стрельнуть" курево. Солдатам и сержантам выдают "махру", а не табак, как офицерам.

Я достаю свой большой самодельный алюминиевый портсигар и угощаю всех "капитанским" табаком. Мы курим, стоя тесной кучкой вокруг скинутого в прихожей нашего замызганного имущества. Одна семья, близкие люди. Уютный сизый дымок повисает над нами. Хорошо.

Открывается дверь, и хозяин молча, жестом руки, приглашает нас в комнату. Смотрит хмуро. Вот, мол, берите комнату, черт с вами. Свалились на мою голову. Когда вы уберетесь? Позади стоит такая же угрюмая хозяйка. Кто-то из солдат благодушно, даже весело, говорит ей:

- Добро, матка. Счас это дело перекурим, чтоб дома не журились, и печь затопим. Дровишек только подкиньте, а то ненароком не то спалим. Давай

побольше. Ладушки?

Отзываю младшего лейтенанта:

- Я схожу в штаб. Доложу и связь возьму. Ты, Володя, присмотри. Пусть топят, варят, но хозяев не обижают. Эти поляки очень напуганы.

В штабе докладываю Макухину:

- Расположились близко. На батарее все в порядке. Нужна связь.

- Отдыхайте пока. Связь сейчас дадим.

Он кричит через открытую дверь командиру взвода управления:

- Строкач! Давай связь второй батарее! Комбат здесь. Покажет куда.

В коридоре сталкиваюсь со старшиной Строкачем. Мы выходим из штаба, и я показываю ему наш дом. Сейчас телефонисты протянут кабель, подключат полевой телефон и наше устройство, считай, закончено. Можно отдыхать.

Завтра появятся новые заботы: у меня не хватает трех командиров орудий. А мой старый "кадр" - Батурин - сложный человек. Его своевольный характер тяготит. На него часто приходится "давить", то есть повторять приказ с объяснением

причин и обстоятельств. А это вредит дисциплине. Он, где только можно, кстати и некстати, подчеркивает свою самостоятельность и независимость, красуясь таким образом перед солдатами. Бывает, что, получив, например, приказ срочно оборудовать новую огневую позицию, Батурин вступает в пререкания. Он посмотрит орлом вокруг, плюнет себе под широко расставленные ноги и нагло объявит:

- Зачем копать? Все равно не спасет. А через два часа уйдем отсюда. Что, солдат круглый день копать должен? Узбек - не человек?

Действительно, нам часто приходится менять позиции, обстановка вынуждает. Работа эта тяжелая, особенно - зимой. Протесты же Батурина - игра на публику, на своих солдат. Обычно не проходит и пяти минут, как Батурин берет лопату и

начинает проворно размечать орудийную площадку, демонстрируя как бы не настоящую, а вынужденную покладистость, более того, снисходительность к глупости начальства. Как бы соглашаясь только для вида, он цедит сквозь зубы:

- Поковыряем немного, чтоб разговору не было. Бери лопаты! Поживее! В бога! В душу! Стоят над головой и в ус не дуют, сачки (лентяи, саботажники)!

То ли начальников кроет, то ли солдат, что стоят без дела. В конце концов он сделает, как нужно, службу знает.

Я не раз с глазу на глаз увещевал и отчитывал его. Бесполезно. Он, например, откровенно рисуясь, разъясняет молодым солдатам смысл расхожей армейской мудрости: "Обходи коня спереди, а начальника - сзади". Это только ради красного слова, для куража. Неопытного сачка, попытавшегося обойти его, Батурина, сзади, то есть - уклониться от дела, постигает немедленное и жестокое разочарование в виде показательного наказания по всей строгости воинского устава и неписаных норм фронтовой этики.

Наказания всегда оказываются нелегкими и даже опасными для жизни.

Ассортимент наказаний разнообразен, по обстоятельствам. Кому-то достается стоять ночами на посту, кому-то - доставлять под обстрелом снаряды, кому-то - носить из тыла воду и пищу, а кому-то - рубить кусты впереди орудия, чтобы не закрывали сектор стрельбы, или вместо отдыха оборудовать запасную огневую позицию. Если учесть, что до противника совсем недалеко - несколько сот метров, - сомнений нет: провинившийся быстро осознает свою ошибку. Умеет Батурин поддерживать дисциплину и уважение солдат к себе. Его боятся. А он

обставляет все так, что в нарушении уставов - не обвинить. Он опытный, волевой командир, много переживший человек: и ранен был, и контужен, да и не молод - 37 лет. Вот и держится уверенно, жестко, порой - нагло.

Вообще, у нас, в противотанковой артиллерии, роль командира орудия куда более ответственна, чем в крупной - дивизионной или корпусной - артиллерии, которая ведет огонь с закрытых позиций, из-за укрытий. У них командиры орудий противника не видят, а только передают своим расчетам команды, получаемые от комбата с наблюдательного пункта по телефону или по радио.

Другое дело у нас. Командир орудия должен сам определять данные для стрельбы, управлять огнем, то есть корректировать стрельбу и при этом

поддерживать в своих людях спокойствие и уверенность, даже когда вражеские танки и автоматчики рядом.

Такая наша служба - прямая наводка.

% % %

Уже совсем рассвело. Тихо, безлюдно, морозно.

Вспоминается прошедшее лето. Карпаты, Коломыя, месяц май. Гуцульское село Пистынь, за которым мы заняли оборону, растянулось по неширокой зеленой долине. Внизу змеей извивается быстрая, мелкая и холодная в ту пору года речка. Дома, крытые черепицей и дранкой, хлевы и сараи в беспорядке рассыпались по долине и почти не видны сквозь окружающие их густые сады. Через все село вдоль речки тянется и уходит в горы каменистая дорога -единственная сельская улица.

Мы прикрывали танкоопасное направление вдоль долины и этой дороги. Штаб дивизиона находился в центре села, а наша вторая батарея стояла за селом, справа от дороги, на пологой горке примерно в двух километрах от крайних домов. Первая батарея располагалась внизу, в долине, на самой окраине. Там командиром огневого взвода был мой друг и однокашник Николай Казаринов, с которым мы вместе прибыли из училища на фронт. Его взвод окопался в яблоневом саду у крайнего дома. Николай был очень доволен. Белозубо улыбаясь, он сказал мне:

- Повезло, знаешь. Живем, как на даче. Все дожди да дожди. У вас в землянках сырость и грязь. А у нас красота: отличный дом, сухо, чисто. Яблоки поспевают. Приходи, пока еще стоим здесь. Посмотришь, как мы здорово устроились!

Когда бывало тихо, я приходил. Иногда и Коля бывал у меня. Недалеко ведь. Мне приятны были те нечастые встречи.

У "дачи" имелись недостатки, и Коля знал о них: плохой обзор, узкий сектор обстрела, стесненность, кругом кусты и

деревья. Все время нужно быть начеку, остерегаться просачивания немцев, разведчиков.

Лето выдалось нежаркое, дождливое. Ночи были очень темные, тревожные, внушавшие временами безотчетный страх. Днем же на передовой бывало спокойно, - иногда полная тишина. Тогда мы проводили время в разговорах и воспоминаниях, наслаждаясь дневным покоем и тишиной...

Там, под Пистынью, нам стало известно о личной драме Батурина. Накануне ночью прошел дождь. К полудню все просохло. Ярко зеленели травы, кусты и деревья, и все это зеленое море благоухало. Я запомнил непередаваемый, даже волнующий аромат спелой вишни в заброшенном саду. Удивительно, как может память удержать шелест листьев, цвет травы и запах вишни.

Наши пушки располагались тогда метрах в ста пятидесяти друг от друга. Кроме ровиков, мы оборудовали себе на обратном скате укрытие с на

весом из веток, нечто вроде землянки без наката, устроили там земляные лавки и сколотили из снарядных ящиков стол. Днем все, кроме наблюдателей, собирались в этом укрытии на обед. Подолгу сидели, курили, "травили баланду" (болтали, беседовали)

. Приятно было после обеда, лежа в теплой траве, смотреть в бездонное голубое небо, вдыхать ароматы цветущего лета и слушать тишину.

Хорошо помню этот день. Я издали заметил поднимающегося к нам почтальона Волчкова: за спиной автомат дулом книзу, на боку - большая сумка с письмами, листовками, "боевыми листками", армейскими газетами "За Родину!". Он спешит, зажатой в руке пилоткой вытирает со лба пот.

Волчков - солдат разбитной и разговорчивый - знает, что всегда желанный гость на батарее. Ходить на передок, однако, побаивается, появляется редко, норовит побыстрее избавиться от почты и убежать, упоминая при этом не всегда кстати: "Бегу дальше. Волка ноги кормят". По совокупности признаков и обстоятельств он получил, естественно, прозвище "Волчок". Встречают его не очень любезно, хотя ждут с нетерпением.

- Эй, Волчок, поднимайся быстрее! - кричит кто-то. - Чего скребешься, как поползень? Смотри, счас обстрел начнется, а у тебя, поди, запасного белья нет. Газетами, что ли, обойдешься? Давай поскорее!

Почтальон не обижается, чувствует беззлобность солдатского трепа, улыбается во весь рот. Он с ходу кидает нам небольшую пачку газет и листовок -заранее приготовил. Это после чтения

пойдет на курево. Не отдышавшись даже, он объявляет:

- Лейтенант, вам придется сплясать! - Это мне письмо.

- Мальков, пляши! Батурин, пляши!

- Ковалев, давай кадриль танцуй! Тебе баба два письма состряпала.

В соответствии с традицией за каждое письмо причитается "выкуп" в виде пляски. И все безропотно пляшут. Собственно, танцы и пляски весьма условны, формальны. Репертуар - неклассический: барыни, цыганочки, лезгинки, гопаки и пр. Можно присесть, намекая на гопак, процедить сквозь зубы: "Ассса" или просто развести руки - все идет в зачет и считается достаточной платой за письмо.

Мы, получившие письма, "уединились", разлеглись в траве, читаем. Волчков бегом спускается в долину.

Через десять минут кто-то уже не выдерживает и начинает делиться новостями: ловко устроился в тылу председатель колхоза, бессовестно жульничает буфетчица

на железнодорожной станции (идет перечисление конкретных приемов обмана покупателей), погиб на фронте Настасьин сын... Кто-нибудь из пожилых солдат обычно подхватывает:

- Да, ребяты, кому война, а кому - мать родна. Однако после войны должна жизнь перемениться к лучшему. Может, и послабления какие выйдут. Нужно бы поприжать тыловых паразитов. Уж больно много их развелось, как тараканов в поганой избе! Кто жив останется, прижмите их. О детях наших подумайте и о бабах, которые вдовы будут.

Не все, однако, верят в лучшее будущее:

- Поприжать не получится. Что против ветра ссать - себе дороже. Вот ты, мил-человек, здеся маешься и вшу кормишь. И тебя жа, ежели вернесся, конешно, к ногтю и прижмет тое жа самое тыловое начальство. Повидишь, как эти паразиты тебе жа на шею сядут, кровушку попьют! А ты будешь помалкивать в жилетку и вкалывать за пустые трудодни, за палочки. Начальнички за тебя все уже давно порешили. Твое дело телячье: в стойле стоять да мычать, хвостом махать да подмахивать. Вот и весь сказ...

В тот день я получил письмо от сестры из города Молотова. Она училась там в мединституте, жила в общежитии. Запомнил письмо потому, что сестра, чего я от нее не ожидал, передала от себя и своих подруг привет моим фронтовым товарищам и предложила сообщить им адрес общежития. Я, поколебавшись, просьбу выполнил. Кто-то записал адрес, а кто-то заметил, что писать "в темную" не интересно, - надо попросить у студенток

карточки. Меня спросили, нет ли "фотки" сестры и ее подруг?

- У меня есть только семейная фотография: родители, сестра и брат.

Вытаскиваю из нагрудного кармана изрядно измятую дорогую мне карточку. Она идет по рукам. Я сопровождаю ее взглядом и тут замечаю искаженное болью, а может быть, презрением, лицо Батурина:

- Не верьте, братцы, бабам. Никаким. Они всегда брешут и головы нам дурят. Запомните мое слово: никакая баба ждать не будет, если ей подвернется подходящий мужик. Точно знаю. Они всегда ищут, где мягче и слаще. По-другому они не могут.

Пожилой сержант Мальков не совсем согласен:

- Ну, загибаш, Батурин. Многие ждут. А которая баба с детьми, обязательно ждет. Конешно, бывает, блядуют, ежели попадется богатый мужик. Бывает. Мужиков-то выбило, они на вес золота. А баб навалом. Всяко в жизни случается.

- Не пишите этим девкам! - продолжает Батурин. - Кто вернется - любую возьмет. А сейчас не думайте об этом. Глупость одна. Брехливые бабы ищут дурачков, вроде вас.

Возникла тягостная пауза. Потом Никитин, затянувшись цигаркой, спокойно сказал:

- Зря ты, Батурин, баб унижаешь. Им сейчас тоже не сахар приходится, не до того. А правду тебе сказать, хороших баб больше, чем мужиков. Вот моя жена чиста передо мной, верю ей. А ты, Батурин, рассуждаешь, как кобель. Насмотрелся на этих на пэпэжэ, и думаешь - все такие. Ну и пэпэжэ разные бывают. Есть из них и хорошие женщины. Судьба у них такая, жалкая. Счастья всем женщинам хочется. Ну и...

- Ты, Никитин, дурак или пыльным мешком из-за угла прибитый? Зачем свою жену в пример ставишь? Она же у тебя старуха. Потому и верная, что кругом молодых девать некуда. Защитничек бабский выискался!

- Нет, жена у меня молодая, ладная да красивая. Жаль, нету карточки, показал бы. Я и в молодые годы верил ей и теперь верю. Злой ты, а сам на баб без разбору кидаешься, была бы юбка! Нет у тебя такого права - баб попрекать. Нету!

- Нет прав, говоришь? Есть права у меня!

Батурин подскочил к Никитину и тычет в лицо письмо:

- Вот письмо! Бери! Всем читай! Пусть узнают, как моя жена скурвилась! А ведь сперва разные слова говорила: без тебя, мол, жить не могу. По гроб жизни любить буду. И все такое. Курва брехливая! Восемь лет прожил с ней. Коту под хвост. Сюда письма писала. Недавно письмо было. Мол, скучает. А сама с тыловым хахалем гуляла, хвостом крутила. Вот и верь! Имею я право, и

вас, лопухов, надоумить хочу, чтоб не верили бабью проклятому. Потом спасибо скажете. Верно говорю.

Голос его срывается, обычной самоуверенности нет:

- Бабы, если им случится, всегда урвут. И нам не заказано. Коту и тому у одной норы сидеть надоест, не то - человеку.

Бывший в тот час у меня в гостях Коля Казаринов рассудительно заметил:

- Не нужно так, Батурин. Успокойся. Не давай никому читать свои письма. Незачем всем знать об этом. А говорить людям плохо о жене - непорядочно. Это твоя и ее тайна.

Никитин, добрая душа, переменил тон, смягчился:

- Не убивайся. Всяко случается. Может, и простить надо. А вдруг кто по злобе настучал на жену. А вдруг все это про нее - лжа? Бывает. Погоди. Остынь. Наверно, лжа!

- Нет, не брехня. Все точно. Мать отписала. Зря не стала бы. Скажу вам, братцы: если кто будет тяжело ранен, к жене не возвращайся! Всю жизнь будет куском хлеба попрекать, а может, и хуже.

Коля хотел было перевести разговор в другое русло:

- Ранение, ну, военное увечье солдата не уродует. Как мужчину. Даже наоборот. Увечный солдат - это почетно. Если придется на костыли стать, тоже жить можно и жену хорошую найти. Нельзя стыдиться этого и падать духом. Я уверен.

Да, Коля не сомневался: впереди долгая жизнь, а смерть уже ходила рядом.

Колины соображения солдатами всерьез не воспринимаются, кажутся отвлеченными, надуманными, и кто-то не без ехидства запевает, - дурашливо и фальшиво:

Эх, неплохо жить калеке, у кого одна нога, И портяночка не рвется, и не надо сапога...

А другой солдат подхватывает

Хорошо тому живется, кто с молочницей живет, Молочко он попивает и молочницу берет...

И пошел уже какой-то пустой разговор о том, что "бабы издевают мужиков", а "мужики изменяют баб". Так, мол, было и будет впредь. Так устроен мир, и ничего особенного не случилось. Тем более - война. Она все списывает: измены - само собой. Ведь однова живем, братцы! Того света нету.

Батурин молча постоял, как бы набираясь решимости. Лицо его затвердело, губы сжались. Он с презрением посмотрел на собравшихся, сплюнул, длинно выругался и медленно произнес:

- Хватит чепуху городить, лопухи! Расстрелял бы ее, но отсюда не достать курву.

Он вытащил из кармана гимнастерки фотографию, тяжело,

печально посмотрел на нее. Что-то в его лице смягчилось:

- Ну, посмотрите, братцы, какая она у меня... была. Красивая ведь, верно? Очень красивая. Ягодка, не баба. Все! Больше не увижу! Отмучила, стерва! Последний раз гляжу!

На фотографии - круглое, чуть курносое миловидное юное лицо. Улыбается открыто, бесхитростно. Большие глаза, пухлые губы, две косы - все, что взгляд поймал на лету...

Батурин резко повернулся и зашагал прочь, к огневым, к своей пушке. Разговор угас.

Коля заторопился "домой", на батарею. Я проводил его до дороги, пообещал скоро навестить, махнул на прощанье рукой и пошел обратно.

Вдруг раздался близкий винтовочный выстрел. Напрямик, через кусты, я

кинулся к батарее. У засохшей яблони, что стояла чуть пониже нашего укрытия, увидел Батурина с карабином в руке и двух его солдат. Они старались прикрепить к дереву упавшую "фотку" неверной жены. Я остановился в нескольких шагах от дерева и молчал. Да и что сказать? Солдаты с помощью хлебного мякиша прикрепили наконец карточку. - Стреляйте! Убейте ее! прохрипел Батурин и вскинул карабин. Солдаты стали рядом с ним. Они не "мазали": пули хлестко дробили нос, губы, глаза. Разлетались вокруг ошметки бумаги и исчезали в густой траве. Пропала, развеялась на ветру карточка, как будто никогда не было. Жаль Батурина. Жену, мне показалось, он любил. Под конец "расстрела" неверной жены противник всполошился, открыл пулеметный огонь. Мы заняли свои места у пушек, насторожились. Немцы, однако, стреляли наобум, по звуку. Никого не задело. Мы не отвечали, стрельба скоро прекратилась, и снова наступила тишина. А Батурин долго еще сидел у сухой яблони и курил, низко опустив голову.

% % %

Возвращаюсь из штаба. Часовой ходит взад-вперед у пушки, автомат на шее, постукивает ногой об ногу, греет руки в карманах бушлата. Холодно, не уснет. Думает, наверно, что скоро его сменят, он поест, отдохнет, поспит в тепле. И я мечтаю о том же. Наша "родная" пушка, грязная, неухоженная, стоит рядом с такой же грязной и покореженной машиной. Тянуть с чисткой орудия не следует, ибо это скажется потом на точности стрельбы.

"Впрочем, - решаю я, - торопить не буду. Пусть отдохнут".

Вхожу в дом, открываю дверь на кухню. Шумно, от плиты валит густой пар. Кипит вода в параше. Кто-то умывается над раковиной,поленился выйти во двор.

- Как в плохой бане, - говорю я. - Дышать нечем. Батурин на

месте, реагирует мгновенно:

- А ну, славяне, выкатывайся мыться во двор! Все водой залили. Вали отсюда! Людям зайти мешаете.

Я не хочу замечать мелких бестактностей и добавляю:

- Правильно. И форточку откройте. Свежий воздух не повредит. Батурин форточку открывает, но все же добавляет:

- Пар костей не ломит. Солдатам погреться надо, особенно, кто с поста сменился. Свежего воздуха мы надышались. А хозяйка все же сволочь оказалась. Ничего не дает и не продает. Скважина. Вот только пяток яиц дала.

- Ну и что? Значит, у них нет ничего лишнего. Может, немцы пограбили? Не

обязаны местные жители нам последнее отдавать. Нельзя от них требовать.

- Зря вы, комбат, этих панов защищаете. Все у них есть. Сразу видно.

- Довольно, Батурин! Прекрати! К мирному населению мы обязаны относиться с уважением, не обижать. Будем людьми!

Я начинаю нервничать, и солдаты чувствуют это:

- Да мы их не трогаем. Мы по-хорошему.

- Значит, правильно делаете, если по-хорошему, - заканчиваю я

"воспитательный" разговор и выхожу из кухни в "нашу" комнату напротив.

Комната большая, светлая. В центре - стол и три стула. У стены - старый шкаф и продавленный диван, на нем мой вещмешок и одеяло. Ясно - Никитин положил. В углу стоят напольные часы, за стеклом мерно раскачивается маятник. Тик-так, тик-так...Тепло, чисто, уютно. За столом сидит Пирья. Разобрал свой пистолет, драит каждую деталь до блеска. Как мальчик, забавляется любимой игрушкой.

Рядом с диваном на полу растянулся самый тихий из солдат - Бадейкин, мой ровесник. Снял шинель, расстелил одеяло, положил под голову вещмешок, рядом - автомат. Грызет сухарь в ожидании завтрака. Он единственный не курит и не сквернословит. Над ним подтрунивают, бывает, обидят. А он не отвечает отойдет в сторону и молчит. Поначалу во время боя, при обстрелах Бадейкин терялся, падал и всем телом вжимался в землю. Со временем привык. Жесткую команду он выполняет, превозмогая страх. Окрика Батурина боится больше близких разрывов и лязга приближающихся танков. Как бы то ни было, Бадейкин прижился. Солдаты ценят его безотказность, старательность и добродушие.

Из кухни в комнату проникает уже не только шум, но и

вкусный запах. Скоро в парашу с похлебкой из горохового концентрата бухнут пару банок тушенки, Ковалев застучит ложкой по котелку, возвещая, что "кушать подано". Слышу из прихожей чей-то голос:

- Где ваш комбат?

Дверь осторожно открывается, заглядывают два связиста из взвода управления. У одного на плече полевой телефон, у другого - катушка с кабелем.

- Здравия желаем, - говорит один из них и слегка козыряет. - Куда ставить?

- В тот угол, к окну. Через окно и кабель протянете.

Телефонисты свое дело знают. Один из них, ефрейтор, выскочил с катушкой во двор, закинул через форточку кабель. Другой, рядовой, скинул с плеча автомат, поставил телефон на пол у окна, стянул с себя шинель, лег на нее и приготовился дремать. Ефрейтор вернулся, ловко зачистил ножом концы кабеля и заземления, поджал их клеммами и трижды крутанул ручку телефона:

- Сосна, сосна! Я - береза-два. Как слышно? Порядок. Передай старшине: на месте мы.

Понятно - "береза-два", это наша, вторая батарея.

К телефонной трубке привязана тряпичная петля. Накинул ее на голову, шапкой прикрыл, и висит трубка у уха - руки свободны. Все дела сделаны.

Ефрейтор тоже разделся, вытащил матерчатый кисет, достал из него аккуратно нарезанные листочки газетной бумаги и проворно свернул козью ножку. Засыпал в раструб щепотку махорки, прикурил от немецкой зажигалки, блаженно затянулся и закрыл глаза:

- Счас бы червячка заморить горяченьким да перекур с дремотой устроить минуток на шестьсот. Давно не спали. Две ночи кряду на порывах ползали, не держалась связь. То свои танки рвали, то евонные мины.

Я киваю и, чтобы не уснуть, закуриваю тоже. Приятное комнатное тепло быстро расслабляет и усыпляет. Чтобы пересилить сон, решил заняться делом привести себя в порядок. Прежде всего, руки: под ногтями засохшая многодневная грязь. Грязь и кровь - накануне помогал перевязывать раненого. Лезвием перочинного ножика навожу "марафет".

Потом открываю дверь и кричу на кухню:

- Никитин, давайте воду! Будем мыться-бриться.

Никитин - не только мой ординарец и связной, но и единственный резерв. При нехватке людей он отправляется в расчет - может работать любым номером. На первых порах я

стыдился пользоваться "личными" услугами Никитина. Но вскоре привык, убедился, что это разумно, удобно и не оскорбительно. "Старику" уже 46 лет, он разумный и опытный солдат, а главное, - наладил прекрасные отношения с людьми. Никитин - находка для командира. Приказы он понимает с полуслова и исполняет их толково и неукоснительно.

Не успеваю я достать из вещмешка полотенце и мыло, как Никитин несет два котелка воды. Мы выходим во двор. Светло, спокойно, радостно даже. Снимаю ремень с пистолетом, гимнастерку, нательную рубаху, вешаю на припорошенные снегом ветки. Никитин сливает. Вода холодная, колючая. Растираюсь, фыркаю. Сон прошел, и я снова бодр, и настроение хорошее. Жить прекрасно.

- Спасибо, Никитин. Мне нужна еще горячая вода - побреюсь.

- Это мы моментом. Ковалев уже согрел.

Возвращаемся в дом. Достаю свою потрепанную кирзовую полевую сумку. Там мои самые ценные вещи. В их числе - "павловская" бритва. Она хотя и не новая, но хорошая. Эту бритву продал мне наш помпотех, техник-лейтенант Козлов.

Виделись мы с ним нечасто, обычно во время дальних переездов или при получении тягачей из ремонта. Он был большой любитель карточной игры и, увы, неудачник в этом деле. При каждом проигрыше он мрачнел, терял самообладание и входил в раж. Начинал при любой карте играть ва-банк и быстро спускал все свои деньги. Разорившись, он вскакивал, швырял на стол карты и жадно затягивался услужливо протянутым "бычком". Вдобавок ему приходилось выслушивать однообразные неискренние утешения и неизменные предсказания будущих успехов на поприще любви: "Не везет тебе, Козлов, в карты, зато повезет в любви!"

Козлов всегда нуждался в кредите. Он и у меня брал деньги взаймы, однако о своих "долгах чести" забывал.

В карты, точнее, в "очко", наши офицеры играли часто, несмотря на постоянные запреты. Порицания карточной игры исходили от нашего замполита. Запреты были явно показушные, поэтому игра не прекращалась. Короче, нездоровое офицерское увлечение картами всегда сходило любителям с рук. Играли не только на советские деньги. В ход шла и получаемая нами за границей валюта: злотые, кроны, пенги и леи.

Организатором и вдохновителем игры был немолодой уже старший лейтенант Сердюк. Наблюдать за ним - как в театр сходить. Интересно. Сердюк не просто сдает или принимает карту. Он сопровождает это действие очень смешными, хотя и похабными прибаутками, остроумными, изощренными, однако

крайне неприличными замечаниями и правдоподобными, но утрированными до непристойности характеристиками игроков. Помимо всего, партнеры получали рекомендации (естественно, нескромные и аморальные) как и на какие цели употребить свои предстоящие выигрыши.

Каждую новую карту Сердюк принимает, как новорожденного младенца:

осторожно, благоговейно, мгновенно маскирует ее ладонями и другими картами. Новую карту открывает не сразу, а долго присматривается, прицеливается, размышляя при этом вслух о превратностях судьбы и о собственном невезении. Затем он осторожненько, с трепетом отгибает то один, то другой уголок, не решаясь сразу взглянуть, так сказать, в лицо суровой правде жизни. Выяснив наконец, какая карта пришла, он либо тяжело вздыхает, громко сокрушается и проклинает свою неудачу и мошеничество партнеров, либо, наоборот, бурно ликует и пылко благодарит банкомета за сделанный подарок.

Он тщательно отгораживается от соседей, сплевывает через левое плечо, цокает языком, закрывает глаза, изображая крайнее изнеможение, производит вслух сложные расчеты, клянется, что играет с такими шулерами в последний раз и т.д.

Театральные восторги и проклятия далеко не всегда соответствуют истинному положению, ибо предназначены для введения игроков в заблуждение. Сердюк может изображать неподдельную радость на шестнадцати очках, побуждая противника к перебору, и, наоборот, сокрушаться на девятнадцати очках, поощряя недобор. Он постепенно возбуждается и возбуждает остальных. Мне известна молва: Сердюк никогда не проигрывал.

Осенью 1944 года, командуя одно время взводом управления, я часто бывал в штабе дивизиона. Однажды вечером друзья-офицеры завлекли меня -для кворума - "перекинуться в картишки". Деньги у меня были, так как получаемую на руки часть "денежного довольствия" потратить не удавалось по причине постоянного пребывания на передовой или в прифронтовой полосе. Я согласился "перекинуться". В игре участвовал и помпотех Козлов.

Мне, как иногда бывает с новичками, - необъяснимо почему, - в тот вечер очень везло. Я сорвал огромный банк - 13 тысяч (!) пенгов. Козлов проигрался вчистую, и ему позарез нужны были деньги - он жаждал отыграться! Брать опять в долг он, видимо, постеснялся и обратился ко мне: "Купи у меня "павловскую" бритву. Мне играть не на что".

Я обрадовался. Моя бритва была тупа и выщерблена. Просить

бритву у кого бы то ни было считается крайне зазорным. Обязательно нарвешься на обидное поучение: "Бритву, как жену, не дают никому" или и того хуже: "Отдай жену дяде, сам иди к бляди!".

Итак, я за 500 пенгов приобрел у Козлова бритву. Играть мне расхотелось, но выйти из игры по этическим понятиям было невозможно. Через полчаса я проиграл все свои деньги до последнего пенга. Зато бритва осталась у меня навсегда. По сей день она лежит в моем столе рядом с другими военными реликвиями.

В сентябре 1944 года Козлов исчез. Прошел слух, что он бросил карты и "переключился на баб". Но и в любви его якобы постигла неудача: будто бы он нехорошо заболел и попал в спецгоспиталь. Потом у нас появился новый помпотех Остряков, и о Козлове забыли. А я не забыл. Каждый раз, беря в руки бритву, я невольно вспоминал красивого бесшабашного, невезучего парня; случайно промелькнувшего в моей жизни и бесследно исчезнувшего в водовороте войны.

% % %

Я привычно направляю на ремне козловскую бритву и устраиваюсь з; столом. Сегодня бритье доставляет мне даже некоторое удовольствие. Е свое маленькое круглое зеркальце, прислоненное к полевой сумке, наблюдаю, как вместе с

многодневной затвердевшей щетиной постепенно исчезает неухоженный пожилой бродяга и появляется молодое жестковатое лицо.

Теплой водой смываю остатки мыла, протираю щеки. Порядок. Жаль, нет одеколона. Достаю самодельную расческу, изготовленную каким-то умельцем из обрезка алюминия, привык к ней. Спутанные густые черные патлы давно не стрижены и не мыты. Они спадают на глаза, слиплись и с трудом расчесываются. Хорошо бы искупаться и голову вымыть! Однако, честно говоря, небритый и в полушубке, я выгляжу солидней, внушительней. Вот у Батурина хорошая офицерская фигура. Мне бы такую!

Прошу у Никитина чистый подворотничок, иглу и нитки - привожу в порядок гимнастерку. Она у меня суконная, комсоставская. И ордена на ней есть. Для полного порядка я даже сапоги тряпкой пошорхал, они стали почище, но, увы, не блестят - нет гуталина.

Наконец я привел себя в пристойное состояние, стал похож на офицера. Правда, мои выцветшие зеленые полевые погоны сильно измяты и на них всего две маленькие звездочки. Мне хотя бы еще одну для соответствия - я же комбат - должность капитанская.

Нет, не лишен я мелкого тщеславия.

% % %

Воспитанием будущих офицеров занимались, главным образом, штатные политработники училища. Они настойчиво пичкали нас, курсантов, нудным идеологическим кормом от Главного политуправления РККА, а также пережевывали и комментировали сообщения Совинформбюро. В конце концов смысл любого политзанятия сводился к подтверждению величия Вождя и Учителя, а также к призыву: "Смерть немецким захватчикам!". Все знали это априори.

Задавать вопросы было бесполезно (внятного ответа не получишь) и небезопасно (могут обвинить в чем-то нехорошем, даже преступном). Хотелось выяснить: почему, например, пролетарии всех стран никак не объединятся против фашистов и империалистов? Почему немецкие трудящиеся нанесли тяжелое, пусть и временное поражение советским трудящимся? Вопросов в головах курсантов накопилось много, но все молчали.

Кристально чистые, ясные, знакомые со школьных лет, большевистские идеи мировой революции и интернациональной солидарности рабочих и крестьян разных стран потускнели и затуманились. Все чаще толковали о наших великих предках: русских князьях, царях и полководцах. Ежедневно напоминали об Александре

Невском, Петре Великом, Суворове, Кутузове, Нахимове; рассказывали о Киеве - матери городов русских, о народах-братьях во главе с великим старшим братом...

Постепенно смешивались идеи, символы и лозунги: то ли "За партию, за Сталина, за Советскую родину!", то ли "За Веру, Царя и Отечество!".

В душе к политзанятиям относились, как к урокам лицемерия, поскольку курсантов приучали говорить не что думаешь, а что разрешено. Как и всех граждан, нас отвращали от поисков истины и справедливости...

Все же интуитивно мы чувствовали, что главные достоинства офицера честь и долг.

Многие командиры и преподаватели были людьми достойными. Это

проявлялось в мелочах, в отдельных неформальных замечаниях. Некоторые

офицеры рвались из училищного благополучия на фронт, и это становилось известно курсантам. Наш взводный командир Шорников дважды писал рапорты с просьбой откомандировать его в Действующую армию. Мы, курсанты, высоко оценили этот порыв. Конечно, к высоким порывам примешивались и вполне понятные меркантильные, карьерные соображения: на фронте

продвинуться по службе значительно легче. Если не убьют. Но для офицера подобные соображения не постыдны, отнюдь.

Образцом офицера мне представлялся начальник училища комбриг Петрищев. Что-то породистое, благородное было во внешнем облике старого комбрига: тонкие черты лица, бородка-эспаньолка, внимательный острый взгляд, особая выправка и лоск. Говорил он мало, но красиво, весомо. Курсанты любили его, несмотря на строгость.

Из того, что он говорил по-французски, следовало: он человек образованный, из "бывших". На выпускных стрельбах я был назначен "стреляющим" от нашего учебного взвода и находился поэтому на наблюдательном пункте полигона. Стреляли боевыми снарядами. Рядом со мной стоял Петрищев, уже в полковничьих погонах, и наблюдал в бинокль. Он объяснял ход стрельбы холеному штатскому мужчине в пенсне: "Недолет. Перелет. Вилка. Переход на поражение. Очередь". Несколько фраз Петрищев произнес по-французски. Одну из них, мне показалось, я понял: "То, что по-русски называется смещением командира относительно плоскости стрельбы, по-французски - параллакс".

Ходили слухи, что Петрищев надеялся на новое, генеральское, звание - он долго оставался комбригом, погон не носил. Однако вместо ожидаемого получил он, увы, звание полковника. Неспроста это: был Петрищев в молодые годы царским офицером, следовательно, человеком ущербным.

Запомнилось мне его прощальное напутствие. В день выпуска, перед отправкой на фронт, к нам, новоиспеченным младшим лейтенантам, он обратился так:

- Поздравляю вас с первым офицерским производством! Родина скоро поручит вам своих сынов. Помните, солдаты должны видеть в каждом из вас не только своего начальника, которому обязаны беспрекословно подчиняться, но и пример для подражания. Любой ваш поступок будет на виду, все заметит внимательный солдатский глаз: и доблесть, и трусость, и заботу, и пренебрежение. Если вы хоть раз струсите или проявите непорядочность, то лишитесь уважения солдат, ваших товарищей по оружию, обесчестите свое имя и покроете позором офицерский мундир. Лучше смерть, чем такой позор!

В заключение он выразил надежду, что мы не осрамим на поле боя доброго имени Первого Ростовского артиллерийского училища и внесем достойный вклад в победу над врагом.

Я часто вспоминаю училище, наш 38-ой учебный взвод. Суровым было боевое крещение 1 -го РАУ: много курсантов и преподавателей полегло на полях и холмах между Ростовом и Моздоком в трагические дни лета и осени 1942 года, когда немцы

прорвались к Кавказу.

В конце 1942 года училище обосновалось в городке Нязепетровске на севере Челябинской области в старой полуразрушенной церкви. Зима 1942 -1943 г.г. выдалась на редкость холодной. В нашей наспех превращенной в казарму церкви мы замерзали. Одеты были очень легко, бедно: в бывшие в употреблении хлопчатобумажные гимнастерки и брюки, ботинки с обмотками, старые шинели. Занимались по ускоренной программе (по 10-12 часов в день), всегда были голодны.

Я и мои друзья-евреи столкнулись и с антисемитизмом. К сожалению, среди курсантов оказались и бывшие уголовники, носители тюремных нравов и порядков, зачинатели грядущей "дедовшины". Трудное было время, жестокое...

В ту далекую зиму у меня появились настоящие "взрослые" друзья: Николай Казаринов, Валентин Степанов и - самый близкий - Константин Левин. Наша дружба и самостоятельная жизнь начались в насквозь промерзшей Нязепетровской церкви.

Судьба сложилась так, что на фронте мы с Николаем попали в один

противотанковый дивизион, а Костя с Валентином - в другой. Наши фронтовые

пути-дороги разошлись...

Николай Казаринов погиб в бою местного значения у села Пистынь 25 июня 1944 года. Ночь накануне прошла спокойно, и утро наступило тихое, ясное, радостное. Все с ночи осталось погруженным в торжественную тишину, будто никакой войны на Земле нет. Мы позавтракали, затем долго курили. Старые солдаты вспоминали сенокос в далекое мирное время, приятные деревенские заботы, рассказывали о женах и детях.

Я тоже думал о жизни, настоящей и будущей, о том, что юность уже прошла. Если бы не война, был бы на четвертом курсе Ленинградского военмеха, занимался бы интересным делом. Жизнь была бы замечательна! А так? Сколько дней потеряно зря, сколько интересных книг не прочитано! Эх, хорошо бы после войны встретиться с друзьями в Ленинграде, на Фонтанке, около института! "Впрочем, - подумалось, - это пустые фантазии. Выбраться отсюда вряд ли удастся". В душу закралась тревога, тишина показалась обманчивой, неестественной. Захотелось повидать Николая, поговорить с близким человеком. "Отпрошусь попозже, после обеда, и схожу в гости", - решил я.

Солнце начало припекать, но лежать в траве было приятно - ароматы земли и нагретых трав дурманили голову...

Около полудня слева от нас, на краю села, внезапно началась автоматная и ружейная стрельба. Мы кинулись по местам на

огневые. Однако на нашем участке все оставалось спокойно: ни стрельбы, ни движения.

Бой шел на участке батареи Казаринова. Из-за густых деревьев окраина села просматривалась плохо, и толком ничего нельзя было понять. Вскоре раздались орудийные выстрелы. Стреляли наши сорокапятки, но не бронебойными и не осколочными снарядами - глухо рвалась картечь, потом послышались ручные гранаты. Наш комбат Гоменюк подал команду "К бою!", но мы и без того изготовились у своих орудий. Минут через пятнадцать стрельба внезапно прекратилась, и наступила тишина.

Позвонили из штаба дивизиона. Интересовались обстановкой на нашем участке и сообщили, что рота немцев, а точнее, мадьяр, просочилась через боевое охранение и внезапно атаковала первую батарею. Батарея атаку успешно отбила, даже потерь не имеет, а фрицев уложила много, подсчитывают. Я подумал, что "дача" Николая, действительно, оказалась опасной ловушкой. Этого следовало ожидать. Обошлось, ну и хорошо! Молодцы: не прозевали и не растерялись!

Прошло еще немного времени, не более пятнадцати минут, и немцы без всякой пристрелки выпустили по окраине села один за другим четыре осколочных снаряда. Я заметил даже, что один из них разорвался прямо на дереве. Видимо, врезался

взрывателем в толстую ветку. На этом обстрел закончился, и все утихло. Вообще, внезапные артналеты бывали почти ежедневно. Немцы стреляли издалека по давно пристрелянным реперам. К этому привыкли.

Мы подождали еще немного у своих пушек, услышали "Отбой!" и спустились в укрытие. Потом пообедали, покурили, "потравили баланду". Я отошел от укрытия, лег в траву и не заметил, как задремал. Вдруг меня накрыла тень надо мной стоял Гоменюк, бросились в глаза его начищенные сапоги.

- Надо картечь получить, у нас мало. Вечером подвезут. От дороги сюда надо поднять на руках. Понял?

- Понял. Поднесем. Уложим в ниши.

- Да, вот еще. Я звонил в штаб. Сказали, что в первой батарее убит взводный. Твой друг он, что ли?

Я вскочил:

- Нет, нет. Там все живы. Передали, что потерь у них нет! Даже раненых!

- Сказали, что убит во время артналета. После атаки.

- Кто? Кто убит?

- Лейтенант Казаринов.

У меня перехватило дыхание, - эти слова оглушили:

- Комбат, я должен идти туда. Нужно. Сейчас.

- Ну иди, пока спокойно. А если что, бегом назад! Можешь взять кого-нибудь.

- Можно, я с вами, лейтенант? Я знаю вашего друга. Хорош человек, поднялся сидевший рядом Ковалев.

Он подхватил свой автомат, и мы быстрым шагом, почти бегом, спустились в долину, к селу. Там, в доме, было полутемно. На столе лежал Николай, молодой, красивый, будто только что уснувший. На лице застыла его обычная сдержанная, едва заметная улыбка. На побелевших щеках проступили веснушки. Я сжал его остывшие уже руки и долго стоял в оцепенении.

Во дворе слышались голоса, входили и выходили люди... Я отключился...

Мы похоронили Колю тихим вечером в яблоневом саду, недалеко от огневой. Яму выкопали под большим старым деревом. Могилу обложили дерном, как бруствер орудийной площадки, и укрепили фанерную табличку. На ней химическим карандашом вывели:

"Гв. лейтенант Казаринов Н. К.

1924 - 1944.

Слава павшим героям!"

Затем дали три залпа из карабинов. Я машинально выпустил из своего пистолета всю обойму. Еще постояли немного над свежей могилой, а затем старшина первой батареи позвал нас в дом.

За столом, где недавно лежал Николай, сидел комбат Романов и курил.

Мы помянули Колю. Комбат сказал, что лейтенант Казаринов был храбрый офицер и погиб, защищая честь и независимость Родины. Потом я добавил, что мой друг Коля - очень душевный и справедливый человек, и я всегда буду помнить о нем...

Прошло шестьдесят лет, и память о нем жива...

Мы выпили по сто граммов спирта и вышли во двор. Стоя у ближней огневой, Романов строго предупредил расчет, чтоб в эту ночь никто не спал, чтоб были начеку - возможны повторные атаки.

Уже темнело. Нам с Ковалевым нужно было возвращаться. Романов пожал мне руку, постоял рядом и тихо, ни к кому не обращаясь, сказал: "Да, ребята, война - жестокая игра" - и ушел проверять второй взвод. Потом, уже издали, крикнул мне:

- Приходи, лейтенант. Старая дружба не должна умирать!

% % %

...В 1947 году после демобилизации я случайно встретил Романова в Харькове на трамвайной остановке. Мы поговорили о

войне, о своей неустроенной жизни, вспомнили Николая Казаринова и разошлись по своим делам...

...На обратном пути Ковалев рассказал мне, что услышал от солдат Казаринова. Мадьяры, видимо, хорошо разведали наш передний край. Потому и сумели тихо снять пехотных наблюдателей, проскочить через наше боевое охранение. Они

подошли близко к пушкам Казаринова, надеясь захватить их врасплох. Не получилось. Наши наблюдатели вовремя заметили, открыли огонь из автоматов, подняли тревогу. Хорошо, что заранее все было приготовлено для отражения внезапной атаки. Главное, под рукой была картечь. Она и спасла положение. С картечью наших скорострельных сорокапяток пехоте не совладать. Эти картонные снаряды, начиненные стальными обрезками, гвоздями и гайками, с близкого расстояния прямо косят атакующих. При стрельбе картечью наводить пушку через прицел не нужно. Солдат вращает маховички наводки, направляя ствол "на глазок". Только успевай заряжать и нажимать спуск. Мадьяры были уже рядом, но не учли этого и поплатились. Их уложили много: девятнадцать солдат и офицера. После отражения атаки настроение у всех было очень хорошее: радовались успеху, особенно Казаринов, - рассказывали его солдаты. Он похвалил всех за бдительность и хладнокровие.

А минут через десять, желая, видимо, прикрыть отход оставшихся мадьяр на случай, если наши решат их преследовать, немцы обстреляли из гаубиц окраину села. Один из снарядов разорвался в ветвях тополя напротив дома. Никого не задело, только Казаринова. Осколок пробил ему грудь над самым сердцем. Коля не произнес ни слова, осел на землю и на глазах солдат через минуту умер. Тихо, без мучений. Единственная милость и утешение.

Так оборвалась жизнь моего друга Николая Казаринова.

% % %

... 28 апреля 1944 года на минном поле под Яссами подорвался другой мой друг и однокашник, тоже двадцатилетний юноша - лейтенант Валентин Степанов. В его последние минуты рядом находился Константин Левин...

% % %

Сижу, откинувшись на спинку дивана, курю. Думаю, что скоро прибудет пополнение. Солдаты поначалу особенно внимательно присматриваются к своим новым командирам. Верно говорят: первое впечатление самое сильное и верное. Надо держаться достойно, честь дороже всего...

Клонит ко сну... Вздрагиваю от внезапного резкого дребезжащего стука ложки по котелку и от речитатива Ковалева

на высокой ноте:

- Кончай ночевать, славяне! Выходи строиться - баланду хлебать! Бери ложку, бери бак! Нету ложки - лопай так! Остолопы! Остолопы!

Обычная формула, общепринятый призыв, приглашение к трапезе.

А в училище было строго. Войдя строем в столовую - низкий, темный барак - мы выстраивались вдоль грубо сколоченных столов, переминались с ноги на ногу, постукивали насквозь промерзшими ботинками, не смея сесть. Ждали команду. Наконец дежурный старшина зычно рявкал, выдерживая долгий интервал между командами:

- Головные уборы снять!

- Садись!

- Приступить к приему пищи!

Только после этой, последней, команды мы начинали торопливо - были постоянно голодны - делить хлеб, разливать по алюминиевым мискам содержимое бачков и "принимать" нашу скудную пищу военного времени: капустный суп с селедкой, мороженую картошку со следами тушенки, иногда несладкий компот из сухофруктов. Я страстно мечтал тогда о большой миске макарон с маслом.

Хлеб мы делили - стыдно сказать - по тюремному обычаю: один из нас

отворачивался и называл того, кому следует отдать следующую пайку хлеба.

Мы в училище недоедали, а мои родители, сестра, брат и бабушка, как миллионы эвакуированных, точнее, беженцев, голодали. А голод деформирует психику...

% % %

Солдаты с котелками выходят на кухню. И мне хочется горячего поесть -два дня не варили, не до того было. Однако не успеваю подняться с дивана - вызывают к телефону: явиться в штаб, срочно! Нехотя одеваюсь и на ходу бросаю Никитину, который уже готов, как положено, идти со мной:

- Оставайтесь! Я поем, когда вернусь.

Из кухни с дымящимся котелком в руках возвращается Пирья. Говорю ему:

- В штаб вызвали. Остаешься за меня. Мало ли что. Чтоб часовой и подсменок не дремали! Остальным - отдыхать.

"Очень может быть, - размышляю по дороге в штаб, - что пошлют за

пополнением. Так уже бывало. Вообще, съездить в тыл интересно. Но не сейчас. Подремать бы..."

Взбегаю на крыльцо штабного дома. В коридоре натыкаюсь на командира дивизиона. Он курит. Докладываю, как положено:

- Товарищ майор! По вашему приказанию прибыл! Он рассеянно машет рукой на дверь: "Заходи".

Собирают командиров батарей и офицеров управления. Вдоль стены на разномастных стульях сидят почти все "управленцы": начальник боепитания, помпотех, начфин, он же начальник ОВС-ПФС (обозно-вещевое и продовольственно-фуражное снабжение), командир взвода управления и "начмед", точнее, фельдшер - старший лейтенант медслужбы. Затем входят начальник штаба и заместитель командира. Командиры батарей на месте.

Задерживается замполит, и нет командира роты ПТР - убит. Да и роты нет - всю разобрали по батареям.

Командир дивизиона у нас давно, с 1942 года. Он человек смелый, решительный, толковый, но не без слабостей. Охальник, бабник, а главное, большой любитель выпить и при этом покрасоваться на людях. Не пил - был бы идеальный командир. Но идеалов, увы, не бывает.

Не раз случалось, под обстрелом, когда мы с ходу разворачивались на самом "передке", под носом у противника, его громогласные команды и изощренная хмельная брань далеко разносилась, так сказать, над полем брани Возможно, и до немцев долетало:

- Смотри, пехота, как истребители воюют! Не прячьтесь по кустам! В штаны напустили, трясогузки! В душу! В бога! Мать-перемать!..

И гнал свой "виллис" вперед до упора, а мы, само собой, летели за ним Конечно, часто "залетали", и многие ни за что сложили головы. Часто, слиш ком часто.

Несмотря ни на что, все его любят за честность, за благожелательность, за душевность и за эту его бесшабашную отвагу. Говорят, что и начальник артиллерии дивизии очень уважает нашего командира, считает настоящим истребителем. Из-за необузданной лихости командира летом ранило, правда, легко, а его водителя тяжело - две пули в грудь получил. Много приключений мы с ним пережили...

Сейчас, возвратившись из штаба артиллерии, майор поставит нам задачу. Так положено. Сидим, ждем... Наконец он входит. Начальник штаба, любитель и блюститель порядка и старший по должности, вскрикивает:

- Товарищи офицеры!

Мы встаем, а командир устало сипит:

- Садись, братцы, - и сам тяжело плюхается на стул. К нему подходит Макухин и что-то шепчет.

Наш ОИПТД не обычное линейное подразделение, а самостоятельная воинская часть. Мы понимаем это и обращаемся к Макухину уважительно: "Начальник штаба", хотя официально его должность называется "старший адъютант". Наш командир, когда чем-то недоволен, в наказание выговаривает: "Опять ты, адъютант, напутал!"

Майор некоторое время молчит, смотрит вдаль поверх наших голов, собирается с мыслями. Потом тихо - такая привычка - начинает:

- Значит, так. Будем пополняться. Времени в обрез. Дали два дня сроку. Нужно идти вперед, быстрее добираться до Одера и Нейсе, захватывать плацдармы и врываться в самое логово. Начальник артиллерии обещал все для нас подготовить: личный состав, матчасть, боепитание. В полках дело хуже, а нам идут навстречу... Только с водителями и сержантским составом будут, возможно, затруднения. Вы с Макухиным сейчас же уточните потребность по батареям, по взводу управления и остальной ... братии.

Командир начинает воодушевляться, говорит громче. Чтобы подчеркнуть важность сказанного и углубить наше понимание сущности поставленной задачи, важные места своей речи он усиливает командирским матом, знатоком и почитателем которого является. Я привык уже, так что особого впечатления на меня это не производит.

А поначалу, после училища, меня, наученного строгой уставной форме общения, разговорная манера командира дивизиона шокировала. Было очень стыдно за него. Теперь я вместе со всеми слушаю спокойно, пропускаю мимо ушей изощренную матерщину и разный языковый мусор. Вникаю исключительно в суть дела.

- Думайте головами, а не... Пополнение сырое, молодняк. Немедленно

организовать занятия, без раскачки. Макухин, завтра к утру расписание! Знаю, у кого-то в голове другое: поспать, по бабам сбегать... Смотрите, не распускайтесь и дисциплину не разлагайте. Это вам, комбаты! ... С вас... строго спрошу. Взаимодействие будем отрабатывать на марше, в боевой обстановке. Готовых истребителей не бывает. Из госпиталей к нам не возвращаются... Получим западников ... пехоту... С ними... нужно работать спокойно, уважительно. Тогда будут стараться и нашу простую технику освоят... Летчиков, танкистов - этих трудно готовить. Время ответственное впереди Германия.

Он обвел тяжелым взглядом присутствующих и остановился на начальнике боепитания капитане Череване и помпотехе -

старшем технике-лейтенанте Острякове.

- Черевань! Капитан вскакивает.

- И ты, Остряков!

Огненно-рыжий помпотех медленно поднимается.

- Чтоб сегодня же в дивизии всю заявку выбили. С полковником (это начальник артиллерии дивизии) я обо всем договорился. Вечером доложите мне. Все!

У нас возникает несколько мелких вопросов. Командир решает их быстро, толково.

Совещание окончено. Задача ясна. Я остаюсь ненадолго, чтобы оставить Макухину заявку батареи. Он сверяется со своими записями, отмечает что-то, потом говорит:

- Слушай, мы получили новую кухню. На нее нужно двух солдат. Хотя бы один должен понимать толк в вареве. Понял?

- Понял, конечно, товарищ капитан. Но Ковалев - наводчик. Хороший наводчик.

- Другого научишь. Смотри шире! Повара не найти - специальность редкая у нас.

- Да, лучшего повара вы не найдете. И он очень рад будет. Выходит, нужно отдавать. Прошу вас дать мне из пополнения артиллеристов, не сплошь пехоту. Учтите.

- Рассуждаешь правильно. Учтем. Отдыхай пока.

Не спеша выхожу на площадь. Мороз ослаб. Ярко светит солнце. Появились прохожие. Два польских солдата в смешных четырехугольных фуражках-конфедератках о чем-то увлеченно беседуют на ходу. Они проходят мимо и, не глядя на меня, небрежно отдают честь двумя пальцами. В ответ и я прикладываю руку к шапке.

Захожу во двор. У пушки прохаживается Ковалев, автомат положил на сидение машины. Я останавливаюсь и от удивления развожу руки. Он догадывается, хватает автомат и вешает на шею. Улыбается. Я молчу. Пока ничего не скажу о возможном повороте его судьбы. Мало ли что может случиться?

Дома суеты уже нет. Все поели и улеглись на полу. Связистов, конечно, тоже накормили. Дежурный телефонист догребает из котелка баланду. Заглядываю на кухню. Здесь стало хорошо: чисто, тепло. За столом сидят Никитин и Кириллов. Входит Пирья:

- Что сказали в штабе, комбат?

- Завтра, наверно, привезут пополнение и матчасть. А потом будем наступать на логово врага. Вот и все. Меня никуда не посылают - и на том спасибо.

- А сколько простоим здесь?

- Недолго. Нельзя давать немцам передышку, чтобы не

укрепились на Одере. Нужно форсировать с ходу и врываться в Германию. Такая задача у нас. Отдых будет короткий. А пока - всем отдыхать!

Говорю громко в полуоткрытую дверь, чтобы все слышали. Доносится голос водителя Сидельникова, дежурные слова:

- Порядок в танковых частях! Червяка заморили - и спи мертвым сном. Солдат спит - служба идет.

При чем тут танковые части? Но слов из песни не выкинешь.

- Ты, Сидельников, замовчы вжэ, - вмешивается Ковтун.- Годи тэрэвэни правыть (хватит чепуху молоть)!

Сидельникова, однако, не так просто остановить. Через минуту он снова

заводится, не может удержаться:

- Эх, братцы, мне бы сейчас молодуху на денек! Хотя бы на часок! Сил нет. У нас на селе до войны ох и хороши были девки! Бывало, вечерком...

Его грубо обрывает Батурин:

- Заткнись, жеребец стоялый! Уснуть не даешь!

- А что, Батурин, забирает?

Разговоры все же затихают. Сон берет свое. Подходит Никитин:

- Давайте завтракать, комбат. Все уже поемши.

Я осматриваюсь, где бы устроиться. А Никитин, оказывается, уже решил:

- Пойдемте в хозяйскую комнату. Пусть народ отдыхает. Там спокойно будет, удобно.

Он показывает на дверь между кухней и нашей комнатой: "Там есть стол и все. Я договорился с хозяином". Он берет с плиты котелок, идет вперед. За дверью

продолжение прихожей и выход на заднее крыльцо. Слева - лестница на мансарду.

Я открываю дверь справа, и мы входим в небольшую, очень чистую, хорошо убранную комнату. Книжный шкаф, два кожаных кресла, красивая люстра. В центре комнаты под люстрой - стол, накрытый белейшей скатертью. На столе приготовлены тарелка, чашка с блюдцем, ложка, вилка, нож, еще блюдце с тремя кусочками сахара. Смотрю вопросительно на Никитина: "По какому случаю такая торжественность?" А он улыбается:

- Я только намекнул, а они сами предложили вам тут поесть. Чего отказываться-то? Во как тут чисто, покойно. Давно ведь в такой чистой горнице не сидели. Славно.

Неожиданно. Пусть будет так. Скидываю с плеча сумку, полушубок, шапку. Бросаю все на стул в углу. Подпоясываюсь, подвигаю пистолет к боку,

причесываюсь - обстановка обязывает. Сажусь и предлагаю Никитину:

- Может, за компанию подзакусите? В котелке - большой запас есть.

- Нет, я поемши. Кипяток на плите стоит. Возьмете для чаю.

- Спасибо. Отдыхайте. Я поем и приду.

- Ваше одеяло я на диван положил. Так что пойду отдыхать.

- Идите, конечно.

Культурно наливаю из котелка в тарелку свою баланду. По привычке

поднимаюсь за сумкой, чтобы достать свою заслуженную самодельную литую алюминиевую ложку, но замечаю, что все уже приготовлено и годится для самой изысканной еды. Приятно.

Не успеваю доесть баланду, как дверь осторожно открывается, входит хозяйка, а за ней - хозяин. "Пшепрашэм, пан офицер", - они просят извинить за беспокойство. Интересуются, сколько мы проживем у них. Если бы я и знал, то все равно не сказал. Какая-никакая тайна. Но я и не знаю. Вместо ответа я заговариваю о другом:

- Мне странно. Дзивне, что вы называете меня паном. У нас панами называют помещиков, капиталистов. Одним словом, богачей. У нас писали о польских панах, как о богачах, магнатах. Называли их белополяками. Какой же я пан?

На вид они люди интеллигентные, немного понимают по-русски. С ними

интересно поговорить. Любопытно. Хозяин меня понимает, улыбается:

- Я вем, вы не паны. Вы вшистци товажиши. Знаю. Але ж у нас воспитанные люди называют друг друга "пан". Так принято: и магнат, и бедняк -одинаково паны. В этом они равны. У вас в России раньше тоже все называли один другого "господин". Культурные люди, не хамы. Вы этого уже не застали. Але "товажиш" - тоже уважительно.

Хозяин терпимо говорит по-русски, лишь немного используя польские слова. Высказывается корректно, высокомерия не замечаю. И я стараюсь проявить воспитанность. Отвечаю, что понимаю смысл этой традиции и ничего против нее не имею. Пусть будет так: пан - так пан. Интересуюсь, как зовут их. Имена у них простые: Богдан и Мария Шавельские. Мне неприятно, что я не ответил на волнующий их вопрос:

- Вы спросили, сколько мы у вас пробудем?

- Так, так. Иле дни? Сколько дней?

- Не переживайте. Мы пробудем недолго. Точней не знаю.

Хозяин удрученно кивает головой, он расстроен. Они не

уходят.

Я выяснил, что пан Богдан и его жена - оба врачи. Что жене чудом удалось спастись, бежав из немецкого концлагеря. Оказывается, что хозяин еще "за России", то есть до нашей революции, учился в Варшавском университете на медицинском факультете и поэтому знает немного русский, хотя порядком подзабыл. А жена

по-русски почти ничего не понимает.

После "первой войны", "за Польщи", они одно время жили в Люблине, потом переехали сюда, под Краков, работали в больнице и имели частную практику. В сентябре 1939 года на фронте погиб их сын Юзеф - офицер польской армии. Потом была оккупация, преследования. Жизнь разрушилась.

Хозяин заинтересованно, но ненавязчиво расспрашивает о моей жизни. Рассказываю, что родители - учителя, а я хотел стать инженером. Но успел лишь закончить школу и - война. Нашей семье в конце июля 1941 года удалось бежать

из-под Одессы аж на Урал.

Получается приятная, почти домашняя беседа. Чувствую, что хозяину хочется поговорить, и он заводит политический разговор. Считает Пилсудского великим патриотом и спасителем Польши, а последних правителей Рыдз-Смиглу и Бека - карьеристами и предателями. Находясь между Германией и Россией, Польша была обречена, тем более без надежных союзников. Англия и Франция бросили Польшу на произвол судьбы. Польское правительство дезертировало, и Польша погибла.

Я пытаюсь убедить хозяев, что все обстоит хорошо. Красная Армия освободила обе столицы - Варшаву и Краков. Скоро восстановится независимая Польша, и все будет лучше, чем до войны, гораздо лучше:

- Для поляков самое страшное позади. Война почти закончилась. Радуйтесь, что у вас уже мир! Покуй!

- Покуй! Покуй! - продолжает ныть хозяин. - Какое может быть спокойствие, когда дом полон солдат! Мы, обыватели, не чувствуем себя в безопасности. Как и вся Польша.

- Наши солдаты не обижают население. Нечего бояться!

- У нас много страшного рассказывают о "советах" (советских гражданах) и о ваших солдатах. Есть насилия и в нашем городе тоже. К сожалению.

- Немецкая пропаганда запугала вас. Геббельс всю Европу запугал

большевиками и "советами". Вас тоже.

- Так, так. Але мы боимся. Посмотрите на тэн образек (эту картинку).

Он достает из книжного шкафа и протягивает мне картинку побольше почтовой открытки. Картинка красивая, цветная, на странной, очень плотной и толстой бумаге. Изображен на ней изнутри высокий средневековый храм, возможно, костел. Классическая готика: узкие высокие окна, красно-золотые витражи, много колонн, роспись, богато убранный алтарь, огромные люстры...

У алтаря с поднятой рукой стоит старый благообразный священник, по бокам - молодые служки в белых накидках. Происходит венчание. Священник благословляет стоящих перед ним красивого молодого человека в черном костюме с белым цветком в петлице - жениха и ослепительную красавицу -невесту в белом платье и фате. Позади молодых - представительные, хорошо одетые мужчины и женщины, видимо, родственники, знакомые, свидетели, гости.

Я внимательно рассматриваю карточку. Что ж, красиво, даже умилительно. Величественный храм, мягко улыбающийся священник, молодые люди с

торжественными, счастливыми лицами. Запомнится на всю жизнь.

- Очень красивая картинка. Бардзо пьенкный образек. Дзинкую, - говорю я и возвращаю карточку.

- А теперь, пан офицер, посмотрите еще раз на свет.

Он берет у меня картинку, подходит к окну, смотрит ее "на просвет" и отдает мне.

Я тоже смотрю и вижу другую - страшную картину. Через выбитые двери в этот же храм ворвалась толпа, нет - орда гориллоподобных, разъяренных, заросших до глаз солдат. Лица их отвратительны: уродливы и тупы, скорее, морды животных. Они в длинных шинелях, на головах - буденновки с большими красными звездами. В руках ворвавшихся ножи и винтовки с примкнутыми штыками - наперевес.

Один из красноармейцев всадил штык в живот недоумевающему добродушному священнику, и тот падает, роняя крест. Жених лежит в луже крови с перерезанным горлом. Русский наступил ему ногой на грудь и растоптал белый цветок в петлице. Убегают служки, один из них уже сбит с ног ударом приклада по голове. Рядом трое красноармейцев повалили невесту на пол и готовятся насиловать. Они обнажили ее ноги выше колен и рвут свадебное платье. Другие красноармейцы добивают убегающих в ужасе людей.

Картина написана талантливым художником. Она впечатляет и может вызвать антипатию к русским, большевикам, "советам".

Я несколько обескуражен и, естественно, возмущен:

- Ложь и грубая немецкая пропаганда. Наши солдаты ничего подобного не делали и не сделают, даже в Германии. А за Польшу они кровь проливают. Не бойтесь их.

Страхи хозяина я не развеял:

- Война. Люди обозлились, одичали. Многие жаждут мести. Солдаты, особенно пьяные, часто обижают людей. Знаете, темные инстинкты... Рассказывают, что насилия бывают часто. Мы боимся вашего унтер-офицера или, не знаю, плютоновэго (взводного).

Выясняю, что он имеет в виду Батурина. Хозяйка согласно кивает головой:

- Проше пана, накажице ему, жэбы он нас не тревожил (прикажите ему, чтобы он нас не беспокоил). Нам страшне. Он злостит сен на нас. Он злой.

Пан Богдан что-то шепнул хозяйке. Она вышла и скоро вернулась с бутылкой вина. Они предлагают выпить. Я отказываюсь. Мне неприятны их недоверчивость и это бестактное подношение.

- Нет-нет! Не нужно вина. Дзинкуе. В другой раз. Благодарю.

Хозяйка как будто не понимает. Потом, спохватившись, отливает немного в стакан и выпивает, глядя мне в глаза. Я стою в недоумении, а хозяин, смутившись, поясняет:

- Вино доброе. Старое венгерское. Не сомневайтесь. Выпейте.

- Странные люди. Я верю вам, не сомневаюсь, что вино хорошее.

Тут открывается дверь, и в комнату заглядывает девочка. Нет, - это молоденькая девушка. Оказывается, она принесла бокалы, которые хозяйка то ли забыла, то ли не захотела взять. Хозяева молча переглядываются, а девушка с минуту стоит по ту сторону двери, держа перед собой подносик. Затем, как бы решившись, она неуверенно входит в комнату.

Хозяйка берет из ее рук подносик, ставит на стол, достает из буфета хлеб, кусок какой-то красноватой колбасы, нарезает и раскладывает на две тарелки. А девушка стоит у двери, с любопытством и достоинством разглядывая меня. Довольно высокая, белокурая, волосы до плеч, розоватые щеки. У нее большие темные печальные, как у хозяйки, глаза, красивый рот, детские, еще пухлые губы, несколько удлиненный, прекрасный овал лица.

Величественная ее красота поражает. Именно такой представлялась мне когда-то юная королева. Я, потрясенный, стою, не спуская с нее глаз. Молчу. Девушка подходит к столу. Строгая, холодная, даже надменная. Потом она снимает наброшенную на плечи темную кофточку. Сразу бросается в глаза ее стройность, плотно облегающее красно-белое платье, яркое,

чем-то даже вызывающее. До меня Доходит: "Да ведь это - польские национальные цвета. На ней польский флаг! Так она, оказывается, патриотка!"

Время остановилось. Постепенно строгое выражение ее лица смягчается и

появляется неожиданно добрая, доверчивая, детская улыбка. Глаза и лицо начинают излучать мягкий, теплый свет. И от этого в комнате все меняется, становится светло и радостно. Не представлял, что возможна на свете такая живая красота!

Хозяйка приглашает к столу: "Прошэ! Проше, сядайте!" Хозяин представляет меня: "То пан росийський офицер",- и, повернувшись ко мне: "Моя цурка". Еще добавляет зачем-то: "Дочерь". Она улыбается мне свободно, искренне: "Эва". Руки не подает, отмечаю это. Чувствую себя скованно. О чем говорить, не знаю. Хозяин разливает вино, а я стою и смотрю на Еву с нескрываемым восхищением...

Тогда пан Богдан нарушает затянувшееся, неловкое молчание:

- Выпьем, чтобы скорее закончилась эта ужасная война и наступил мир.

Чуть помедлив, он добавляет:

- Хотелось бы и справедливости, но я не верю, что Польше суждена

справедливость. Так пусть будет хотя бы мир!

Тост мне не понравился, но хозяин выпил, и я - за ним. Ева о чем-то быстро говорит отцу. Я не понял, вопросительно гляжу, и он объясняет:

- Моя цурка сказала, что надо выпить за то, чтобы все присутствующие остались невредимы в этой войне. Так она сказала.

Тост замечательный. Значит, Ева подумала и обо мне. Приятно. По-видимому, правила хорошего тона требуют от них еще некоторого, хотя бы короткого, продолжения беседы с гостем, пусть даже с непрошеным. И Ева спрашивает, скоро ли, по моему мнению, закончится война.

- Посмотрите на карту. Германия уже окружена нами и союзниками, а Гитлер не сдается, потому что знает наш лозунг: "Смерть немецким захватчикам!". Немцы - фанатики, а фанатики не сдаются. Их надо уничтожать. За несколько месяцев мы с ними справимся.

Хозяин мыслит иначе:

- Как верующий человек и как врач я убежден, что убивать людей, даже

фанатиков, нельзя. Это - зло. Одно зло порождает другое.

Одна жестокость

порождает еще худшую.

Я отвечаю решительно, не задумываясь:

- Ваша религия лицемерна. Ваша "святая инквизиция" пытала и убивала людей за убеждения или просто ни за что. Почему ваша церковь, или там костел, не выступили против Гитлера, против еврейских погромов, против концлагерей? Ваша религия не милосердна, как вы считаете, - она лицемерна и лжива.

Хозяин отрицательно машет рукой и вертит головой:

- Нет, то было давно. Инквизицию отменили четыреста лет назад. Сама церковь!

- А теперь еще хуже. Невинных людей - поляков, русских, особенно евреев - церковь не защищала, а вы хотите простить заведомых убийц. Проповеди читать им.

- Нельзя убивать всех согрешивших. Заблуждавшихся нужно простить. И проповеди им читать нужно. Тогда они покаются в своих грехах.

Неожиданно вмешивается Ева:

- Не, ойтец. Я с тобой не згодна (согласна). Немцы не заблуждались. Они все поддерживали Гитлера и все знали. Они радовались, когда убивали поляков, евреев. Они даже собак на улицах перестреляли. Немцев надо наказать! Всех! Вшистцих!

Мне приятна поддержка Евы, а пан Богдан сразу как-то сникает:

- Может быть, вы, молодые, в чем-то правы. Раньше Германия считалась очень культурной страной. Кто бы мог подумать?

- Я тоже слышал о немецкой культуре. Говорили. Но раз Гитлер сумел за несколько лет превратить почти всех немцев в убийц или их помощников, значит, не было у них культуры. У Гитлера была сильная пропаганда. Может, она свернула мозги всему народу?

- В этом вы правы, пан офицер, И русская пропаганда тоже сильна! Очень! Ева пристально смотрит на меня и, кажется, одобряет. Ее внимание очень поощряет меня к дискуссии:

- У немцев была лишь внешняя культура и еще образование, манеры и все такое. А главное в культуре, наверно, - свобода, свобода мысли, что ли...

% % %

Во время этого разговора вспомнилось зловещее, пугавшее неизвестностью лето 1941 года. В середине июля родители получили наконец "разрешение на эвакуацию". Без этого разрешения не отважились уезжать. Как можно без бумаги?! Однако к

тому времени пассажирские поезда из Одессы на восток через

нашу станцию Голта уже не шли. Станцию непрерывно бомбили, а я ежедневно бегал туда, бродил по путям, высматривая эшелон, на который могла бы пристроиться наша семья.

В один из таких суматошных дней на привокзальной улице Революции я столкнулся с нашей учительницей немецкого языка Анной Францевной Рудик. Это была немолодая, полная, спокойная женщина, натуральная немка, знакомая моих родителей. Она обрадовалась встрече, спросила о здоровье "стариков", поинтересовалась моими планами. Я ответил, что в армию меня еще не берут, мне 17 лет. Сообщил, что выслал документы в Ленинградский военно-механический институт, а теперь боюсь, как бы они не затерялись.

И еще я пожаловался: "Никак не удается попасть на эшелон для эвакуации".

- А зачем эвакуироваться? - удивилась она.

- Как это - зачем? Если немцы займут город, то расстреляют евреев,

комсомольцев...

- Какая дичь! Какая чепуха! Не верьте всему, что говорят. Вспомните: злые языки страшнее пистолета. Наши газеты, как всегда, сгущают краски. Специально, чтобы разорить приграничные области и нанести урон Германии. Не верьте этой пропаганде!

- Как же не верить, Анна Францевна? По радио передают, газеты пишут, беженцы из Львова рассказывают ужасные истории. Немцы же - фашисты! Они убивают евреев!

- Нет. Все это выдумки и пропаганда. Майн гот! Германская армия и

правительство не допустят беззакония. В конце концов, они тоже социалисты, а не анархисты какие-нибудь! Я видела своими глазами германские войска на Украине в 1918 году. Добропорядочные, воспитанные люди. Они защищали наших мирных жителей от грабежей и погромов. Грабили не германские солдаты, а наши местные банды: зеленые, белые, красные. Германцы - очень культурные, честные люди, особенно офицеры. Западная цивилизация! Германия всегда помогала России. И, вообще, внесла огромный вклад в мировую науку! Нам есть чему у них поучиться. Не бойтесь! Да, недавно наши артисты устроили в Берлинской опере концерт, давали "Пиковую даму". Там Германа пел...

Я слушал молча эту речь и думал: "Плохи наши дела. Наверно, немцы уже близко, и она не в состоянии сдержать своей радости. Ждет прихода". А она все говорила:

- Все образуется. Страсти улягутся. Все - к лучшему. Вам не

следует из-за

каких-то нелепых слухов бросать свой дом, имущество и бежать в неизвестность. На чужбине беженцев ожидают большие лишения. Я знаю,- большое несчастье не иметь своего крова над головой. Передайте это своим родителям и, конечно, привет от меня.

Она вдруг, как бы внезапно испугавшись чего-то, умолкла, засеменила прочь, оглянулась, крикнула: "Ауф видерзейн!" - и скрылась за поворотом. Больше мы, однако, не встретились.

Усталость и заторможенность прошли. Я любовался Евой. Ее поощряющая улыбка возбуждала во мне энергию и будоражила мысль. Мне хотелось высказать веское собственное мнение, заинтересовать Еву, завоевать ее симпатию.

Тогда я без колебаний брался судить обо всем бескомпромиссно, решительно, окончательно. Лишь много лет спустя я осознал пользу сомнения и открыл печальную истину: чем меньше человек знает, тем решительнее и строже судит обо всем.

Теперь многое видится по-иному: потускнели яркие молодые краски, рассеялись иллюзии, притупилась боль ошибок и разочарований. Бог милостив. Он наделил время способностью притуплять чувства, утишать скорбь. Иначе жизнь превратилась бы в муку.

В те немногие часы, даже минуты общения с Евой я впервые, еще неясно, ощутил магическое обаяние женщины, ее великую таинственную силу. Потом, много лет спустя, пришло осознание того, как велика может быть эта сила, способная творить с нами чудеса: наполнять сердце смелостью, заставлять ум яростно трудиться, воодушевлять на большие дела. Последующий жизненный опыт лишь укрепил меня в этом убеждении.

Не всех Бог наградил талантом любить, не каждому дал способность пробудить в женщине ответное чувство и испытать его благотворное влияние. Счастлив, кто испытал это...

% % %

Некоторое время мы молчим. Ева смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Ее лицо одухотворено. Ощущаю ее интерес ко мне и продолжаю:

- Фашисты ненавидят культуру. Геббельс писал, что, когда слышит слово "культура", хватается за пистолет. Потому что культура - это свобода. Чехов говорил, что человек становится свободным, по капле выдавливая из себя раба.

- Вы интересно говорите, - дарит мне радость Ева, - а Чехова я не читала, к сожалению, но слышала о нем.

- Немецкие философы, у которых Гитлер кое-что

позаимствовал, утверждали, что война необходима, что она якобы очищает и укрепляет народ, что в войне гибнут самые слабые и не приспособленные к жизни и, таким образом, происходит естественный отбор, как у животных. Это большая ложь. В войне гибнут самые смелые, самые честные и добрые. А лучшие места в жизни захватывают хитрецы, пройдохи и карьеристы. В этой войне уже погибли самые благородные. Они были лучше нас, оставшихся. Я знаю.

Ева печально поджала губы:

- Мой брат погиб в 39-ом. Всегда гибнут лучшие. Вы правы. Да. В разговор опять включается хозяин:

- Я врач. У меня свои аналогии. Фашизм, может быть, не просто опасная, а неизлечимая болезнь человечества.

- Вы пессимист, пан Богдан. Фашизм почти уничтожен. Мы, как хирурги, вырежем все язвы и болячки фашизма. Останется здоровый организм. Нормальное человечество.

- Вы знаете, что такое канцер?

- Да. По-русски - рак. Вообще-то фашизм сравнивали с коричневой чумой.

- Чума может иметь разные цвета, не только коричневый, но и красный, зеленый, белый. Чума излечима. Все сложнее. Канцер дает метастазы. Ну, в других странах... Если так, то лечение лишь продлит агонию, но не вылечит. Не улыбайтесь.

- Мы сразу вырежем все. Не оставим метастазов. Уверен.

- Намерения у вас хорошие. Дай Бог, чтобы вам удалось. А я пессимист. Ева сидит рядом. Очень хочется погладить ее по голове, убедиться, что это не сон.

- Мне было бардзо интересуенце. Мы вшистко розумеме. Ойтец добже пшетлумачиць. Хорошо переводит.

Хозяйка направляется к двери, за ней - не спеша - Ева. Она откровенно дружески улыбается мне и волнующе, оставляя надежду, прощается: "До видзенья!" Я, можно сказать, галантно встал и сказал, что мне было очень приятно встретиться и поговорить с ними. И еще добавил: "Ваше "До видзенья!" означает по-русски: "До свидания!" Поэтому надеюсь, - мы еще увидимся". Ева оборачивается и еще раз улыбается мне: "А цо то ест "свидание"?" Объяснить легко, а устроить трудно...

Они уходят.

Я сгребаю в охапку свою одежду и выхожу на нашу половину.

% % %

Здесь тихо. Все уже угомонились. Бодрствует лишь подсменок - заряжающий Кириллов. Он стоит на кухне у стола и, чтобы не уснуть, старательно протирает промасленной тряпкой свой карабин.

В орудийном расчете его главная обязанность проста: готовить снаряды к стрельбе и заряжать пушку. Делать это нужно быстро и аккуратно, потому что мы открыты и "кто кого" решают секунды. Заряжающий должен установить взрыватель и одним точным и сильным движением втолкнуть снаряд в казенник, не задев взрыватель. И тогда затвор автоматически закроется. Услышав от заряжающего: "Готов!", наводчик, если успел навести пушку, давит на спуск. Свое дело Кириллов выполняет мастерски. Еще он умеет ловко бороться с загораниями, когда пулеметной очередью или осколком мины пробивает гильзу и воспламеняется пороховой заряд. Нередко случается у нас и такое.

Кириллов ставит карабин на предохранитель, ударом ладони загоняет обойму в магазин, обтирает ложе. По лицу вижу, что трудно ему бороться со сном, сидя в теплой кухне. Он неторопливо закуривает и протягивает мне свой кисет:

- У меня хорошая махорочка, духовитая. Угощайтесь.

Я закуриваю. "Духовитая" махорка здорово дерет горло. Кириллов замечает:

- Все уже давно повалились и пузыри на середину выгнали.

По-артиллерийски это означает: "Все лежат горизонтально животами кверху, как уровни механизма наведения пушки при точной наводке, когда их пузырьки наводчик выводит на середину".

- Хорошо бы, - продолжает он, - с недельку здесь позагорать. Как у тещи на блинах. Эх, отоспались бы на месяц вперед. Сколь нам здесь кантоваться?

- Сегодня остаемся - это точно. А что дальше, известно только генералам. Скоро большое наступление начнется. Нельзя немцам давать передышку.

- Да, генералы знают. Они высоко сидят - далеко глядят.

- Конечно, подальше нашего. Ну, не уснешь?

- Нет, комбат. Не сомневайтесь. Не первый год замужем.

- Ладно. Пойду и я посплю, пока время есть.

Открываю дверь во двор, выбрасываю окурок. По привычке отмечаю про себя, что часовой на месте. Вижу поваленный забор. Со двора в дом входит Сидельников. Заметил, видимо, что я смотрю на забор.

- Негоже, комбат, что мы разоряем людям двор.

- Конечно, негоже. Повалили зря, без надобности. Никто в шею не гнал.

- А война, она балует людей. Им чужого добра не жалко. Вот оно и безобразят

солдаты маненько. Не на себя, - на войну все списывают. Как это поляки говорят?

- Поляки говорят: "Вшистко едно война".

- Ну, да мы этот забор подымем. Не сомневайтесь. Надо по совести. С Никитиным на пару и подымем. Токо сперва кернем часок-другой.

Открываю дверь в нашу комнату. Пробираюсь к дивану, переступая через ноги лежащих на полу солдат. Сворачиваю свой полушубок, кладу под голову, туда же - ремень с пистолетом. Снимаю сапоги - пусть ноги отдыхают тоже. Тишина. Устало и размеренно посапывают мои товарищи. Мерно тикают часы. Вижу через окно часть хозяйского садика, ясное небо. От тишины в голове начинается легкий звон. Закрываю глаза. Приятно лежать, ощущая, как расслабляется тело. А мозг возбужден, мысли скачут, возвращая в прошлое.

Хорошо, что в эту зиму нет вшей, и можно спокойно отдыхать в тепле, не испытывая мучительного зуда, как было в прошлую зиму под Корсунь

Шевченковским и Лысянкой. Тогда вши заедали! На холоде еще терпимо. А чуть согрелся - никакого спасения: все тело невыносимо зудит, и кожа расчесана до крови. Грустно и смешно вспоминать: неистово и свирепо, как гладиаторы, сражались мы "вручную" с гнусными насекомыми, проявляя настоящие охотничьи качества: быстроту, ловкость и точность. Наши руки были обагрены собственной кровью, а достичь решительной победы никак не удавалось. Вши завелись везде, даже в шинелях, полушубках, погонах, пуговицах.

Когда становилось совсем невмоготу, мы выползали из укрытий, встряхивали нательные сорочки, гимнастерки, шапки, - и белый снег делался серым. Тогда нам очень повезло - обошлось без тифа. Правда, медики старались: делали прививки, посыпали одежду каким-то порошком, устраивали "прожарки".

Вспомнились эти "прожарки". Они несовершенны, не удается в самодельных "жарилках" поддерживать необходимую температуру. Однако даже примитивные санобработки приносят облегчение, хотя и временное.

Из "жарилок" одежда вынимается совсем сырая. На воздухе все смерзается, затвердевает. Поэтому для бодрости духа и предотвращения простуд нам после санобработки выдают по "наркомовской" норме спирта. Часто получается больше, так как старшина сведения о потерях батареи направлять в ПФС не торопится. Впрочем, спирт на морозе согревает слабо. Хорошо, если удается погреться и подсушиться у костра.

Вспоминая ту "вшивую" зиму, испытываю теперь особое удовольствие от отдыха. Эх, сейчас бы еще баню устроить, чтобы ощутить телесную чистоту! Человеку всего мало.

Сон не приходит. Стоит закрыть глаза, как сразу же возникает Ева. Она манит к себе, и мысль о ней радует... Надо поспать! Стараюсь отвлечься, думать о чем-то другом...

Вспоминается наш довоенный город, школа, друзья, соученицы, танцы и разные дорогие сердцу мелочи жизни.

Мы, старшеклассники, устраивали по выходным танцы в своем классе. Моя соседка Аня Любарева приносила из дома старый патефон и пластинки: "Брызги шампанского", "Рио-Рита", "Кукарачча". "Вам возвращая Ваш портрет, я о любви Вас не молю. В моих словах упрека нет, - я Вас по-прежнему люблю" или "Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя...", "За кукараччу, за кукараччу я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но обиды не прощу!". Крутили еще утесовского "Пожарного": "Но не знает, не знает пожарный, что горит в моем сердце пожар!" и, конечно, "Прекрасную маркизу": "Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела...".

Замечательно пели звонкая Эдит и ее отец. Пластинки вертелись, сменяя друг друга, а игла извлекала из них то печаль, то радость. Меня волновал существующий где-то, за пределами досягаемости, огромный, восхитительный мир, где люди поют, танцуют, объясняются в любви, веселятся...

Анин патефон звучал тихо, глухо, потрескивал и поскрипывал. После ремонта его пружина оказалась сильно укороченной и заводить приходилось почти непрерывно. Поэтому у "аппарата" постоянно находился дежурный по "заводу", называемый иногда "крутилой".

Воскресные танцы бывали, естественно, только днем. Наши партнерши

соученицы быстро взрослели и хорошели, в них появилось нечто новое, загадочное, притягательное. Эти встречи доставляли большое удовольствие...

Через три часа появлялась "техничка". Мы возвращали на свои места парты, учительский стол и расходились. Никаких возлияний или других развлечений и в помине не было. Мы радовались тому немногому, что имели.

А время было жестокое. Вокруг царили страх и дух насилия. Счастье, что мы еще не все понимали. У одиннадцати (!) из двадцати учеников нашего класса родители были "посажены" или, как говорили потом, - репрессированы. Но не было у нас к ним ни вражды, ни презрения. Никто и в мыслях не допускал, что среди нас могут быть враги.

Мы не только танцевали, но и обсуждали школьные, а больше, конечно, мировые проблемы: например, события в Абиссинии, Испании, Китае. Там, далеко от нас, благородные и

смелые люди с помощью Советского Союза защищали свободу и справедливость. Мы сочувствовали этим людям всей душой и

готовы были ехать на помощь по первому зову. Вскоре бурные события

приблизились вплотную к нам. Возникла неясно ощущаемая тревога. Она время от времени сменялась ликованием то по причине воссоединения западных областей Украины, Белоруссии, Буковины с "материнскими" Советскими республиками, то в связи с образованием новых прибалтийских Союзных республик. Приятно было думать, что страна крепнет, что ее границы сдвинулись на Запад.

Война с Финляндией пресекла эйфорию. Было ясно, что напали не "белофинны", как писали газеты, а наши войска. Почему же могучая и непобедимая Красная Армия так долго не может победить маленькую и плохо вооруженную армию Маннергейма и захватить Выборг? Простая логика подсказывала, что причиной неудачи были не морозы, а слабость нашей армии и мужество финнов.

Многих озадачил неожиданный союз с Германией. Поразила встреча главного фашиста Гитлера с помощником главного большевика Молотовым. "Дружба" с Гитлером расцвела удивительно быстро. Наши газеты вдруг стали "болеть" за немцев, сочувствовать борьбе немецкого народа с англо-французскими плутократами и империалистами.

Недалеко, в Европе, Германия провоцировала один за другим свои

победоносные блицкриги, а у нас продолжалась мирная жизнь. Многие радовались этому и вносили посильный вклад в укрепление советско-германской дружбы. ЗАГСы тут же начали регистрировать многочисленных юных Германов, Альфредов, Адиков, то есть Адольфов, а также Грет, Магдалин и Маргарит. Газеты предпочитали помещать на первых полосах сообщения агентств "Трансоцеан" и "Гавас"...

Все чаще в душу закрадывалось ощущение неустойчивости мира и близкого взрыва. Отец повторял: "До войны - один шаг. Гитлер и Сталин - оба бандиты. Но Сталин, может быть, умнее". А мама пугалась: "Изя, замолчи! Ты совсем с ума сошел!"

Мой школьный товарищ Костя Акулов, учитывая обстановку и перспективы, планировал поступить в летное училище, а я, по сходным соображениям, - в Ленинградский военмех. Так я и сделал: аттестат зрелости и заявление поспешил выслать в Ленинград, в ЛВМИ, - 20 июня 1941 года - за два дня до начала войны. Даже уведомления о вручении я не получил...

Не спится мне. Нет в моем коротком прошлом ни крупных

событий, ни заметных достижений. Вспоминаются только разные мелочи. Самыми интересными событиями моей скудной культурной жизни были кинофильмы. То было время еще несовершенной юности кинематографа. Фильмов выпускалось мало, зато каждый

на виду. Несколько картин оставили след в памяти: "Чапаев", "Огни большого города", "Новые времена", "Цирк"... Самое же сильное впечатление произвел

"Большой вальс". Я увидел совершенно необыкновенный, не похожий на наш, мир красоты и любви, к чему так тянулась душа. Замечательная музыка и красавица Карла Доннер...

Меня озаряет: "Ева - это же юная Карла. Нет, Ева несравненно красивее, лучше. Она живая, она рядом. Она только что улыбалась мне. Именно мне, не другому".

% % %

Мысли все скачут, путаются и опять возвращаются к Еве. Я ворочаюсь, прикрываю глаза шапкой - не помогает. Из мешанины воспоминаний возникает одноклассница Ира Швец. Она мне очень нравилась. Я оказывал ей косвенные знаки внимания, но выразить свои чувства открыто не решался. Она же об этом, видимо, и не догадывалась. В последний раз я видел Иру в июле 1941 года. То был во всех смыслах жаркий месяц. Наш город уже непрерывно бомбили, потому что здесь находились важные штабы, даже штаб Юго-Западного фронта, мосты через Южный Буг и Синюху.

Советы Анны Францевны моих родителей не поколебали. Они твердо решили бежать, считая, что она, немка, понять ситуацию не в состоянии. В последние дни июля вырисовывалась устрашающая перспектива остаться в немецком тылу, на оккупированной территории. Никогда не забуду того ощущения надвигающегося ужаса и безысходности.

Потом, после войны, я узнал, что практически все оставшиеся в городе евреи погибли в самом городе и в близлежащих концлагерях: Богдановке и Ахмечетке, на Богополе и в Ольвиополе.

А тогда, в июле 1941-го, услышав о предполагаемой отправке эшелона, мы хватали приготовленный к "эвакуации" багаж и, обливаясь потом, бежали за три километра на станцию. Нас было шестеро: старшей - бабушке - уже 76, она больна и очень слаба; младшему - моему братишке - 8 лет, он тоже нездоров, инвалид; еще сестра-девятиклассница и родители. С собой нужно брать немало вещей. Родители думают не только о том, куда бежать и как найти крышу над головой, но и что есть, и во что одеться зимой.

Не раз мы тащились с вещами на станцию, - тщетно: то эшелон отправлялся раньше срока, то беженцам вдруг приказывали покинуть вагоны, поскольку состав назначили для военных, то оказывалось, что эшелон "спецзаводс-кой" и посторонние должны немедленно убраться вон. Нас гнали отовсюду. Иногда почти готовый к отправке состав попадал под бомбежку. Тогда его разбирали, выбрасывали разбитые

или сгоревшие вагоны, а уцелевшие цепляли к воинским, проходящим. Туда нам доступа не было.

После каждой неудачи мы, измученные, павшие духом и обессиленные, возвращались домой, а я возобновлял свои ежедневные походы на станцию, чтобы не упустить,шанс.

Разыскать на забитой составами полуразрушенной станции эшелон было делом не только утомительным, но и рискованным. На видных местах был расклеен приказ: "Ходить по путям строго запрещается!". Часовые у эшелонов и патрули могли схватить тебя как подозрительную личность и потащить к военному коменданту.

Нарушителей приказа и вообще людей подозрительных - не шпион ли немецкий? - на станции ловили очень часто. Ловлей занимались не столько военные, сколько штатские: дежурные гражданской обороны, комсомольские, железнодорожные и другие патрули и даже несовершеннолетние пацаны, наслышанные о немецких и местных диверсантах, шпионах и лазутчиках. Отловленных подолгу держали в подвале под зданием вокзала, ибо комендант был перегружен другими, не менее важными делами.

Печальных недоразумений было очень много. Кого-то отпускали, кого-то отправляли в ДОПР(дом предварительного заключения). Говорили, что однажды попался даже настоящий диверсант. Возможно.

Не все желающие имели законное право эвакуироваться, точнее, бежать. Некоторых наших знакомых не отпускали с работы: врачей, железнодорожников, инженера электростанции. Многие не выдержали напряжения, опустили руки, окончательно пали духом. Они решили переждать бомбежки в пригородных селах: Лысой Горе, Мигее, Кодыме, а потом вернуться домой и - будь что будет.

Другим пришла в голову столь же "умная" мысль: пересидеть войну в большом городе, в Одессе, разумеется. Там среди людской массы евреи не так заметны, там не так страшно, можно затеряться и уцелеть. Проблема заключалась в том, как добраться до прекрасной Одессы.

Старики для успокоения молодежи вспоминали библейские

прецеденты и более свежие случаи из собственной жизни. Они, эти старики, призывали не суетиться, утверждая, что, в конце концов, все в руках Божьих. "Бог, будем надеяться, защитит нас, оставшихся среди врагов. Он не даст погибнуть невинным детям своим. Так уже бывало: и во времена царицы Эстер, и при Скоропадском. Ну, а детей и женщин немцы, конечно, не тронут. В любом случае.

Не темное же средневековье - XX век! Мы ведь ничего плохого им не сделали. Они же культурные люди!"

Родители, а тем более я, не верили этим утешителям и мечтали об одном: уехать! Уехать, куда повезут: может, на Урал, а может быть, в Ташкент, который, как известно, - город хлебный. В конце июля до нас стали доходить слухи: как будто должны отправить в тыл какое-то оставшееся оборудование нашего дизельного "Завода имени 25-го Октября", где старый Швец, отец Иры, работал мастером. Говорили, что это будет последний эшелон. (Так оно впоследствии и оказалось).

23 июля распространились устрашающие неофициальные вести: немцы совсем близко, они уже окружили город. Слухи, слухи... Мы устали от них. Никому и ничему не верили, пребывали уже в полном отчаянии.

26 июля во время очередной, бесперспективной, как мне уже казалось, разведки я встретил у станции Иру с родителями и младшей сестрой Аллой. Они тащили вещи к рампе. Я поздоровался со Швецами и, шагая рядом с ними, пожаловался, что нам никак не удается устроиться на какой-нибудь эшелон. И спросить даже не у кого. Что делать? Куда идете вы?

Отец Иры, тяжело дыша, втолковал мне на ходу:

- Ты не рассуждай, а беги за своими. Вон там, за рампой, стоит наш заводской эшелон. Может, успеете. Учти, - это последний!

- А нас пустят?

- Начальство уже разбежалось. Назначили дежурных, но они вряд ли придут. Лезьте по нахалке, если будут отгонять! Не бойтесь, ничего они вам уже не сделают. Беги!

Я как ошпаренный кинулся домой. Это не близко - за Бугом, на горе. Прибежал весь в мыле и, с трудом переводя дыхание, объяснил ситуацию.

Через полчаса мы уже схватили свои чемоданы и узлы, закрыли дверь дома и выскочили на улицу. У меня на плече самый тяжелый чемодан, а в руке узел с обувью. У бабушки - ведро с едой, а у братишки - пустой эмалированный чайник. Остальное несут отец, мама и сестра.

Жарко. Нужно бежать, иначе - все пропало! И мы стараемся

изо всех сил. Как назло, началась очередная бомбежка. Прятаться, пережидать некогда. Пот застилает глаза, и сердце колотится как бешеное. Слышу, как позади звякает крышка чайника - там ковыляет хромой братишка. Тяжело дышат мама и отец. Когда мы добрались до второго моста, через Буг, бомбежка была в полном разгаре. Людей нигде не видно: попрятались по погребам и накопанным в садах щелям.

На середине моста нас нагнала подвода, груженная людьми и домашним скарбом. Видимо, тоже спешат на станцию, - прознали про заводской эшелон.

Мама кинулась наперерез и взмолилась, как только может отчаявшаяся

женщина:

- Добрый человек! Хозяин! Ради Бога, возьмите мою старую мать и малого сына. Они уже не могут бежать. Подвезите их до станции!

Вид у возчика свирепый, раздраженный:

- Гэть з дорогы! Роздавлю! У мэнэ повэн виз! Ты що, нэ бачыш? Повылазыло? Гэть звидсыля! Гиршэ будэ!

Мама бежала за подводой и упрашивала хозяина, а мы - за ней.

- Товарищ, дорогой! Пожалейте их! Они не могут. Сын - калека! Я же заплачу вам, сколько скажете. Вещи не надо. Мы сами.

Наконец подвода остановилась:

- Жалько хлопчака та стару. Давай гроши! Швыдко!

- Сколько?

- Двисти рублив. Давай швыдше!

Отец трясущимися руками вытащил деньги и сунул в руку возчика. Тот согнал с подводы двух "законных" пассажиров и усадил бабушку и брата. Согнанные мужчина и женщина проклинают нас последними словами. Хозяин ругается, он уже жалеет, что связался с этими евреями, черт бы их побрал! Зараз усих поскыдаю та повернусь до дому. На чорта мэни ваши гроши? Щэй бомбы кыдае. Коняку вбыты можэ!

"Спешенный" мужчина подобострастно советует возчику:

- Около станции утром разбомбило магазин ТПО. На обратном пути вы возьмете там кое-что нужное для дома. Вот увидите. Там хорошие вещи валяются.

Похоже, этот довод оказался убедительным. Хозяин взмахнул кнутом. Подвода дернулась. Бабушка чуть не свалилась, выронила ведро. Оно звякнуло о деревянный настил моста и полетело в реку со всем нашим запасом харчей. Лошадь побежала. Мы ускоренным шагом затрусили за подводой, но

скоро отстали.

Наш бег прервался лишь один раз - взрывной волной бросило наземь, когда на противоположной стороне улицы рванула бомба. Обошлось - только обсыпало землей и пробило осколком мой чемодан. Мозг сверлила единственная мысль: хоть бы не ушел эшелон! Страх опоздать был сильнее всех других страхов.

Наконец мы добрались до рампы, увидели брата с чайником в руках и бабушку, сидящих на шпалах у самого эшелона. Как мы обрадовались! Мама чуть не плакала. Действительно, повезло: собрались все вместе и от бомбежки не пострадали. Вот он стоит, готовый к отправке состав. Может быть, сейчас отправимся в путь?!

Эшелон собран из потрепанных открытых платформ, плотно груженных

какими-то станками, кусками машин, ржавыми балками, трубами, электромоторами, связками зубчатых колес, грубо сколоченными ящиками. Похоже, все это имущество впопыхах брошено на платформы и кое-как притянуто проволочными растяжками к покореженным бортам.

Мы очень боялись, что нас, как уже не раз бывало, погонят прочь. Тогда все - надеяться больше не на что. На сей раз ни начальников, ни охраны не видно. Опасливо озираясь, мы взобрались на ближайшую платформу, где уже сидели трое таких же бедолаг, и еще раз порадовались удаче. К эшелону подбегали люди, торопливо карабкались на платформы и, как тараканы, расползались по щелям и закуткам между чугунными станинами, колесами, балками и ящиками. Да, не только до нас дошел слух об этом эшелоне.

Через полчаса мы оказались измазанными мазутом и маслом, вытекающим из "нашего" токарного станка. Я к тому же зацепился за торчащий конец проволоки, которой "наш" станок был прикручен к борту, и порвал до неприличия брюки. Мама в суматохе поранила руку и спину острыми концами гвоздей, выступающих из ящиков. Мы начали благоустраивать свой закуток. Я кое-как загнул концы проволочных растяжек, торчащие гвозди... Отец с мамой подложили бабушке под спину зимнее пальто, распихали по углам наши узлы и чемоданы.

Бомбежка прекратилась. Постепенно улеглись возбуждение и суета. Мы отдышались и, сидя на железяках и узлах, оттирали измазанные машинным маслом руки и лица. Мама вспомнила, что забыла закрыть окно на кухне, не успела попросить соседей присмотреть за домом, посокрушалась о брошенных новых постелях, о книгах и мебели. Отец переживал молча, был настроен философски и успокаивал маму:

- Не переживай, Маня. Считай, что нам повезло. Мы вместе, дети с нами, и мы имеем еще шанс. Не путай большое с малым. Что дом? Этой же ночью, а может, и раньше, все растащут. Все! И нет дома. И даже книги растащут. Страшно, что мы всегда беззащитны. Помнишь, как было в девятнадцатом году? Помнишь ту субботу, когда бандиты сожгли наш дом в Хощевате? Когда повесили Леву, Йосю, Яшу? То было горе великое. А теперь ни о чем не жалей и не плачь. Будем крепиться и надеяться. А что еще нам остается? Спасибо Швецу. Сидите и не вылезайте. Пусть будет тихо! А то найдутся на нашу голову начальники и прогонят даже из этого жалкого прибежища.

Мы сидели тихо. Эшелон не сдвинулся с места - не было паровоза. Под вечер город еще раз бомбили. Мы желали одного: чтобы бомба не попала в железнодорожный мост. Пусть куда угодно - но не в мост! Иначе - конец всем надеждам.

Наш состав стоял далеко от вокзала среди разбитых вагонов, всеми забытый. Дымилось разрушенное только что локомотивное депо, поезда не шли, паровозов на путях не видно. Мы забеспокоились: очевидно, никому уже до нас нет дела. Может, немцы, действительно, уже окружили город, и мы обречены?

Захотелось пить. Я взял чайник и отправился к вокзалу по воду. Мама, конечно, опасалась, как бы эшелон не ушел без меня. А я двинулся вдоль состава, высматривая Иру. Обнаружил ее в противоположном конце эшелона на платформе с большими металлическими трубами. Швецы неплохо устроились в одной из них. В трубе хоть и тесно, неудобно, зато безопаснее при обстреле и бомбежке.

Я попросил Иру передать отцу благодарность моих родителей за добрый совет. Она молча кивала. Захотелось поговорить с ней. Может быть, это последний шанс? Однако язык не поворачивался. Она стояла на платформе, я -внизу. Мы молчали. Потом я сказал:

- Ира, дай мне ведро или чайник. Принесу вам воду.

- Спасибо, не надо. Папа принес.

- Что же, Ира. Тогда до свидания. Может, в пути увидимся?

- Не знаю. До свидания.

Быстро темнело. В ту душную июльскую ночь рядом с нашим эшелоном бурлила напряжения, непонятная, странная жизнь, кипели страсти. Недалеко в кустах сирени слышна была какая-то возня, взвизгивала женщина. В темноте мимо торопливо уходили к мостам, за реку толпы пехотинцев, пушки, обозы. Невидимые с платформы начальники подавали приглушенные расстоянием команды: "Быстрей! Не задерживать движение! Подтянись! Не отставать!". Это было не отступление - бегство.

Напряжение нарастало, настроение портилось. После

полуночи неизвестно кто распустил слух, что наш эшелон вообще никуда не уйдет, поскольку вечером упавшая рядом с депо бомба разбила последний исправный паровоз, а ремонтировать его уже некому - все ремонтники разбежались. Кто куда. Немцы уже рядом, и власти давно покинули город. Так что нужно расходиться по домам или бежать вслед за отступающими войсками и обозами.

Мы опять начали погружаться в омут отчаяния, наблюдая, как люди спрыгивают с платформ и убегают к реке, за солдатами. На соседней платформе вспыхнула драка - поймали человека, стащившего узел с едой. Громко плакали дети, и их никак не могли успокоить. Сидеть и лежать было неудобно, болели бока, мешали торчащие отовсюду острые железки, проволочные растяжки. Я сходил к недалеким кустам во двор железнодорожного общежития и извел на подстилку несколько кустов сирени.

Ничего более подходящего не нашел.

Мы решили положиться на судьбу и не уходить.

Только-только задремали, началась сильная бомбежка. Немцы повесили несколько "фонарей" - осветительных бомб. Стало на время очень светло. На город и на станцию полетели фугаски и зажигалки - мы научились уже различать их. Горели вокзал, депо, дома у железнодорожного моста. Ко всему еще возникла проблема туалета...

Глубокой ночью, ближе к рассвету, когда закончилась бомбежка, но еще полыхали близкие пожары, внезапно откуда-то появился старенький паровоз "Щука". Он медленно пропыхтел рядом с эшелоном и исчез за дымящимся депо, а через несколько минут возвратился и резво подкатил к нашему составу. Звонко лязгнули буфера, заскрипели, сдвинулись со своих мест плохо закрепленные станки и ящики, и мы без свистков и иных предупреждений медленно покатились к мосту через Буг, на восток, навстречу надежде.

Наспех восстановленные после бомбежек пути были, видимо, ненадежны. Поэтому мы двигались очень медленно, поминутно останавливались. Наконец перебрались через мост и поехали побыстрее, но тоже с многочисленными остановками. До самой станции Подгородная нас сопровождал безутешный плач молодой женщины с соседней платформы. Вечером ушли за вещами и не вернулись ее отец и сын-подросток. Искать их ночью женщина не решилась, все ждала. А теперь она, обезумевшая от предчувствия беды, стояла на краю платформы, заламывала руки, рыдала, а к ее ногам прижималась ничего не понимающая сонная девочка.

- Ой, зачем они ушли? Зачем эти зимние вещи? Я просила его

остаться. Я чувствовала, что с ним что-то случится. Что делать? Куда ехать? Он такой упрямый!

Какой-то пожилой мужчина успокаивал ее:

- Может, они еще догонят нас. Военным эшелоном. Не убивайтесь.

- Что вы говорите! Это же последний поезд. Я знаю. Ой, горе мне! Он же больной человек. С ним, наверно, приступ! Надо помочь! А может, их бомбой убило или ранило? Ой, сыночек! Пропали они, и мы с ней пропадем. Плачь, Сонечка! Твой папа тоже погиб. На фронте. Погиб смертью храбрых. Но мы их не бросим. Вернемся. Мне уже все равно...

Станция Подгородная горела. Напротив невзрачного вокзальчика, недалеко от путей, пылали две большие цистерны на нефтескладе. Эшелон остановился. На нас пахнуло жаром и гарью.

Женщина умолкла, постояла в раздумье, потом слезла с платформы, взяла на

руки девочку и медленно пошла обратно, в город. Туда семь километров. Никто не пытался утешить или вернуть ее. Так и врезалось в память: впереди рвущееся из цистерн пламя и светлеющее небо, а позади - предутренний серый туман, и в этот туман уходит растрепанная женщина с ребенком на руках. Безутешное горе...

Через множество опасностей и потерь прошел наш эшелон за двадцать дней пути: бомбежки, обстрелы, окружения. Тягостный быт. Многие потерялись в дороге, заболели, отстали. Многие пристали к нам на бесчисленных, главным образом, вынужденных остановках: окруженцы, беженцы, отставшие от своих поездов...

А нашей семье улыбнулась удача - посчастливилось выбраться без потерь.

С Ирой мы больше не увиделись. Ночью на станции Змиев, под Харьковом, наш эшелон разделили на две части. Нашу часть довезли до Ртищева и там, недалеко от Волги, разгрузили. Та же часть, где находились Швецы, ушла на юг - то ли в Астрахань, то ли в Баку. Мы в это время спали в своих норах на высохших ветках сирени.

Затерялся след моей соученицы и симпатии Иры Швец.

% % %

Воспоминания не дают покоя. Понимаю, что нужно поспать - отдых будет короткий. А меня охватывает все большее волнение. Мысли уносятся в прошлое и вновь возвращаются к Еве. Она стоит перед глазами, как живая, и еще звучит ее нежный зовущий голос: "До видзенья!" Она сейчас где-то близко, рядом, в этом доме. Понемногу меня наполняет тихая радость и предчувствие

какого-то необыкновенного, давно и тайно ожидаемого счастья.

Решаю почитать, отвлечься. В моей полевой сумке лежит том Пушкина, издания "Академия", 1937 года. Этой книгой в последнее время я стал зачитываться, дорожу ею. Она попала ко мне случайно в марте прошлого года на окраине только что освобожденного нами города Проскурова.

Надо было передвигать батарею к новому рубежу. Из пролома в стене я

осматривал местность, выбирая новые огневые позиции, и собирался уже уходить. На полу среди обломков мебели, битого кирпича и тряпок попалась на глаза припорошенная известкой книга в коричневой обложке. Я поднял, машинально похлопал ею по колену и прочел: "Пушкин. Собрание сочинений1. Хотел было бросить, но почему-то раздумал, пожалел, - сунул в сумку и надолго забыл.

Только месяца два спустя, когда выдалось свободное время, я вспомнил о книге и начал читать. К собственному удивлению, - очень понравилось. Не

ожидал такой красоты, легкости и глубины мысли. Незаметно для себя зачитался. Еще через месяц мое представление о Пушкине и о поэзии вообще радикально изменилось: впервые ощутил прелесть высокого искусства; стихи меня

по-настоящему очаровали.

В школе Пушкина мы "проходили", то есть знакомились поверхностно, формально. Правда, кое-что учили наизусть. "Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам...", "Мой дядя самых честных правил...", "Приветствую тебя, пустынный уголок..." и прочее. Разбирали какие-то образы. Говорили о связях Пушкина с декабристами, о ненависти к нему царя и о непонятных грязных интригах. Но то ли время было очень черствое, то ли наша учительница Варвара Ивановна не сумела увлечь нас, то ли я не созрел до понимания настоящей литературы - моих чувств Пушкин тогда не затронул. А здесь, на фронте, мудрость и красота его стихов взволновали меня. Попадись мне Лермонтов или Есенин, возможно, и они увлекли бы воображение и заполнили духовный вакуум моей жизни. Не знаю.

Мне встретился именно Пушкин, и я полюбил его. Не все у него я понимаю и не все принимаю. "Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца". А я обид страшусь и спорю с неразумными, на мой взгляд, людьми. Потом нередко сожалею, убеждаясь на опыте, что в жизни, вопреки законам Ньютона, противодействие может оказаться гораздо сильнее исходного действия. Много лет

спустя, имея в виду эту закономерность, острословы сформулировали не лишенную здравого смысла расхожую формулу: "За что борешься - на то и напорешься!"

Нам непрестанно твердили, что "вся наша жизнь - есть борьба!", что смиряться нельзя, счастье добывается в бою! Это на словах. А в действительности, в конце концов, подчиняешься обстоятельствам. Так прав ли Пушкин или не прав?

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись!

День веселья, верь, настанет!

Иногда я внушаю себе: "Потерпи, день веселия настанет!" Все надеются, что "будет и на нашей улице праздник!" И на моей улице будет праздник!

Я дотягиваюсь до своей сумки, достаю Пушкина, перелистываю знакомые страницы. Натыкаюсь на "Будрыса". Читано-перечитано. Сегодня же "Будрыс" воспринимается особенно остро, даже пронзительно. Незаметно погружаюсь

в розовый туман волнующей мечты: "Нет на свете царицы краше польской

девицы..."

Истинная правда, - нет никого прекраснее Евы.

Я то уплываю в желанный сказочный мир, то возвращаюсь в действительность. И вновь проваливаюсь в зыбкую полуявь. И видится мне в этом забытьи, что, победив, как Ольгред, пруссаков, то есть - немцев, возвращаюсь домой на белом коне. Обнимаю прижавшуюся ко мне Еву. Тихо падает снег, мы укрыты черной буркой. Нам тепло и покойно.

На дороге, - нет, на нашей довоенной улице, у нашего дома, - меня встречают отец, мама, бабушка, сестра, мой восторженный и преданный брат, наши старые соседи. Вокруг шум, невнятные разговоры. Меня, оказывается, давно ждут. Из толпы выходят отец с мамой, поздравляют меня с Победой, с возвращением, улыбаются, - они счастливы, что я жив и невредим.

Снег пушистый валится,

Всадник с ношею мчится,

Черной буркой ее покрывая.

Что под буркой такое ?Не сукно ли цветное ?

Нет, отец мой, полячка младая.

Я распахиваю бурку. Все видят обнимающую меня Еву. Они поражены ее красотой и улыбаются нам. И на душе становится легко и радостно. Какие хорошие, добрые люди вокруг! Как прекрасна эта жизнь! Я хочу жить - потому что есть ради чего!

% % %

Просыпаюсь от шума. Слышу голос почтальона Волчкова. Он уже в комнате. Вошел с громким разговором, шутками-прибаутками, без извинений и церемоний. Утонченными манерами он не обременен.

- Эй, славяне, кончай ночевать! Почта прилетела. Поднимайсь! Плясать будем! Давно он не появлялся у нас. Обстановка ему не благоприятствовала, мы не вылезали с передовой. Солдаты, конечно, недовольны преждевременной побудкой. Но они не злятся, а только добродушно ворчат, ибо давно с нетерпением ждут писем. Устало поднимаются. Кто-то громко зевает, кто-то кашляет, кто-то закуривает.

- Бадейкин, пляши!

Бадейкин встает и вяло изображает не то "Цыганочку", не то "Барыню".

- Мелехов! Тебе кадриль полчаса плясать. Три письма принес! Где ты? весело кричит почтальон.

- Ты чо, придурок, лыбишься, как майская роза? - рявкает Батурин. Убило ж его, дура!

- Мог не знать. Писарь, небось, еще и похоронку не выписал, - защищает Волчкова Сидельников. - Давай дальше, серый. Не тяни кота за хвост! Раздавай! Задние ждут!

Почтальон сникает и уже без трепа раздает оставшиеся письма нам, живым. На сегодня пляски отменяются. Пройдет несколько дней, это подзабудется, и мы снова будем плясать и радоваться каждому письму, многократно перечитывать его и с нетерпением ждать следующее.

Сегодня письмо получил и я. Родители сообщают, что имеют уже разрешение на "реэвакуацию", то есть на возвращение в наш город. Помогло ходатайство, прибывшее от меня. Порядок, как и во всем в стране, строгий: для возвращения требуется "веское письменное основание". Макухин по моей просьбе отправил соответствующую бумагу Лысьвенскому горвоенкому Молотовской области - по месту жительства родителей.

В военкомате - пишет мама - к ней отнеслись на удивление чутко. Прежде всего, военком предложил ей сесть. Даже стул подвинул. Сказал, что получил ходатайство из части, где служит сын. Сообщил, что сын служит хорошо, имеет правительственные награды. Это родителям - бальзам на душу: имеют письменное подтверждение, что я воюю хорошо! Их можно понять: они достаточно наслушались разговоров о том, что евреи - трусы и воюют только в Ташкенте. Военком, спасибо ему, обещал даже с билетами помочь, что немаловажно. Родители, не привыкшие к такому вниманию, решили, что я пробился в начальники, рады за меня и все-таки советуют быть поосторожней, зря не рисковать.

Обстоятельства вынуждают родителей поскорее уезжать из Лысьвы: очень голодно, пухнут ноги, нет работы по специальности, трудно с топливом, холодно, квартирная хозяйка всячески выживает их, как, впрочем, и другие хозяева - своих квартирантов-"выковырованных". Намучились они за три с половиной года предостаточно.

Бабушка умерла в 1942 году. Сестра учится в Молотове (Перми) и останется там до окончания весеннего семестра, до июня.

С возвращением домой все складывается не так уж гладко. Недавно родители получили письмо от знакомых. Те пишут, что в ночь нашего бегства, 27 июля

1941-го, большая бомба буквально разнесла на куски наш дом. Теперь на этом месте - глубокая яма. Вовремя мы убежали!

Родители с братом уже собираются в обратный путь, на Украину. Думают временно поселиться в Нежине: там, говорят, с жильем попроще, голода нет.

Вообще, Украина - не Урал! А пока у них адреса нет, писать мне следует только сестре на общежитие, хотя адрес этот ненадежный, там письма часто пропадают.

От письма веет тоской. Остро чувствую неустроенность жизни: мы разбросаны по свету, нет у"меня "отчего дома", своего угла, даже нормального адреса нет. Нужно положить в карман гимнастерки записку с адресом сестры: "В случае чего прошу сообщить моей сестре по адресу...". Ведь в штабе адреса сестры нет. Впрочем, если мама узнает с опозданием, - пусть. Наплакаться успеет.

В комнате становится шумно, и я выхожу во двор. Уже за полдень. Поспал совсем немного, но чувствую себя гораздо бодрее. Вижу - Сидельников с

Никитиным успели поднять забор. Они стоят рядом с хозяином. Подхожу к ним. Сидельников вынимает изо рта гвоздь и одним ударом топора загоняет в штакетник:

- Порядок в танковых войсках!

Хозяин улыбается, доволен, и мне приятно, что "в войсках порядок".

- Хорошо сделали. Порядочно. По-человечески.

А Сидельников, добродушно ухмыляясь, добавляет:

- Ну, скажи, хозяин, чего еще сделать? В охотку мы быстренько наладим. Да-а, мне бы у себя дома поробить. Изгородь, крышу ли, ну, хотя бы дров нарубить...

Эх-ма! Дом, наверно, запустили без меня-то. Теперь что? Все на хозяйке: она и за бабу, и за мужика. У нас говорят: "Я корова, я и бык; я и баба, и мужик!" А я тут зазря время истрачиваю. Эх-ма!

Ну, что еще сделать? Недорого возьму. Магарыч токо: бутылка паленки да кусок сала.

Хозяин одобрительно кивает:

- Дзинкую бардзо, панове!

Он уходит, а за ним с топором в руке - Сидельников. Оставшись наедине с Никитиным, отдаю ему свои злотые - могут пригодиться для расчета с хозяевами. За что-нибудь.

% % %

Возвращаюсь в дом. Хочу закурить, но портсигар в кармане не нахожу. Нет его и на диване. Вот рассеянный! Вспоминаю, что в последний раз закуривал как будто в хозяйской комнате. Там, вероятно, и обронил. Иду туда. Стучу. Из-за двери слышу: "Прошэ, прошэ". Захожу. В комнате хозяева и с ними - Ева. Объясняю, что уронил свой табак, тютюн, табакерку. Они удивленно смотрят на меня, разводят руками: мол, "ищи!". Оказывается, портсигар, действительно, лежит на подоконнике. Медленно скручиваю цигарку. Уходить не хочется...

Хозяин, видимо, чувствуя это, как воспитанный человек, предлагает мне курить здесь. Держу свою самокрутку в руке, не раскуриваю, но и не ухожу. Замечаю у окна книжный шкаф. Спрашиваю, нет ли у них русской книжки. Хотел бы почитать. Ева отвечает, что русских "ксенжек" нет. Только польские и немного французских. Лицо ее спокойно, строго, но доброжелательно. Спрашивает:

- А вы по-польски читать умеете?

- Немного. Интересно бы посмотреть простую книжку. Может быть, прочту.

- Пан хорошо понимает по-польски. Как вы научились?

- Мы уже полгода воюем в Польше, и я слышу польскую речь. За шесть месяцев можно кое-чему научиться. Кроме того, в школе, помимо русского, я учил и украинский, а он похож немного на польский.

Неожиданно выясняется, что я задел национальные чувства хозяина. Он

категорически не согласен и даже обижен моей необъективностью. Пан Богдан считает, что польский и украинский сравнивать никак нельзя - это совершенно разные языки:

- Украинский, по существу, далек от польского. Он несравненно грубее и беднее. Очень примитивный и неразвитый язык...

Я не соглашаюсь, втягиваюсь в дискуссию, хотя знаний, научного, так сказать, багажа, у меня нет совершенно. Тем не менее я, с апломбом даже, утверждаю, что эти языки очень

близки, раз у них много общих корней и слов. Это же очевидно! Украинский язык не бедный. Вот Тарас Шевченко писал прекрасные стихи. Не хуже вашего Адама Мицкевича. Произношу разные банальности: все языки, мол,

по-своему хороши, у всех есть свои прелести и прочее.

Хозяин же удивляет меня своей странной и глубокой неприязнью к украинскому языку. Он утверждает, что Шевченко не может идти ни в какое сравнение с Мицкевичем:

-Почитайте, например, "Пан Тадеуш" или "Дзяды"!"

-Больше делать нечего! - думаю я.

Ева слушает, молчит. Хозяин переводит ей. Мне ясно, что его позиция

необоснованна, несправедлива. Поэтому я горячусь, высказываю поверхностные, в общем, соображения о тесных связях польской, русской и украинской литератур, о взаимном влиянии писателей друг на друга.

- Вообще, мы с вами близкие соседи. Все у нас связано, особенно в

политических делах. Смотрите, Понятовский, Лещинский, Разумовский,

Хмельницкий, Костюшко - все были связаны с русскими царями и политическими деятелями. Вы, в свое время, захватили Киев, Смоленск, даже Москву. А русские - Варшаву. Мои предки долгое время жили рядом с поляками. Моего дядю

звали Иосиф, как вашего сына. Имя моей матери Мария Вишнепольская. Мой друг детства Анатоль Козачинский - чистокровный поляк. Ева не сдерживает своей радости и удовлетворения:

- Это так интересно! Расскажите о своих родителях, прошэ!

- Мои родители - евреи. Наши предки жили на правобережной Украине, на территории старого Польского государства, точнее, на землях известных польских магнатов. Поэтому у моих родственников и знакомых польские фамилии: Вишнепольские, Вишневецкие, Кохановские, Вербовецкие, Мясковские, Гоноровские, есть, кажется, даже Потоцкие.

- Мой дзядэк, ну, дедушка, - говорит Ева, - тоже был еврей. Его звали Мойше. Он принял христианство, и мы звали его Михал. А бабця, бабушка, была полька, - Стефа, Стефания. Дзядэк знал пять языков, но больше всего любил польский.

Это как-то задевает, и я не сдерживаюсь:

- По красоте и богатству лучше русского, наверно, нет, - сгоряча демонстрирую собственную непоследовательность.

Спохватившись, пытаюсь, хоть и неумело, сгладить свою легковесность:

- Французский, английский и другие - тоже богатые языки. Наверно, все

зависит не столько от языка, сколько от таланта писателя. Я уверен, что самый великий из всех - Пушкин! Вы читали?

Оказывается, они не читали. Вот так образованные люди! Врачи!

- У меня есть Пушкин, - продолжаю я, - один том. Ношу с собой. Перечитываю. Мудрейший был человек и замечательный поэт. Между прочим, друг вашего Мицкевича.

Ева следит за разговором, ей интересно. Я это вижу, чувствую. Мило улыбаясь, она просит показать ей, если, конечно, можно, книгу. Отец переведет, он хорошо знает русский. Ее голос, улыбка и весь облик волнуют и завораживают. Это большая радость, которой раньше никогда не испытывал.

Быстро выхожу и возвращаюсь с книгой. Непроизвольно погладив обложку, отдаю Еве:

- Любое стихотворение Пушкина трогает, - говорю горячо и искренне, потому что убежден в этом.

- Вы могли бы прочесть это маленькое стихотворение?

- Конечно. С удовольствием прочту.

Сердце в будущем живет.

Настоящее уныло.

Все мгновенно, все пройдет,

Что пройдет, то будет мило.

Перевожу и разъясняю с небольшой помощью пана Богдана. Он замечает, что стихотворение хорошее, мысль правильная, но не новая, не оригинальная. Теперь другие времена, жестокие, вокруг насилия и убийства. А у Пушкина -легкая грусть. Это для другого времени и другого настроения.

- Стихотворение, конечно, грустное, но оно для любого времени. Оно и о данном мгновении тоже. Вот этот день пройдет. А когда-нибудь через много лет

кто-то из нас вспомнит. Я, например, если буду жив, обязательно вспомню этот день. И он будет всегда мил мне. Точно! Правда!

Ева внимательно смотрит на меня, и я глаз от нее оторвать не могу:

- Знаете, Ева... День пройдет быстро. Будут еще дни. Но такого не будет никогда. Пушкин прав - нужно ценить каждую минуту жизни. А этот день

особенно.

Ева одобрительно кивает и откликается горячо, убежденно:

- Да, так и будет. Я тоже буду помнить сегодняшний день и этот разговор.

Такое неожиданное сопереживание. Появилась слабая, но вполне осязаемая связь между нами и надежда на что-то новое, неведомое, прекрасное. Ева улыбается мне открыто и нежно, и сердце мое ликует. Я плохо слышу, о чем говорит хозяин... Да, о том, что Пушкин из другой эпохи.

- Нет, пан Богдан. Пушкин интересен для любой эпохи. И для нашей тоже. Он пишет о главном: о свободе, о справедливости.

Я, не ожидая поощрения, нахожу нужные строки:

Паситесь, мирные народы,
Вас не разбудит нести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Все молчат. Я разъясняю, что такое "клич чести", "ярмо с гремушками" или "кнут с пряником". Хозяин соглашается:

- Да, это справедливое и проницательное стихотворение. Но Пушкин презирал свой народ. Он называет его стадом. По-польски мы говорим "быдло".

- Пушкин имеет в виду все народы: и русский, и польский. Он призывает их к свободе.

- Нет, поляки никогда не были стадом, быдлом. Они не смирялись. Они всегда воевали за свободу. И с вашим царем, и с немцами.

Мне становится неинтересно, но хозяин не останавливается. Хочет выговориться

и рассказывает о восстании Костюшко и о недавнем польском восстании, которому русские не захотели помочь. Он говорит, что сейчас в Польше существуют две партизанские армии: Людова и Крайова. Мне об этом не известно. Рядом с нами действуют регулярные польская и чехословацкая армии. Да и то, большая часть их солдат и офицеров - советские граждане. Без стука входит Никитин и тихо говорит мне:

- Комбат, вас к телефону. Срочно. Протягиваю Еве Пушкина и быстро выхожу. На проводе Макухин, он торопится:

- Пригнали коробочки. Приходи с водителями получать. У тебя в наличии два? Так?

- Да, два. Есть, иду.

"Коробочки" - это общепринятый фронтовой шифр танков, бронетранспортеров и тягачей. Глупый формализм: считается, что противник об этом "секрете" ничего не знает.

- Младший лейтенант, Ковтун, Сидельников! - объявляю я. - Собирайтесь! Ковтун - водитель Батурина, а Сидельников - "безлошадный". Его машина

была подбита и сгорела три дня тому назад.

Выходим. Еще светло. С трудом переключаюсь с приятной беседы на будничные дела. "Нельзя раскисать", - убеждаю я себя и, чтобы отвлечься, пытаюсь планировать завтрашний день. Утром Макухин вызовет меня к телефону и строго конфиденциально сообщит, что прибыли "карандаши", "игрушки", "огурчики", "семечки", то есть солдаты, пушки, снаряды и патроны. Все пойдет своим чередом.

Надо думать не о стихах, а о том, как из "сырого" пополнения сформировать орудийные расчеты. Скорее всего, привезут необстрелянных пехотинцев. Надо их обучить...

Мы вряд ли получим хороших водителей. А наши "доджи", как и прежние "виллисы", - машины американские, непривычные, капризные в эксплуатации. Новые водители должны поднабраться опыта: ездить приходится не по шоссе, а "выставлять" орудие по бездорожью на прямую наводку. Имеется существенная специфика. Мне еще повезло: есть два опытных, обстрелянных водителя.

У штаба стоят семь новеньких "доджей". Нас встречает помпотех, и мы бегло осматриваем выделенные батарее машины. Потом водители проверят все: тормоза, рулевое управление, электрооборудование; прогонят двигатели, получат инструмент, тросы, брезенты и прочую мелочь. Оставляю с водителями Пирью. Они все сделают и пригонят машины на батарею. Захожу в штаб к Макухину:

- Товарищ капитан, водителей больше нет? У меня двоих не хватает.

- Знаю. Одного дадим сегодня. Сам просится. Сейчас его нет. Погнал машину в ПФС. Возвратится - направлю к тебе. Второго дам потом.

- Кто это ко мне просится? Не представляю.

- Зайков просится. Помнишь?

- Зайкова? Конечно, помню!

Зайков, думаю, один из лучших водителей дивизиона. Бывший моряк. Прекрасный солдат и товарищ. Три месяца тому назад был ранен. Редкий случай, чтобы шофер, который везде нарасхват, захотел из госпиталя возвратиться в часть, где ему предстоит почти ежедневно "выскакивать" на прямую наводку. Это нужно понимать и ценить.

Как известно, "пушка к бою едет задом". Тогда она беззащитна, из нее стрелять нельзя, и очень многое зависит от смелости и мастерства водителя.

А Зайков - большой мастер вождения. Он не просто возит пушку, а всегда старается дотянуть ее до самой огневой позиции,

до предела, чтобы солдатам не пришлось далеко тащить ее на себе по пашне или по снегу. Выдвигаться на позицию и сниматься часто приходится под огнем. За трусость или неквалифицированность водителя орудийная прислуга расплачивается собственной кровью и потом. Мне подарок - Зайков.

Возвращаюсь в хорошем настроении. Да, есть трудности. Но ведь - война! Вообще же, - жить интересно.

На батарее все идет, как заведено. Ковалев, хоть и с опозданием, - тоже отсыпался - уже соорудил обед: вкусную традиционную баланду. Обедаю, как обычно, со всеми, из своего котелка.

В комнате шум. Солдаты "травят" о довоенной жизни, о последних боях и, конечно, о женщинах. Это самая популярная и актуальная тема.

"Солдатское радио" через всегда обо всем осведомленных телефонистов сообщает, что намечается якобы баня и "прожарка". Перспектива приятная. Если не найдется помещение для настоящей бани, то соорудим самодельную, "полевую". Для этого возьмем в боепитании палатку. В ней размещается четверо купающихся. На землю настелем веток, а поверх - накидаем соломы, чтобы ноги не занозить и в грязи не толочься во время мытья.

Разведем два больших костра. На одном в железной бочке из-под горючего нагреем воду для мытья, а на другом - в такой же железной бочке будет устроена "жарилка". В "жарилку" кладется три кирпича, на них - железный лист с дырками. Воды туда наливается немного, чтобы хорошо кипела. Образующийся пар, по идее, "прочищает" одежду. Длится прожарка полчаса. За это время мы помоемся, получив для этой цели по ведру горячей и холодной воды. Хорошо, что после мытья будем досыхать в теплом доме.

% % %

Пообедав, я закуриваю и выхожу на крыльцо. Как раз обе наши новенькие машины въезжают во двор. Спускаюсь к ним. Бросаются в глаза наш помятый старый "додж" и не чищенная еще пушка.

И тут из-за дома до меня доносится какой-то неясный разговор и громкий смех Батурина:

- А не пущу тебя в хату. Во ты краля какая! Ягодка красная, да злая. Ничего, на злых воду возят! Не разумеешь? Волчонок!

Не сразу доходит, с кем это Батурин так разговаривает. Но через мгновение догадка прямо обжигает меня и толкает, как взрывной волной. Забегаю за дом и застываю от негодования.

Спиной ко мне в распахнутом бушлате переминается с ноги на ногу Батурин. Перед ним в сером пальтишке, опустив руки и глядя прямо перед собой, - Ева. Рот сжат, испуганное лицо окаменело. Растопырив руки, Батурин то ли загораживает ей дорогу в дом, то ли пытается схватить за плечи. У меня колотится сердце и закипает злость. До Батурина пять шагов. Мгновенно ожесточившись, кричу:

- Батурин! Марш ко мне!

От неожиданности он вздрагивает, опускает руки и поворачивается спиной к Еве. Медленно идет ко мне; с лица сходит кривая ухмылка. Он наклонил голову, набычился, молчит, смотрит зло.

- Ты чего пристаешь к ней?! - шиплю я, а краем глаза вижу, как Ева быстро проходит в дом. - Ты что задумал, подлец?

- Да ничего я ей не сделал. Зря кричите на меня.

- Знаю, что говорю. Не приставать! Близко не подходить! Ясно? А теперь -марш! Вон пушка нечищеная стоит. Немедленно навести порядок и людей не разлагать!

- Я-то не разлагаю. Пусть другие не разлагают. Люди все видят. Нечего на мне зло срывать, если что не получается.

Чувствую, - чем дольше буду отчитывать, тем больше Батурин будет наглеть. Он уже шантажирует меня! Какая подлость! Не так давно я выручил его, можно сказать, спас от тяжелого наказания за избиение солдата. Тогда он каялся: "Сорвался я. Сгоряча. Учту и больше не буду. Извиняюсь перед вами"...

Растерявшись, говорю не так, как следовало бы: нельзя напоминать человеку о сделанном ему добре, это не порядочно. Но, увы, я не сдерживаюсь, не нахожу нужных слов:

- У тебя, Батурин, короткая память. Напомнить? И совести у тебя не было и нет! Непорядочный ты человек. Все. Марш, выполнять приказание! Командира взвода - ко мне!

- Понял, комбат, иду. Но терять дружбу со мной не советую.

- Выполняй приказание!

Он уходит, а я остаюсь на месте. Руки чуть-чуть дрожат, и, чтобы успокоиться, закуриваю. Мне стыдно перед Евой и ее родителями. Я ведь убеждал их, что наши солдаты мирное население не обижают. А если бы меня не было на месте, Батурин распоясался бы?

Подходит Пирья и спокойно, панибратски спрашивает:

- Комбат, чего ты вызывал меня?

Я еще не остыл от разговора с Батуриным, не могу отвечать спокойно:

- Младший лейтенант! Мне что, каждый раз напоминать тебе, когда пушку чистить, когда пост сменять? Дисциплина

разлагается от безделья. Как бы подчиненные тебе на голову не сели. И не заметишь, кто кем командует: ты ли сержантами или они тобой! А?

- Понял, комбат!

- Пока не прибыло пополнение, подтяни людей!

Я тычу рукой в сторону пушки: "Начинай без задержки! Пушка, машина, личное оружие - все привести в порядок!"

Пирье, наверно, обидно. Он отвечает официально, коротко:

- Ясно. Можно идти?

На душе скверно. Опять курю. Через несколько минут из дома выходит Пирья, за ним - Батурин, Кириллов, Бадейкин, Ковтун. Будут наводить порядок, чистить. В предвечерней тишине раздается зычный голос Батурина:

- Спускай ствол! Расчехляй дульный! Сымай затвор! Дура!

- Снимем, спустим. Дурацкое дело - не хитрое, - спокойно реагирует Кириллов.

Пирья заглядывает в канал ствола, что-то показывает Батурину. Наверно, уже образовался большой нагар. Начинается работа.

А я раздумываю: нужно ли как-то успокоить Еву и хозяев? Нужно ли извиняться за Батурина? Не лучше ли оставить этот случай без внимания? А что, собственно, случилось? Просто моя излишняя чувствительность, ревность или воспаленное воображение.

Чем же объясняется наглость Батурина? Только ли его дурным характером? А может быть, ходившие ранее слухи о его дружбе с "особистом" не лишены оснований? Тогда, выходит, Батурин - простой "стукач", пользующийся

покровительством начальства. Если это так, то проучить его не удастся. Тем более, что в явных нарушениях воинских уставов обвинить Батурина трудно...

Возможно, Ева сейчас плачет, а родители обдумывают, куда бы поскорее спрятать ее от наших алчных глаз.

До меня доносятся обрывки разговора солдат у пушки. Спокойный и

осмотрительный Ковтун высказывает своенравному Батурину свои соображения. Говорит он доверительно, даже вкрадчиво:

- Та вжэ скоро зовсим тэмно будэ. Яка тут у чорта чыстка? Ты, старшый сэржант, николы (никогда) нэ спишы. Ты послухай та подумай. Я ж тоби радыв вжэ(я же тебе советовал). Нэ лизь попэрэд батька. У нас стари люды кажуть: "Ты послухай та й побач, а, як трэба, то й поплач".

Возможно, эти рассуждения имеют какое-то отношение к инциденту. Значит, слух уже пошел, и он, этот слух, обрастет

пикантными добавлениями.

Ухожу в дом. Нужно написать письмо сестре. Оно, как всегда, короткое: "Жив, здоров. Дела обстоят хорошо". Вот и весь сюжет. Послюнил "химический" карандаш, написал полевой адрес на треугольнике из блокнотного листка минута.

Темнеет. Все, кроме часового, собрались в комнате. Я сижу на диване. Подходит Пирья, садится рядом. Напротив у стены лежат солдаты.

Сидельников с чувством рассказывает неискушенному Бадейкину о своих приключениях с деревенскими девками: о том, какие замечательные девки попадались лично ему и в чем состояли их сугубо женские достоинства.

Бадейкин с большим интересом слушает, временами краснеет. Вообще, разные нескромные истории Бадейкин выслушивает с удовольствием, но вопросов не задает, стесняется. Поэтому не всегда ясно, верит он всему или нет. А сейчас Сидельников, желая усилить производимый на Бадейкина эффект, продолжает углубляться в разные пикантные детали, пока Бадейкин не обрывает его:

- Буде тебе брехать, Сидельников. Буде. Охальник ты, фалалей.

Сидельников неудержимо смеется, его прямо трясет:

- Ха-ха-ха! Ничего, парень, привыкай. Ну, малость сбрехнул. Для интересу. Больно уж ты увлекаешься этим делом. Тихий ты. А в тихом омуте черти водятся. Ха-ха-ха!

Бадейкин не только стеснителен, он еще и очень брезглив. Если, например, во время еды сказать для смеху, что в парашу попала мышь, червяк или что повар высморкался, то Бадейкин ни за что есть не станет. Отойдет в сторону и дожует свой хлеб всухомятку. Солдаты, обнаружив эту странность, сперва очень потешались, даже издевались над Бадейкиным. Он же терпел, недоедал, но не протестовал, не отвечал ни словом своим обидчикам, и они от него в конце концов отстали. Теперь уже не задевают.

У Сидельникова свои странности: переменчивый характер, частые переливы настроения. То он безудержно весел, то подавлен и мрачен как туча. Сейчас у него как раз веселая "фаза". Одного своего недостатка, называемого солдатами "мандраж", Сидельников стыдится. "Мандраж" заметен всем: в минуты опасности у Сидельникова начинают дрожать руки и мелко стучат зубы - от страха, конечно. Однако его никто не презирает и не высмеивает, потому что всем видно: человек переживает, борется с собой, старается не показывать виду. Он обращался к нашему фельдшеру - просил направить в госпиталь на лечение.

Фельдшер, однако, никакой болезни не обнаружил, но все же дал таблетки от "нервов". Таблетки помогают, но после них Сидельников ходит сонный, вялый.

Очень не нравится ему прямая наводка, и он не скрывает этого:

- Наши начальнички сидят далеко от передка, а нас все норовят вперед пехоты-матушки выставить. Еще бы на радиаторы штыки наварить, в рукопашную ездили бы. Были бы тада - мотопехота. Додумаются - ума хватит.

Солдаты подобное брюзжание обычно не одобряют:

- Не бухти, Сидельников. Сам себе покою не даешь. Накаркаешь - заберут тебя в пехоту, дадут большую трехлинейку с длинным штыком и побежишь ты своим ходом в штыковую атаку! Не мандражируй!

Нет, не вернулся бы Сидельников к нам из госпиталя, как Зайков.

Становится совсем темно. Все отогрелись, поспали, сытно поели. До ужина делать нечего. Наступает время беззаботного общения и душевного отдыха. Сейчас пойдут рассказы, байки, анекдоты, а потом - песни.

Солдаты всегда с удовольствием слушают Ковтуна. Он любит рассказывать разные истории на своем родном украинском языке. Все к этому привыкли, понимают. Вот и сейчас он "травит" очередную байку из раздела "Про офицеров". Все офицеры у него глупы или наивны, а их денщики - умники и пройдохи. Пересказать некоторые подробности не представляется возможным. Если же кое-что опустить, то получится, например, так:

- Сыдыть оцэ на пляжу молодый охвыцер, як огирочок (как огурчик)... Дывыця (смотрит) на бабив и бачыть зи спыны гарну(красивую) жинку. Ззаду у нэи косыця высыть. А сама гладка (дородная) та апэтытна... Пасыла вин свого дэньщыка. "Иды, - говорыть, прыгласы тую барыню до мэнэ в гости сьогодни вэчором. Потим сходы до крамныци (в магазин), купы сыгар, вына та сыру"...Бижыть дэньщык до той бабы. А вона його - трись по морди, аж юшкою вмывся (умылся кровью). Вэртаеця вин до свого охвыцэра и кажэ: "Вашэ благородие, того дила нэ будэ, бо воны пип (поп)". Все смеются и интересуются, что было дальше:

- Ну что, не отломилось офицеру?

- Та видломылось йому: дэньщык прывив йому потим (потом) попивну.

Ковтун - хороший рассказчик: говорит неспешно, серьезно, не улыбаясь. Его не нужно упрашивать - он всегда готов шутить и петь. После минутной паузы он продолжает в том же духе: как

распутная баба продавала бочку, как денщик совратил жену офицера, как солдат обманул попа и т. п.

Я хорошо представляю себе дальнейшую программу сегодняшнего вечера. Скоро Ковалев вскипятит воду, подаст привычный сигнал, и состоится вечернее чаепитие. Затем кое-кто начнет чинить обмундирование, наладится общая беседа. Будут еще байки и занимательные истории из жизни. Иногда серьезные и по-настоящему поучительные, но, чаще всего, плоские сальности, примитивщина, вздор. Кириллов заведет игру в "подкидного дурака" на щелчки -"щелбаны". Но главное, - будут петь.

Со стороны наше пение может показаться странным, смешным, неуместным. Нас же оно отвлекает и развлекает: снимает внутреннее напряжение и настраивает на неспешные размышления о жизни.

Песенный репертуар давно устоялся. Он прост, непритязателен, но всем по душе.

Вначале обычно идет грустная песня об умирающем казаке:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется,
И сердце радостно забьется
В восторге чувств - не для меня...
Конец песни печален:
Жена найдет себе другого,
А мать сыночка - никогда.

Герой другой песни - воин, умирающий за Родину, - беседует с вороном, олицетворяющим смерть:

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой!
.....
Вижу, смерть моя приходит,
Черный ворон, весь я твой!

Популярны трогательные своей наивной искренностью песни об удалом

Хас-Булате, чья сакля бедна, о ямщике, замерзающем в степи, о Дуньке и молодых кузнецах...

Вспомним и об "одной возлюбленной паре", что "всю ночь гуляла до утра". Будет и "Сад-виноград, зеленая роща" с риторическим вопросом: "Кто виноват? Жена или теща?". "Теща ви-иноватая-я-я!!!" - рявкнут все дружно, радостно и так громко, что задрожат оконные стекла. Ибо в этой песне считается: чем громче, тем лучше!

Потом Ковтун сильным приятным голосом начнет украинскую часть репертуара: "Розпрягайтэ, хлопци, конэй тай лягайтэ спочывать ..." Любят еще украинскую песню о неразборчивой алчной вдовушке и щедром влюбленном казаке: "Удовыцю я любыв, подарункы (подарки) йий носыв..."

Слабость Ковтуна - малые дети: он любит их. Если у хозяев есть малыши, он сажает их на колени и раскачивает, напевая в такт, ритмично странные куплеты:

Гойда, гойда - ша.

Дэ кобыла - там лоша (жеребенок)

Тай скоцюрбылося! (согнулся,сжался)

Гойда, гойда, гойда - ша...

Дети безбоязненно тянутся к веселому поющему усатому дядьке-солдату и не хотят слезать с его колен, когда он поет смешные песни:

Дид рудый (рыжий), баба руда,
Батько рудый, маты руда,
Сам рудый, руду взяв,
Рудый пип повинчав,
И музыкы руди гралы,
Руди гости танцювалы,
Щэй дытынка маленька
Уродылася руденька.

% % %

Внезапно раздаются резкие дребезжащие удары ложки по котелку и высокий мальчишеский голос Ковалева:

- Славяне, кончай травить! Выходи строиться на ужин! Чай хлебать, белую розу. Пей вода, ешь вода - ср... не будешь никогда!

Призыв доходит, разговоры прекращаются. Солдаты медленно встают, идут на кухню за чаем, точнее, за кипятком. Каждый добавит что-нибудь из остатков сухого пайка: кусочек сахара, сухарь. Вот и ужин.

Ко мне подходит Никитин:

- Комбат, сходите поужинать в ту комнату к хозяевам. Я отнес туда, что надо. Ваши злотые сгодились.

Уж посудачат о моих похождениях солдаты. Ну и пусть говорят. Совесть моя чиста: свои обязанности выполняю и о долге не забываю. Вот и Никитин ориентир по части строгой морали - никак не осуждает, даже сам что-то устроил. Все нормально.

В "той" комнате Ева и родители. Участие Никитина в устройстве ужина заметно. На столе колбаса, яичница, салат из картошки, бутылка вина.

Хозяин приглашает к столу. Чувствуется напряженность, неловкость.

Вино разлито. Теперь тост надлежит произнести мне. Он у меня готов - не оригинальный, не изысканный, но от души: "За скорейшую победу над нашим общим врагом!"

Хозяин кивает в знак одобрения, и мы выпиваем. Ева и ее мать лишь чуть касаются губами вина.

Натянутость немного ослабевает. Пан Богдан, видимо, специально для меня замечает, что поляки, конечно, благодарны Красной Армии за освобождение Польши от немцев.

Вино приятным теплом разлилось в груди. Пока закусываем, предлагаю еще тост:

- Това... Панове, может, другого такого случая не будет. Ну, чтобы так сидеть с вами... Вместе...

- Прошэ, прошэ.

Душа моя наполнена добрыми чувствами. Она раскрыта и требует выскп зать то, что думаю, искренне и просто, без сокрытий. Хочу сказать, что Ева замечательная девушка, умная, добрая и справедливая, такая прекрасная, ка ких нет на свете, что я хочу пожелать ей большого счастья, хочу видеть ее каждый день и чтобы всегда была рядом, хочу...

Увы, этого не скажешь - условности сильнее желания, приличия вынуждают:

- Давайте выпьем за ваше здоровье. Чтобы Ева была счастлива!

Ева улыбается, и я выпиваю до дна. Неужели она не догадывается о не произнесенных мною словах? Хозяева отпивают по глотку. Я спрашиваю:

- Ева, почему вы не пьете до дна? Я слышал, что за здоровье и счастье

полагается выпивать до дна. Чтоб ничего плохого не случилось.

- Я никогда не пью больше. А вы знаете, в чем счастье (она произносит: "сченстье")? Я не вем, не знаю. Но, все равно, я тоже желаю Вам счастья такого, какого вы сами хотите. А вы знаете?

- Какого счастья я сам себе желаю? Ну... Вот закончится война, и это будет счастье. Для всех, конечно. А для себя? Если меня не убьют или легко ранят, - это будет мое счастье. У нас есть хорошая песня. Девушка желает (ему... - не нахожу нужного слова: парню, любимому, коханому, возлюбленному, кавалеру - все не то; ну, пусть так: желает своему близкому другу, "сердечному пшияцелю", если смерти, то мгновенной, моментальной, если раны -небольшой. Пожелайте мне такого счастья, Ева. Вас Бог послушает, потому что вы, я знаю, очень добрая и хорошая.

- Не нужно, чтобы вас убило. Не нужно моментальне. Нет!

Прошэ, обращается она тихо к родителям, - выпьем, чтобы пан остался жив и после войны приехал к нам в гости.

Она с детской настойчивостью упрашивает родителей: "Прошэ! Прошэ!" Хозяева, мне показалось, смутились. Ясно: зачем им такой гость? Но все же выпили по глотку. Вино делает свое дело. Неуверенность и внутреннее напряжение постепенно проходят, настроение улучшается. Хозяева нахмурены, печальны, и мне жалко их.

- Не переживайте. После победы мы сразу уйдем из Польши, а из вашего дома уедем совсем скоро, вам станет лепей, лучше и, вообще, бардзо добже, очень хорошо.

Нет, - отвечает пан Богдан, - вы, "советы", отсюда не уйдете и Польшу не отдадите. Нам всегда было трудно жить между великими державами. Кто был сильнее, тот и отрывал себе больший кусок Польши. Сколько польской крови пролито! И сколько еще будет пролито!

- В этой войне наша армия пролила за вашу свободу больше крови, чем вы ;ш нею вашу историю. Чем же вы недовольны? Тут пани Мария вышла из комнаты и позвала хозяина. Тогда я не думал, что пан Богдан видит дальше меня. Много лет спустя, вспоминая тот вечер, я представил себе, как там за дверью хозяйка

выговаривала мужу: "Зачем ты раскрываешься? Перед кем? Перед этим

мальчишкой! Тебе известно, кто он? Вот сообщит он в свой НКВД, и всех нас вышлют в Сибирь!"

Я очень обрадовался уходу хозяев. Наконец мы посидим с Евой без свидетелей. И тогда мне захотелось, чтобы Сталин, действительно, не отдал Польшу. Пусть у нас будет еще одна союзная республика, как Литва или Эстония. Была же когда-то Жечь Посполита! Лишь бы после войны можно было ездить в Краков, как в Одессу или Ленинград.

Ева сидит за столом напротив, мягко улыбается и спрашивает, нравится ли мне военная служба.

Нет, не нравится. До войны я мечтал стать инженером. А теперь какие планы на будущее?

Какие теперь могут быть планы? Что будет завтра, и то не известно. Будет ли будущее у меня? Не уверен. Если выживу, то сразу же и составлю план. Через час после войны. Хотя... Знаете, Ева, начало плана у меня есть, приеду сюда, чтобы повидаться с вами. Вы же пригласили меня в гости! Не откажетесь? Не испугаетесь? Она не отвечает, только ободряюще улыбается. Ева, а какой у вас план?

Хочу стать доктором, как мои родители. Раз мы выпили за

мое счастье, то запишу еще в план: стать счастливой. План хороший и вполне осуществимый.

Так, но сначала я хочу дождаться конца войны. Хочу убедиться, что немцев по справедливости накажут. Они виноваты.

О немцах Ева говорит крайне неприязненно. Причин для ненависти у нее много. Ее брата Юзефа немцы убили, а маму посадили в концлагерь лишь то, что дедушка Михал был еврей.

Ева считает, что большинство немцев - убийцы. Всех эсэсовцев и полицейских нужно посадить в те самые лагеря, которые они настроили в Польше:

Освенцим, Биркенау, Плашув, Майданек. А лучше, пусть русские сошлют всех их в Сибирь. Сибирь ведь большая, не так ли?

Ева внимательно смотрит на меня, о чем-то задумывается, касается пальцем моего рукава и нерешительно, как бы опасаясь чего-то, спрашивает:

- Цо то ест? Цо то за одзначенье? (знак отличия)

На рукав нашита наша противотанковая эмблема: черный ромб со скрещенными орудийными стволами в центре. Эти, возможно, мрачноватые на шивки нам выдали давно, вместе с гвардейскими значками. Я объясняю Еве:

- Это эмблема противотанковой артиллерии. Это - артиллерия пшециво-панцерна. Черный ромб символизирует сгоревший танк, а скрещенные стволы - наши противотанковые пушки. Понятно?

Она почему-то очень обрадовалась, заулыбалась, погладила меня по руке:

- Хорошо! А мы подумали, что это кости на черном фоне смерти.

- Нет. Это каноны, арматы. Мы артиллерия.

- Дзинкуе. Мне уже понятно. Я вижу уже - это не кости. Понимаете, родители сказали, что эта эмблема, как у СС - скрещенные кости, тодекопф. Только череп не нарисован. Они подумали, что вы служите в фельджандармерии, ну, в военной полиции.

- Вы видите нашу пушку во дворе?

- Ну и что? У СС тоже бывали пушки, танки. Отец говорил нам, что в любой армии есть военная полиция, которая следит за порядком в тылу и на фронте. А теперь я очень рада, что вы не полиция. Мы еще не привыкли к "советам". Не обижайтесь.

- Я понял и не обижаюсь.

- А можно узнать, как вас зовут?

- Зовут Моисей, а по-еврейски, на языке идиш - Мойше.

- Очень приятно. Как моего дедушку. Можно мне называть

вас, как его пан Михал? Я знаю, кто был Моисей, потому что читала Библию. Старый Завет.

Она произносит мое имя мягко и получается - "Михав".

- Если вы будете говорить мне "пан", то я вынужден буду обращаться к вам: "паненка", а не просто Ева. А "Ева" звучит очень красиво, как музыка!

- Згодне (согласна). Нех бэндже так: вы - Михав, а я - Эва.

Захотелось очень сказануть: "Как жаль, что я не Адам!" Но я промолчал.

- А вы, пан... Вы, Михав, за день стали лучше говорить по-польски.

- Эх, если бы прожить здесь хотя бы месяц! Как легко стало бы мне говорить!

А сейчас не легко?

Мне интересно говорить по-польски, но трудно находить нужные слова. Я мало знаю. Многого я просто не в состоянии сказать вам.

Очень хочется обнять Еву. Внутренний голос побуждает меня сейчас же сказать: "Ева, ты прекрасна!" Но я сдерживаюсь и только прошу:

- Говорите, Ева, мне очень приятно слушать вас. Очень.

А что сказать, Михав?

- Что-нибудь. Ну, скажите слова вашего гимна. Лучше спойте. Медленно, чтобы я понял. Пожалуйста, Ева. Прошэ.

К моему удивлению, она не отказывается, не жеманится, а сразу с готовностью начинает тихонько напевать. Поет, как и говорит, очень мягко, не фальшивит. Я напрягаюсь, чтобы запомнить слова и вникнуть в смысл. Меня страшно тянет к Еве, и я сажусь рядом, почти касаюсь ее плеча...

От нее исходит необыкновенно приятный аромат, остро напоминающий о давно утраченном, но еще не забытом домашнем уюте и чистоте... А Ева медленно поет:

Еще Польска не сгинела,
Доке мы жиеме.
Цо нам опца пшемоц взенла,
Шаблем одбежэме.
Марш-марш, Домбровски,
З земи Влоськи до Польски!
За твоим пшеводем
Злончим сен з народэм.
Пшейдем Висле, пшейдем Варте
Бэнджем поляками...

Столько лет прошло, вся жизнь пролетела, прошумела, а я до сих пор помню эти слова и ощущаю очарование ее голоса. Ни до

того вечера, ни потом мне не приходилось слышать или читать польский гимн. Пишу эти слова по памяти и, вероятно, со многими ошибками. Но именно так мне тогда послышалось от Евы и так запомнилось...

Рядом ее лицо - строгое, одухотворенное. Она кончила петь, а я все смотрю в ее глаза и не могу оторваться.

- Почему вы так смотрите на меня, Михав?

- Мне очень понравилось, как вы поете. И вообще... А что такое земля Влоская?

- Влохи - это итальчно. Италия, да?

- А Домбровский? Не тот ли, кто организовал в Италии польский легион? Он участвовал во Французской революции?

- А вы слышали о нашем Домбровском?

- Читал в какой-то книге из серии "Жизнь замечательных людей". Есть такие книги.

- Наш гимн вам понравился? Сначала это была военная песня.

- Гимн понравился. А пели вы так красиво, что я запомнил все.

- Не может быть! Я не верю!

- Я запомнил, Ева, каждое твое слово. Мне кажется, что мы знакомы с тобой всю жизнь. А гимн могу повторить, если хочешь.

- Хочу, - говорит она задорно, не возражая против моего "ты, Ева".

И я повторяю почти правильно. Да, в молодые годы память у меня была цепкая: запоминал быстро, надежно, надолго, а кое-что, оказывается, навсегда.

Только я успел убедить Еву в высоких качествах своей памяти, возвратились ее родители. Ева тут же сообщила им, что "пан с одного раза выучил наш гимн". Отец, однако, к этой новости отнесся сдержанно, ни удивления, ни восхищения не выразил, а пробурчал что-то вроде: "Что же, интересно. Бывает". А потом добавил:

- Гимн выразительный, эмоциональный. Все поняли? Понравился?

- Да. Не все ясно. Зачем вам переходить Вислу, Варту? Вам нужны еще земли на Западе и Востоке?

- Это естественное желание объединить в едином государстве всех поляков на тех землях, где они живут с древности. Какие-то юмористы сочинили шуточный гимн:

Еще Польска не сгинела,

Доке курка в гарнку.

То есть: "Не сгинет Польша, пока имеем курицу в горшке". В мире много людей, которым, по существу, от жизни нужно одно: чтобы их хорошо кормили. Если их сносно кормят, они вполне

счастливы. И любую власть одобряют. Не задумываясь. Ваш Пушкин правильно написал про "мирные народы".

Что он Пушкина признал, - хорошо, но опять вступать в дискуссию не хочется.

Ева радостна и возбуждена. Она разъясняет родителям, что мы не полиция, а простые солдаты-артиллеристы, что на рукаве у меня не скрещенные кости,

а пушки. Хозяева переглядываются и, мне кажется, объяснениями дочери удоилетворены.

Громко стучат в дверь, и сразу входит Никитин. Он отзывает меня и тихо Говорит:

- Комбат, вас к телефону. Должно быть, Макуха.

Я несколько секунд стою молча, возвращаю себя к "реальной действительности:

- Дзинкуе, панове. До видзенья!

% % %

Штаб не спит, там работают. Расслабляться нельзя, война продолжается. Беру у телефониста трубку. Макухин спрашивает, как дела. Отвечаю, что личный состав и матчасть в порядке, ЧП - нет.

- Высылаю тебе нового командира взвода, слышишь? Записываю у себя -первый взвод. Правильно?

- Так точно, первый!

- И Зайкова. Он уже здесь. Пришли кого-нибудь проводить.

- Есть! Высылаю.

Не успеваю выкурить цигарку, как Никитин приводит первое пополнение. Ле|йтенант на вид немного постарше меня, высокий, с русым чубчиком, с приятным открытым лицом. На нем хорошо подогнанная шинель и новая шапка.

Рядом - Зайков, приземистый крепыш в своем неизменном промасленном бушлате.

- Лейтенант Волосов прибыл для дальнейшего прохождения службы!

Он по правилам отдает честь, а в левой руке держит вещмешок. Солдаты внимательно наблюдают за нами. Я подаю руку:

- Располагайтесь. Поужинаете, а потом поговорим о делах.

- Я уже ужинал. Так что - готов.

На меня весело смотрит старый знакомец - Зайков:

- Здравия желаю, комбат!

Я тоже радостно улыбаюсь ему и жму руку:

- Молодец, что к нам вернулся! Очень хорошо. Тебя как раз и недоставало.

- Потянуло обратно. Вроде как в свой экипаж. Домой, что ли.

- А как твоя рука? Крутить баранку сможешь?

- А то! Ну! Зажило, как на собаке. А у вас, ну, у нас то есть, что нового?

- У нас, знаешь, новости бывают каждый день. Твоего командира орудия Малькова убило. Уже больше месяца прошло. Ночью немцы просочились. Разрывной пулей. Разворотило. До санбата не довезли. В общем, плохая новость. Вот...

Мальков был командиром орудия не хуже Батурина, но другой человек: добрый, хотя и строгий, твердый. Чем-то напоминал молодого Никитина. Солдаты ему доверяли, уважали и, больше того, любили. Своих и чужих солдат он называл "милок":

- Ты, милок, повеселее поворачивайся, - говорил он, - не могилу копаешь, - орудийную площадку. Пошире, пошире давай, чтоб пушку развернуть можно! Так! Молодец!

Малькова на батарее все так и звали "Милок". Теперь Милка нет...

- Вот, - заканчиваю я, - живы будем - не умрем. Пойдешь в первый взвод к лейтенанту Волосову. Устраивайся здесь. А завтра разберемся. Утро вечера мудренее.

"Пойдемте, покурим",- приглашаю я обоих взводных, и мы выходим во двор. Выясняю, что Волосов из госпиталя, до ранения воевал в гаубичном полку, хорошо знает 122-миллиметровую систему, но и с нашей немного знаком. Вести огонь по танкам ему пришлось лишь дважды. Поэтому у нас он должен кое к чему присмотреться, привыкнуть. Чувствую, что небольшой первоначальный инструктаж ему нужен:

- Работа у нас простая, но требует навыка и сноровки.

Я с увлечением рассказываю об особенностях прямой наводки: от выбора огневых позиций до определения упреждений при стрельбе по движущимся танкам. Ведь я окончил специальное училище противотанковой артиллерии и помню, как этому учили нас.

- Хорошая вводная. Пригодится, - говорит Волосов. У ворот возникли три плохо различимые фигуры:

- Эй, славяне, это не хозяйство Сапунова?

Мы подходим, и я вижу капитана и двух солдат.

- Вы из артполка? Или бронебойщики? Кузнецовские, что ли? - спрашивает капитан. - Что, лейтенант, своих не узнаешь?

- Я всех капитанов не знаю. Кто вы?

- Мы из сапуновского хозяйства. Только подошли. По карте - наш район вроде. Выходит, стрелковый полк нашей дивизии весь день протопал. Бедная пехота! Ну, завтра наш городок будет забит войсками.

- Да, товарищ капитан, мы кузнецовские. Пойдемте, покажем, где штаб Кузнецова. Это рядом. Там все и выясните.

Мы провожаем пехотинцев к штабу, вызываем дежурного и возвращаемся в свой дом. В нашей комнате стало тесней, накурено и шумно. Зайков громко балагурит о госпитальной жизни. Кириллов в углу режется в подкидного с телефонистами.

Я снимаю полушубок и шапку, выхожу в прихожую и замечаю, что дверь на хозяйскую половину приоткрыта. Подхожу ближе - за дверью стоит Ева и делает мне знаки рукой: "Иди сюда!"

- Мне нужно поговорить с вами. Можно? Выхожу и плотно закрываю за собой дверь.

- Что случилось, Ева?

- Пойдемте в комнату, а то здесь все слышно.

Ева печальна. Она как-то сникла, говорит тихо:

- Я хотела попрощаться, Михал.

- Почему? Мы не уезжаем еще.

Уезжает, оказывается, она. Родители хотят отправить ее к тетке за сто

километров отсюда. Там нет солдат, и всем будет спокойнее.

- А ты? Ты согласна ехать, Ева?

Мне становится не по себе. Так неожиданно все рушится. Гибнет надежда.

- Не надо уезжать. Успокой родителей. Наши солдаты никого не обидят. Все будет в порядке. Правда. Поговори с ними еще.

Едва касаясь, глажу Еву по голове. Чувствую под рукой мягкие шелковые волосы. А она испуганно смотрит в мои глаза. Беру ее за руку. Меня пронизывает ток, исходящий из ее нежной теплой ладони.

- Останься, Ева. Мы не поговорили. Я не успел сказать... Не хочу потерять тебя!

- Меня ждут родители. Я хочу остаться дома, но не знаю, смогу ли уговорить их.

- Ну, если так, то прощай! Будь счастлива. Ты замечательная девушка. Я всегда буду помнить тебя, Ева. Я никогда не забуду.

Я целую ее в щеку. Она не противится, наоборот, мягко сжимает мою руку, удерживая еще немного около себя, и быстро уходит.

Все происходит так быстро, что я не успеваю осознать случившегося. Боли нет. Ощущаю даже радость и душевный подъем от того, что небезразличен Еве. До войны я был слишком молод, ничего не успел достичь, даже девушки у меня не было. Ева - первая, оказавшая мне такие знаки внимания. С ней легко и радостно. И такая красавица. Мне везет - судьба подарила чудо. Не каждому выпадает. До меня доходит, что Ева - это и есть моя

первая любовь! Все так мимолетно! Прекрасная сказка закончилась, едва начавшись.

Но я не хочу терять тебя, Ева! Если бы не война, нашел бы выход. А так... Предназначенная мне девушка оказывается в Польше. Завтра мы уйдем куда-то, а она останется здесь. Я не могу увезти ее, потому что у меня ничего нет: ни положения, ни отчего дома, ни свободы выбора... Вообще, я не принадлежу себе. А

кому? Государству? Я просто исполнитель предуказанного долга, и он, этот долг, для меня важнее счастья. Что же делать?

Прежде всего - взять себя в руки.

Выхожу во двор, закуриваю. Хожу взад-вперед от крыльца к пушке. Не могу ничего придумать. Завтра она уедет, исчезнет из моей жизни, как сон. Но ведь это не сон. Я только что целовал ее. Она, прижавшись, искала во мне опору. Если я ничего не придумаю, то потеряю ее, и жизнь станет темна и безрадостна. Не прощу себе этого.

Взять бы Еву на руки и убежать, уехать, улететь куда-нибудь далеко, где нет войны, где я свободен... На необитаемый остров... Мне ничего больше не нужно...

Я сошел с ума. Какая требовательность! Все нужно сразу: Еву, мир, дом -все и немедленно. Так в жизни не бывает. Все добывается тяжелым трудом и в упорной борьбе... Как жесток этот прекрасный мир!

Довольно. Нельзя падать духом. Оставлю Еве большое послание. Пока идет война, буду писать ей письма. А после победы вернусь, и мы все решим. Легко сказать писать. Не станет наша полевая почта доставлять письма иностранцам. А как Ева будет отправлять мне свои письма? Цензура не пропустит. Они там решат, что это шпионская связь. Какая такая переписка может быть у офицера Красной Армии с иностранцами? Как бы Еву не подвести под статью...

Ничего лучшего придумать не могу. Буду писать, чтобы не потерять, удержать. Это все, что мне остается. Пусть Ева ждет, пока я не вернусь к ней после войны. Обязательно вернусь, чего бы это ни стоило.

Эх, не успел я ни о чем договориться с ней, не подумал, потерял голову. Дурак легкомысленный! Все же не может быть, чтобы она уехала, не поговорив еще со мной!

Возвращаюсь в дом растерянный и подавленный. Ночью меня мучают кошмары.

% % %

До рассвета меня вызывают в штаб. Макухин - какой старательный - уже успел составить расписание занятий и вызвал

командиров батарей на инструктаж. Расписание очень насыщенно: матчасть, тактическая и огневая подготовка, инженерная подготовка (оборудование огневых позиций и укрытий), личное оружие, первая медицинская самопомощь и помощь в бою и, естественно, политзанятие. Есть примечания: политзанятие будет общее для всего рядового и сержантского состава и проведет его лично замполит, а занятие по медподготовке проведет наш фельдшер Женя. Расписание не на один день. Возможно, постоим еще. Хорошо бы.

Возвращаюсь в раздумье. Меня встречает Никитин:

- Комбат, пойдемте на кухню. Суп еще не остыл. И чай есть. Завтракаю, потом беседую с Волосовым и Пирьей о предстоящих занятиях, а в голове другое: надо сейчас же выяснить, что с Евой.

Иду на хозяйскую сторону. В их комнате никого нет. Неужели ее уже увезли? Выхожу в коридор, к лестнице. Стою в нерешительности, собираюсь с мыслями. Надо подниматься. Наверху хлопает дверь. Спускается хозяин.

- Дзень добры! - здороваюсь я.

Он холодно отвечает и вопросительно смотрит на меня. Как можно спокойнее прошу его позвать Еву. На два слова. Он молчит, видимо, колеблется: отшить меня или выполнить просьбу? Потом молча поворачивается и очень медленно возвращается наверх.

Через минуту на лестницу выскакивает Ева. Увидела меня, заулыбалась. До чего хороша! Бегом спускается ко мне, смотрит в глаза. На лице - немой вопрос, и я отвечаю:

- Ева, мы еще остаемся.

- Иле дни?

- Сегодня и завтра. Может быть, еще. А ты не уедешь? Останешься?

- Зостанусь, зостанусь, Михав!

Оказывается, она уговорила-таки родителей отложить отъезд. Такая радость! Камень с плеч свалился. Я не скрываю радости, улыбаюсь во весь рот, и она протягивает мне руки. Хочу обнять и прижать ее к себе. Она наклоняется, и я ощущаю ее тепло. Наверху скрипит дверь. Ева выпрямляется и убегает.

Ко мне спускается пан Богдан и вежливо, по-светски спрашивает:

- Цо новэго, пан офицер? Цо сен так замыслили?

Есть над чем задуматься. Сам сообразит, о чем думаю. Отвечаю вопросом на вопрос:

- Мы очень надоели вам, пан Богдан?

Против нас, оказывается, у него ничего нет. Но в доме шумно, неудобно. Уж очень много постояльцев. И в соседних домах

появились солдаты. Много...

- Потерпите немного. Мы скоро уйдем, но, учтите, придут другие солдаты.

- А вы сегодня не уезжаете? Я думал... - не выдерживает хозяин.

- Все может быть. Как прикажут, - притворяюсь я, выхожу на крыльцо и

закуриваю.

...Звонит Макухин: дает батарее старшину - старшего сержанта Алимова из

растаявшей роты ПТР и заодно приказывает отправить в его распоряжение Ковалева, - он немедленно приступит к исполнению новых обязанностей повара, кашевара.

Старший сержант Алимов был одно время командиром отделения ПТР, затем помкомвзвода. Он был заметной, неординарной личностью, довольно часто попадался мне на глаза, и кое-что о нем я знаю. Веселый, разбитной, нахальный, говорят - не трус, в армии давно, с 1940 года, а у нас в дивизионе - с прошлой зимы. Макухин правильно рассудил: старшина из Алимова получится хороший. Через месяц его повысят в звании, и все станет на свое место. Хорошо. И еще я рад за Ковалева. Он заслужил.

Подзываю Пирью:

- Володя, у нас забирают Ковалева. Сейчас отправим его в штаб, к Макухину.

- А почему? Он же наводчик! Зачем отдавать?

- Получили новую кухню, а повара нет. Наводчика дадут, а - нет, сами обучим. Пока Кириллова или новичка поставим. Пойми: Ковалев всю дорогу мечтал поваром стать. Надо человека обрадовать. Все. Передай приказ Батурину и зови сюда Ковалева.

В прихожей тем временем солдаты громко смеются, разыгрывают Бадей-кина.

- Ты, парень, отпиши своей мамане, пусть барсучьего жира пришлет тебе и меду побольше. Очень помогает по утрам натирать. Попробуешь - спасибо скажешь. Спроси у Кириллова, он натирал. Ха-ха-ха.

- Буде вам охальничать, - вяло отбивается Бадейкин.

В комнату входит Ковалев, и я сообщаю ему о новом назначении. Он, конечно, рад, и мне приятно видеть эту радость. Жму ему руку:

- До свиданья, Ковалев. Жаль отпускать, но так будет справедливо. Приступай к новой службе и покажи, что ты настоящий специалист, шеф-повар!

- До свидания, комбат. Спасибо вам. Я понимаю. До свидания

и вам, лейтенант. Разрешите идти?

Ковалев уходит улыбающийся, удовлетворенный: получил наконец работу по душе, да и шансы возросли. Маловероятно, чтобы новую кухню разнесло шальным снарядом, как старую. А из прихожей уже доносятся громкие солдатские напутствия:

- Что, Коваль, добился своего? Вода камень точит.

- Не бузите. Все законно. Настрелялся Коваль, и будет. Теперь пусть другие. А ты, давай, стряпай щи да кашу - пищу нашу!

- Нас не забувай: гущэ та солодшэ налывай! Навары нам сьогодни борщу доброго.

- Вот увидите, братцы, он на нашей кухне недолго просидит. Присмотрит себе большого генерала, что рубать любит. Только мы и видели Коваля. Попомните.

- Побыстрей собирайся и мотай отсюда, а то начальники передумают, -возьмут Никитина. Он тоже умеет стряпать. Получше иной бабы.

- Бывай здоров! Бери ноги в руки и чеши в штаб. Без задержки, а то... Помнишь Забродина? Так что не тяни кота за хвост, беги.

...Забродина взяли в армию в 1942 году с Челябинского военного завода. Недавно его отозвали обратно на завод как специалиста-сварщика по танкам. Жена выхлопотала. Год бегала по начальникам. Добралась до самого главного генерала-конструктора танков. Добилась для мужа вызова на завод. У Забродина уже лежали в кармане все документы на демобилизацию. Нужно было "рвать когти", а ему захотелось еще получить новые сапоги. Побежал на вещевой склад, а по дороге - тяжело ранило. До санбата не довезли - умер. Жадность сгубила. Упустил дорогое время.

Сквозь смех и гам слышу, как хлопает входная дверь и кто-то по-командирски зычно и бесцеремонно произносит:

- Пачиму шум слышу, а драки нет?!

Смех и разговоры стихают.

- Здорово, орлы батарейцы!

- Смотри, Алим к нам заявился.

- Пачиму нэ привэтствуете начальство, как паложэно? Кто здес старший по званию? Пачиму нэ рапартуеш? Чтоб болшэ нэ слышал: "Алим! Алим!" Всэм панятно? Павтарять нэ буду! Зарубитэ сэбэ на насу!

- А как тебя звать-величать? Товарищ генерал?

- Тэпэр я ваш старшина! Запомнитэ всэ. А тэбэ, Кырылов, если будэш так разгаваривать с начальством, пасажу на губу. Заруби сэбэ эта!

- Вот не было печали, так черти накачали. А ты посади меня. Хочу посидеть. Отдохнуть от вас, от начальников.

- Я тэбэ спэрва заставлю глубокий яма выкопать и пасажу в эту яму. И часового паставлю. Пусть строго ахраняет тэбя, чтоб из ямы к бабам нэ убэжал. И будэш ты палучать у мэня в дэнь адын сухар и адын стакан халодный вада. Ясно тэбэ?

- Тада Кириллов к бабам не убежит. Зачем часовой?

- Ты, Кырылов, будеш падхадить ка мнэ строевым шагом за дэсять мэтров! Панятно, орлы? Старайтесь у мэня, вынэсу благадарность!

- Рад стараться - готов умереть!

- Атвэчаешь нэправильна. Но будэш стараться, палучиш увольнение в го

род. В кино пайдеш, дэвачку вазмеш, марожено купиш, шашлик. Панятно

сказал? Атвэчайте!

- Служу советскому народу, старшине и помкомвзводу!

- Маладэц! Правильна, дарагой! Комбат гдэ сидит?

- Там, в комнате. Давай, строевым! За десять метров! Шагом, марш!

- Прэкратить разговорчики в строю! - смеется Алимов. - Ха-ха-ха!

Короткий стук, дверь сразу открывается, и предстает Алимов. Он подносит

руку в виску и бодро по форме докладывает. Улыбается во весь рот, как старому знакомому. Под черными усами сверкают ровные белые зубы.

- Выйдем, старшина, покурим, поговорим.

Выясняется, что свои обязанности он понимает правильно: поддержание порядка и снабжение батареи всем необходимым. Предупреждаю, что, хотя старшине приходится часто отлучаться, я должен всегда знать, где он и что делает.

- Яснинько. Эта само собой. Будит у нас на батарее флотский парядок. Нэ беспакойтесь, комбат.

- А сейчас присмотри поблизости дом для пополнения, для первого взвода. С людьми познакомься. Командир первого взвода - человек новый. Нужно помочь ему с устройством пополнения. И о бане поинтересуйся. Ясно?

- Все яснинько. Будет сделано! Можно идти?

Началась суета. Прибыли пушки, а вслед за ними - пополнение. Поступила команда: "Всему личному составу, кроме наряда, то есть кроме часовых и телефонистов, прибыть к штабу на общее построение".

Мы, "старики", строимся на площади перед штабом, а лицом к нам - на расстоянии двадцати шагов - новички. Их больше. Построением и всей церемонией руководит замполит. Ему нравятся подобные торжества. Замполит у нас не кадровый военный, а бывший гражданский партработник районного звена из Кировской области. Свое замполитское дело он знает, выступать перед людьми любит. Говорит толково, красиво и слегка патетично, не опускаясь до серой обыденности. Сначала замполит здоровается со "стариками":

- Здравствуйте, гвардейцы!

- Здрав жлам, тащ ктан! - довольно дружно и бодро отвечаем мы.

- Здравствуйте, солдаты, сержанты и офицеры пополнения!

Эти отвечают вяло и вразнобой. Смотрю на стоящих перед нами людей. Они очень разные. Есть среди них повоевавшие, но больше молоденьких новобранцев. Последние видны невооруженным глазом: промерзли, посинели,

согнулись, шинели топорщутся горбом на спинах, подпоясаны небрежно,

неумело, многие в обмотках.

Замполит поздравляет новичков с прибытием и держит короткую речь о том, что они отныне будут служить в славной десантной дивизии, в гвардейском противотанковом дивизионе, станут истребителями танков и разной другой фашистской нечисти. Он говорит, что дивизион имеет отличное оружие и мощные быстроходные тягачи. Это совсем не то, что старая артиллерия на конной тяге. "Но главное, - продолжает он, - у нас прекрасные бойцы и командиры, знающие свое дело и испытанные во многих боях". Мы рады принять их, новичков, в свою дружную фронтовую семью. А им, нашим новым товарищам, нужно приложить все силы, чтобы оправдать доверие командования и всего советского народа, которые ждут от нас честного исполнения долга по разгрому ненавистного врага. Еще немного, и мы ворвемся в логово фашистского зверя и уничтожим его в собственной берлоге. Таковы заключительные слова речи.

Замполит произносит здравицу в честь Родины и Верховного главнокомандующего, после чего следует не очень строгое "Ура!".

Начальник штаба объявляет часовой перерыв и сообщает, что с сегодняшнего дня мы снова будем получать горячую пищу из своей дивизионной кухни. Пока во дворе штаба кормят пополнение, Макухин распределяет новоприбывших по батареям.

Я отправляю Никитина для присмотра за домом в качестве дневального по батарее, а сам погружаюсь в многочисленные дела.

Все понеслось-поехало по накатанной дорожке. Без задержки начались занятия и приведение материальной части в порядок. Мы "зацепили" пушки и выехали за город. Батарея разделилась повзводно, и офицеры - Волосов и Пирья - приступили к выполнению "учебного плана".

В мою батарею попало пять артиллеристов, а взамен Ковалева Макухин дал опытного наводчика, бывшего учителя из Узбекистана Хайруллу Керимбекова.

...Потом мы с ним подружились. Я храню его карточку с трогательной надписью и приглашением в гости, в город Чимкент...

Занятия продолжаются. Я, как положено комбату, перехожу от расчета к расчету, наблюдаю, делаю замечания, даю советы. Поначалу дело не ладится. Солдаты не вникают в суть, отвлекаются, думают о чем-то своем, постороннем. Однако постепенно удается увлечь их. Я и сам увлекаюсь, чувствую себя на месте. Проходит немного времени, и все втягиваются в работу, разогреваются, начинают проявлять интерес к делу, поворачиваются живее. К концу дня уже заметны кое-какие достижения. Главное - исчезли равнодушие и растерянность. Чужие поначалу люди стали присматриваться и привыкать друг к другу.

В морозном воздухе раздаются привычные команды: "К бою!", "Танки справа!", "Танки слева!", "Танки на батарее!", "Прицел десять!", "Бронебойным!", "Огонь!"...

Новичкам предстоит многому научиться, ко многому привыкнуть: к физическим и душевным перегрузкам, к состоянию постоянной готовности - к прямой наводке.

Все наладится, свой долг мы выполним.

Ближе к вечеру прибывает кухня, и жизнерадостный Ковалев с шутками-прибаутками кормит нас перловым супом и пшенной кашей с мясом. Обедаем по-походному - на станинах пушек и у тягачей.

Поступает новый приказ: "Получить в боепитании полбыка!"

"Бык", точнее, БК - боевой комплект, - то есть полагающийся на каждое орудие набор снарядов для боя. Посылаю в боепитание два тягача и Батурина с двумя солдатами.

Быстро, незаметно проходит этот день, наполненный нужными делами и непрерывным движением. Хороший день. Я сказал бы даже - приятный день. Потому что приятно видеть плоды трудов своих - рождение новой батареи.

Возвращаемся поздно, уже с зажженными фарами. У "нашего" дома подбегает Алимов и докладывает, что "хата" для первого взвода готова - вот она, недалеко.

Я подзываю Волосова:

- Лейтенант! Веди свой взвод, устраивайся. Старшина пока побудет с тобой. Я остаюсь со вторым взводом. Связь со мной посыльными. Проследи, чтобы часовые были на местах и машины готовы к движению в любой момент! Учти, за новичками нужен глаз!

- Есть! Все понял, - отвечает Волосов. - Поехали, старшина.

Пушки второго взвода загнали во двор. Солдаты разгружают машины, а я захожу "к себе". В доме тепло и уютно. Никитин и телефонисты на месте.

Через несколько минут дом наполняется солдатским гомоном и движением. Потеснились "старики" и приняли шестерых, чужих пока людей, с которыми предстоит делить тяготы, печали, а возможно, и радости предстоящей жизни.

Сегодня мы немного устали, да и за прошлое не отлежались, не отдохнули, не отоспались. Предвкушаем отдых. Заботливый Никитин вовремя вскипятил ведро воды. Устроим чай, пожуем сухари и ляжем спать...

Мои мысли уже о другом - о Еве. Скорее бы увидеть! Отзываю Никитина и спрашиваю, не видел ли он хозяйскую дочку.

- Да, видел ее не так давно и поговорил немного, как умел. Долгожданные слова. Значит, она здесь, не уехала. Не подаю вида, что рад.

- Хороша девушка, комбат! Очень даже хороша!

- А почему Вы так считаете?

- Что красивая, так это у ней на виду. А что культурная да скромная, так по разговору понятно, хоть и плохо по-нашему говорит. Я-то стреляный воробей. Понимаю, что к чему. Очень скромная. Такую обидеть - большой грех.

Похоже, последние слова Никитин адресует на всякий случай мне. Он человек порядочный и прямолинейный, а цель его понятна и благородна. Отвлеченно я вполне сознаю это и даже ценю, но все же немного обидно слышать от него. Обиды я не высказываю:

- Да, конечно. Вы совершенно правы. Я считаю так же.

Потом добавляю: "Схожу к Волосову, проверю новичков. Ночевать вернусь сюда. А вы отдыхайте".

У Волосова все в порядке. Часовой на месте, пароль и отклик знает. В их доме тоже тесно, шумно, накурено. Солдаты укладываются. Алимов предлагает выпить у них чаю. Я провожу ребром ладони по горлу:

- Спасибо. Напился уже.

Вернувшись "домой", докладываю в штаб, что к меня все в порядке.

На сегодня все служебные дела закончены. Наступило мое личное время. Я должен сейчас же увидеть Еву! Решительно иду на хозяйскую сторону. Стучу в дверь их комнаты. Надеюсь, нет, почему-то уверен, что застану ее. На этот раз предчувствие меня не обмануло - за столом, действительно, сидит Ева. Одна. Родителей, слава Богу, нет.

Она встает, идет навстречу, робко протягивает мне руки.

- Ева. Ева... Хорошо, что ты здесь. Я очень хотел тебя видеть. Обнимаю ее и целую в щеки, руки, голову. Она осторожно кладет руки мне

на плечи и прижимается щекой к моим губам. Так, обнявшись, мы долго стоим посреди комнаты. Сердце страшно колотится. Чувствую ее всю: грудь, спину, бедро...

- Я боялся, Ева, что больше не увижу тебя. А ты пришла! Ева! Она горячо шепчет:

- Михав, Михав.

- Это самая большая радость в моей жизни! Я - счастливый человек!

- Я тэж, Михав. Отец очень ругал меня. Раньше никогда так не ругал. Сказал, что я плохо вела себя... с тобой. Нескромно. Так?

- Нет, нет! Ты очень хорошо ведешь себя. Ты - прекрасная девушка. Я не

представлял себе, что на свете могут быть такие. Таких нет и никогда не будет больше!

- Хорошо, что ты говоришь мне такие слова, но ты ошибаешься. Я

обыкновенная. Ты не понимаешь или не видишь. Но я очень рада, что так.

- Я не хочу ничего больше понимать. Знаю одно: мне повезло встретить такое чудо, и я не хочу его потерять!

Крепко обнимаю ее и опять целую:

- Я не хочу никому отдавать тебя, не хочу отпускать... Ева.

- Я понимаю, Михав... Але сюда может зайти ойтец альбо матка. Мне так хорошо с тобой. Я тоже хочу обнимать тебя. Але

мне будет стыдно. Ты хороший человек, я уже знаю. Пойми меня. Не надо так.

- Понимаю... Нам надо поговорить еще, Ева.

Мы садимся рядом. Ее нежную податливую руку я сжимаю в своей руке.

- Когда сегодня тебя не было, какие-то жолнеже, ну, военные, приходили в наш дом. Хорошо, что остался тот старый солдат. Он никого не пустил. Отец сказал, что, возможно, ты оставил его, чтобы меня никто не обидел. Потому что, когда пришло много жолнежей, твой солдат велел мне сидеть у себя в комнате и не выходить во двор. Если так, то мне приятно знать. Ска-жи.

Действительно, Никитина я оставил и для этого тоже.

- Да. Конечно. А больше отец ничего не сказал?

- Он сказал, что тот солдат - добрый человек... А еще, что я должна остерегаться... тебя. Не обижайся. Они любят меня и боятся. Но я тебя совсем не боюсь. Нет.

Она наклоняется ко мне, жмет руку и прижимается к ней щекой.

- Я вижу, Ева... Ты доверчивая, моя девочка...

Я не отпускаю ее руку, она отвечает легким пожатием, это волнует и будоражит.

- Михав, я не хочу, чтобы ты уехал. Не уезжай как-нибудь. Побудь!

- И я не хочу уезжать, Ева. Но мы скоро уедем.

- Куда? Ты знаешь?

- Знаю. На фронт. Но я не хочу потерять тебя. Мы должны обязательно встретиться. Я хочу, чтобы ты была со мной. Тебя не пугает мое предложение?

- Нет, не пугает. Наоборот. Но такая страшная война. Тебя на фронте немцы могут убить. Моего брата они убили... - Она тяжело вздыхает. - Он тоже был офицер, как ты. Я очень его любила. Не хочу, чтобы еще и тебя убили!

- Не надо думать о смерти. Я надеюсь, что останусь жив. Никогда мне так

не хотелось жить, как сейчас. Есть ради чего. Я даже не насмотрелся на тебя! Не убьют меня!

- Мне снился плохой сон. У меня предчувствие. Ужасное. Может быть, ты зостанешься как-нибудь? Мы будем вместе и будем тогда счастливы.

- Нет! Дезертиром я не буду! Это позор, ганьба - хуже смерти. Мне было бы противно жить. Ты сама презирала бы меня. Не будем больше об этом говорить никогда!

- Что же я могу сделать для тебя? Я буду молиться о тебе.

- Разве об атеистах молятся? Просто помни обо мне и жди.

- Але ж я католичка. Я верю в Бога и в молитву верю.

- Я уважаю твои убеждения, хотя мне многое непонятно. Я раньше не задумывался. А теперь подумаю о Боге. Он ведь один для всех людей! Мы как бы его дети. Может, это он устроил нашу встречу? Может, благословил и хочет, чтобы мы были счастливы? Ева, знаешь, еще немного, и я тоже начну верить в Бога.

Ева встает и протягивает мне руки, печальная и прекрасная.

- Ты стал мне близкий человек. Потому что мы одинаково думаем и чувствуем.

- Понимаю. Да, мы одинаково чувствуем.

Она кладет мне голову на плечо. Я касаюсь губами ее волос, а ладонью -щеки и всеми своими клетками ощущаю нежность, доверчивость и беззащитность этой девочки. Она ищет во мне опору и защиту. А что я могу дать?

Открывается дверь. На пороге стоит бледная и, мне кажется, заплаканная пани Мария. Она протягивает Еве Пушкина и, глядя в сторону, дрожащим голосом говорит, что книгу нужно возвратить.

Тягостно видеть страдающую старую женщину. Она, видимо, потрясена, на ее глазах гибнет безрассудная дочь, единственная, любимая.

Ева молча передает мне книгу, выходит с матерью из комнаты, а я сажусь за стол и машинально перелистываю страницы. Опять перед глазами знакомые, щемящие стихи...

Хотел бы я, как Будрыс, дожить до старости, иметь сыновей и когда-нибудь в прекрасное мирное время рассказать им, сидя на пороге своего дома, о той давней, полузабытой, то есть об этой, войне, о себе, о моей Еве - их матери:

Был я, дети, моложе,
В Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку.
Вот уж век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку...

Суждено ли дожить до того далекого времени? Будет ли кому-нибудь интересна та далекая война и моя жизнь? Нужно ли вообще рассказывать об этом?..

Я поднимаюсь из-за стола. Уже ночь. Наступит новый день, и, может быть,

что-то изменится к лучшему. Уходить не хочется. Такой желанный, необходимый разговор прервался на полуслове... Приди, Ева. Я жду тебя. Я надеюсь!

И она приходит. На глазах блестят слезы:

- Извини, Михав. Родители очень недовольны, что я остаюсь с тобой. Они требуют, чтобы я сейчас же вернулась к ним. Уже

поздно. Они любят меня. Жаль их. Не сердись.

- Понимаю и не сержусь. Я очень благодарен тебе, Ева, за все, что ты уже дала мне. Я никогда не забуду тебя. Во мне, в моем сердце, ты останешься навсегда.

Она как-то виновато смотрит на меня, из больших темных глаз скатываются по щекам тяжелые слезы.

- Слушай меня, Ева. Еще идет война. Все может случиться. Я прошу только об одном. Подожди меня до конца войны и еще три месяца. Если я останусь жив, обязательно вернусь к тебе. Я тебе еще не все сказал. Многого не сказал. А пока пусть на душе у тебя будет ясно и спокойно. Обещаю - я вернусь к тебе!

- Я буду ждать тебя, Михав! Клянусь тебе - буду! Найди меня! А что хотел сказать потом, скажи сейчас. Мне легче будет жить без тебя, ждать и молиться. Я тебя тоже не забуду никогда!

Я крепко обнимаю ее, целую в губы так, что наше дыхание прерывается.

- Я полюбил тебя, Ева, как только увидел. Вот что хотел сказать. Я люблю тебя! После войны, когда мы встретимся, я буду просить тебя стать моей женой. Не говори мне ничего и ничего не обещай. Не торопись. У тебя еще много времени. Жаль, что ничего не могу сделать для тебя сейчас. Но знай, что ради тебя я готов отдать жизнь. С радостью.

- Ты мне уже очень много дал. Я поняла, цо то ест любовь. Я не знала этого. А теперь знаю, и я счастлива. Ты дал мне любовь, и я даю тебе свою. Верь мне - я буду ждать тебя. Я бэндже чекачь!

Она всем телом прижимается ко мне, целует в губы и тихо плачет. Мне бесконечно жаль ее, такую беззащитную и прекрасную, и все же я осторожно отстраняюсь, вывожу ее из комнаты к лестнице.

- Иди. Завтра будет день, и мы еще поговорим. Тебя ждут.

Провожаю ее взглядом, затаив дыхание, пока она, печально опустив плечи, медленно поднимается по скрипучим ступеням.

% % %

Двери из нашей комнаты и из кухни открыты. Все наполнено сопением, кряхтением, крепким духом махорки, портянок, пота. Никитин с Кирилловым бодрствуют: сидят за кухонным столом и о чем-то тихо разговаривают, остальные спят. Я еще взбудоражен, на губах не просохли соленые Евины слезы. Закуриваю и, накинув на плечи полушубок, выхожу во двор.

Тихо, морозно. Похрустывает снег под ногами часового. Я еще чувствую себя в объятиях любимой юной женщины. Меня переполняют радость и печаль. Смятение чувств. Она плакала от любви, от предстоящего расставания, от мрачных предчувствий.

Вот он, мой звездный час, и время решений. Вот оно,

необходимое прозрение: обладание любимой женщиной - высшая награда, главное воздаяние за всю прошедшую и предстоящую жизнь. Ни власть, ни слава, ни богатство, ничто не может дать любящему мужчине более полного ощущения счастья. Это было еще не совсем ясное понимание сущности, смысла жизни, но только интуитивное ощущение истинности состоявшегося прозрения.

Как же совместить обязательства с желаниями? Возможен ли компромисс, и не является ли он поражением? Вот недоступная, не воспринимаемая мною высшая мудрость жизни. Возможно ли совместить счастье и долг?

Оказывается, я, как поставленный на рельсы вагон, - свернуть никуда не могу. Только по рельсам, только вперед, только по предуказанному кем-то пути. Лишь случайность или решительный поступок могут помочь мне свернуть с заданного пути. А каковы возможные последствия, - предугадать очень трудно. Это под силу лишь мудрецам, не мне.

Говорят, человек - сам кузнец своего счастья. Думай, думай! Не ожидай новых подарков судьбы. Ты уже получил высший приз, получил больше, чем

заслуживаешь. Теперь у тебя одна цель: не упусти, сбереги для себя Еву!..

Не могу унять волнение, потому что трудно смириться с ощущением

неизбежности.

Смотрю на небо. Там все ясно, спокойно. Холодно и равнодушно сияют звезды. Как вчера, как в дни моего детства, как испокон веков. Куда-то среди этих бесчисленных звезд несется во мраке Вселенной наша затерявшаяся планета. Сколько жизней промелькнуло на ней? Сколько войн? Сколько безвременных смертей и разбитых судеб?..

Нужно взять себя в руки. Не мы с Евой первые, не мы последние. Войны были и будут. Женщины ждали, ждут и будут ждать своих мужчин... Не все дожидаются. Несовершенный мир! Жестокий мир! Прекрасный мир!

Возьми себя в руки. Держись! Думай! Напиши завтра Еве большое письмо.

Пусть оно останется с ней навсегда. Как зримое свидетельство моей любви. Что бы с нами ни случилось. И если мы проживем вместе долгую и счастливую жизнь, и, если Ева останется одна, без меня. Пусть вспомнит, что я жил и любил. И пусть те, кто будет после нас, знают, что мы жили. Что мы любили, что были по-настоящему счастливы. Пусть даже это счастье длилось всего два дня. Пусть знают, что ничего лучшего в

этом мире нет и быть не может. Ничего!

Возвращаюсь в дом и, осторожно переступая через ноги спящих, пробираюсь к дивану. Достаю свою полевую сумку, нахожу блокнотные листки, складываю два треугольника и вывожу на каждом из них свой адрес: "Полевая почта 31040". На всякий случай. "Запас карман не тянет и есть не просит", - говорит в таких случаях Никитин. Потом на первой странице Пушкина пишу адрес своей сестры. Может быть, Ева напишет ей. А мои родители теперь где-то в пути. Большое письмо Еве напишу завтра. Уже поздно.

Ложусь. Накрываю по привычке лицо шапкой и не замечаю, как приходит сон.

Вскакиваю от неожиданного толчка. Меня трясет за плечо телефонист:

- Комбат! Комбат! Из штаба! Срочно зовут!

Хватаю ремень с пистолетом, вскакиваю в сапоги и пробираюсь к телефону.

- Слушаю!

Голос командира дивизиона, хриплый, резкий:

- Тревога! Сверь часы... Сейчас шесть двадцать. В шесть сорок пять батарею к штабу! В полной боевой готовности!

- Есть! Понял, - отвечаю я.

Как удар в лицо. Кровь застучала в висках. Неужели уходим насовсем?

Последняя надежда: может быть, все-таки это не боевая тревога, а учебная? Поэтому я решаюсь задать, в общем, неуместный вопрос, как соломина утопающему:

- Товарищ первый, связь снимать?

- Без лишних слов! Снимай и действуй, как положено! Все!

Еще вчера мне казалось, что готов к этому. Но нет, такой внезапной тоски не представлял. Вот и конец. Несколько секунд стою неподвижно, прихожу в себя.

Потом кричу во весь голос:

- Тревога! Боевая тревога! Подъем! Младший лейтенант, ко мне!

И уже потише, чтобы телефонисты тоже уяснили и завелись:

- Боевая тревога! Телефонисты! Связь снимать и - в штаб!

Замечаю, как мгновенно вскакивает Батурин и, еще не раскрыв глаза, орет:

- Кончай ночевать! Вылетай стрелой!

Подходит Пирья, заспанный, взлохмаченный.

- Младший лейтенант! Через двадцать минут взвод должен быть на улице, пушки - на крюках! Особо проверь новичков! Чтоб ничего не растеряли.Действуй!

Никитин уже стоит рядом. Одет, карабин за спиной. Все слышал и понял.

- Мне идти, комбат? - упреждает он меня.

- Конечно. В шесть сорок пять Волосов должен быть здесь! Алимов пусть там побудет. Присмотрит за новичками. Бегите.

В доме все уже ходит ходуном. Выбегают, одеваясь на ходу, Ковтун и Си-дельников - будут прогревать моторы. Солдаты торопливо собирают пожитки, натягивают шинели, хватают оружие, прицелы, ведра, мешки, брезент и один за другим выбегают из дома. Дел у всех хватает. Телефонисты отключились, унесли аппарат и побежали сматывать линию.

Я полностью готов: одет, сумка на боку, вещмешок и одеяло бросил на диван, - чтобы солдаты не затоптали. Никитин потом подберет. Уже последние солдаты выскочили во двор. Будут укладывать имущество в кузова и выкатывать пушки.

Я могу оставить себе пять драгоценных минут. Не для радости. Для прощания, для расставания, для последних слов.

Быстро, перепрыгивая через ступеньки, вылетаю наверх, к хозяевам. Сильно стучу в дверь. Проходит несколько томительных мгновений.

За дверью тихий, дрожащий голос хозяина:

- Кто то ест?

- Пан Богдан, откройте! Мы уходим!

Хозяин медленно открывает скрипучую дверь. Он испуган, не одет, кутается в пальто.

- Мы уезжаем. Совсем. Через десять минут можете закрывать дом. Я прощаюсь с вами. Если что-то было не так, - извините.

Из-за его спины в распахнутом халатике выскакивает Ева. Она все поняла. Бросается ко мне, крепко обнимает теплыми руками мою шею и прижимается губами к щеке. Ее отец изумленно смотрит на нас. Рядом - хозяйка, растрепанная, растерянная, - подняла и сложила на груди морщинистые руки.

- Ева, - тихо говорю я, - вот тебе два письма. Свой адрес я уже написал, полевую почту. Напиши хоть одно слово, сложи вот так и как-нибудь отправляй. Твой адрес я

знаю, но мои письма могут к тебе не попасть. Цензура. Свой адрес на письме не пиши! На всякий случай. Все, что я сказал тебе вчера, -все правда! Жди меня. Буду жив - обязательно вернусь и найду тебя, Ева. Ева, девочка моя любимая... Возьми на память обо мне эту книгу. Больше у меня ничего нет... Хотел подарить тебе счастье... Ну вот...

Я крепко обнимаю Еву, решительно целую в губы и тихо, чтоб не слышали родители, шепчу никому больше и никогда не сказанные слова любви. Ее огромные, полные слез глаза смотрят

в мои.

- Теперь, любимая, все. Мне пора уходить. Прощай! Прощайте все!

- Не прощай, Михав, не прощай! До видзенья! Вруце! Я бэндже чекачь! Вруце!

Бледный как стенка пан Богдан не выдерживает:

- Ох! Матка Боска Ченстоховська!

Что-то внутри меня обрывается, и я смиряюсь. Легонько отстраняю от себя Еву, мою возлюбленную, мою надежду. И, кажется мне, совершил непоправимое...

Сбегая вниз, слышу скорбный голос:

- Михав, улица Зельона тши! Зельона тши!

- Я помню, Ева! Зеленая три. Я вернусь, Ева!

Выбегаю на крыльцо. Машины тарахтят на малом газу. Солдаты возятся с пушками.

% % %

Сейчас нужно быть в первом взводе. Там новый командир, там почти все -новички.

Спрыгиваю с крыльца и кричу:

- Младший лейтенант!

- Слушаю, комбат!

- Выводи взвод на улицу и жди меня. Я - к Волосову. Ко мне подходит Никитин:

- Комбат, лейтенанту приказ я передал. И Алимову тоже. Все ваше взял.

"Все" означает вещмешок и одеяло.

- Хорошо. Ждите меня здесь.

Бегу к Волосову. Это близко - две минуты бега...

Волосов, подтянутый, спокойный, стоит во дворе, распоряжается. Его солдаты еще не уложились, но машины уже заведены, прогреваются. Он подходит ко мне, руку - к виску:

- Товарищ лейтенант!. Первый взвод готовится к маршу.

Жму руку. Конечно, по тревоге надо собираться быстрее. Новички не успевают. А с тягачами, это главное, все в порядке. Зайков на месте.

- Опаздываете, - говорю я Волосову, - но суетиться не стоит. Подъедете прямо к штабу. Пока буду докладывать, то да се, вы и поспеете. Сам все проверь, а то новички порастеряют. Смотри: панорамы, оружие, инструмент. Но и не тяни! Тревога, она есть тревога.

- Ясно, комбат! Успею.

У меня есть опыт. Когда тревога, пусть даже боевая, объявляется в тылу, всегда бывает в запасе какое-то время. Опоздание не опасно. Не передовая...

На передовой - другое дело. Все зависит от обстановки. Будь начеку и

соображай, когда сниматься с занимаемых позиций! Там время дорого. Почти всегда смену можно немного задержать или ускорить. Там нельзя тянуть время и ждать дополнительных приказов. Но и чрезмерно горячиться не следует - хуже будет.

Внимательно следи за обстановкой, особенно за минометным и артиллерийским огнем. Обычно, как только наша пехота продвинется вперед, немецкий огонь на некоторое время ослабевает, потому что отходят передовые наблюдательные пункты, меняют позиции минометы и полевая артиллерия. Этот момент нужно уловить поточнее. Тут не зевай, не жди особых команд. Сразу двигай батарею вперед, к следующему рубежу. И пехоте больше поможешь, и своих сбережешь.

Некоторым страшно двигаться сразу за пехотой, если специально не гонят. За непонимание или трусость они потом дорого расплачиваются. Все объясняется просто. Через час-другой после прорыва первой линии немцев начнут сниматься наши "тыловики": тяжелая артиллерия, боепитание, санитарный транспорт, штабы. На дорогах, особенно на перекрестках и переправах, возникнут неизбежные пробки, скопления техники и войск. Потому что дороги расквашены снарядами и бомбами, танками и тяжелыми машинами, мосты сорваны, объезды и переправы не оборудованы. А немцы к этому времени успевают передвинуть на новые позиции минометы, артиллерию и наблюдательные пункты, подтянуть резервы. Тогда их огонь резко усиливается, и все замешкавшиеся получают в наказание так называемые "интендантские подарки" от все огневых средств, "на всю катушку".

Понимание реальной обстановки, динамики боя, а также "чувство местности" приходит в деле, в бою, не сразу. В училище на занятиях по тактике о многом не подозреваешь даже...

Быстрым шагом возвращаюсь ко второму взводу. Здесь уже все готово. Разворачивается машина Батурина. Слышу его голос:

- Лево руля! Прямо! Сдавай понемногу, Ковтун. Стой, дура!

Два солдата - на колесах. Бадейкин повис на стволе, помогая Батурину поднять станины и зацепить их за крюк тягача.

- Навались на колеса! Дружно! - кричит Батурин. - Несмелым не достанется! А ты, елдаш, - обращается он к новому наводчику Хафизу Габидуллину, -прицел из рук не выпускай! Дура! Не расколи! Не то - голову расколю!

Вот и зацепили пушку.

- Пошел вперед, Ковтун! Потихоньку. Чего газуешь, дура!

Я медленно шагаю впереди машины. Меня обгоняет Бадейкин

и открывает ворота. Прохожу на улицу. За спиной Батурин кричит:

- Пушку попридержи! Обходи сзади, как начальников. Не лезь под колеса -задавит.

Батурин выезжает на дорогу. Его орудие третье. Через минуту к нему пристраивается четвертое - там Пирья. Подходит Никитин: "С кем поедете, комбат?" Вообще, мое место на марше - в первом взводе, с первым расчетом, там будет и Никитин. Но это потом, когда подойдет Волосов. "Садитесь к Батурину", - отвечаю Никитину.

Смотрю на часы: шесть пятьдесят пять. Волосова нет. Ждать больше нельзя.

Командую: "По машинам!" - и машу поднятой рукой вперед - "За мной!".

К штабу подъезжаем в семь ноль-ноль. Справа подходит первая батарея. Надо поторапливаться. Иду в штаб. Докладываю командиру о прибытии.

- Опаздываешь!

Тут подходит с докладом Романов, и мне можно промолчать.

Оказывается, все уже в сборе: зам. по строевой, замполит, помпотех, командиры батарей. Мы стоим вдоль стены в большой комнате штаба. Командир ставит задачу. Он называет пункт сосредоточения. Это еще тыл, до передовой десять километров.

Защемило сердце. В Величку дивизион уже не вернется. А когда я вернусь сюда? Вернусь ли когда-нибудь? Увижу ли тебя, Ева? Обниму ли?

Командир продолжает объяснять задачу: прибыть надо к 19 часам, а ходу всего три часа. Выезжаем раньше, чтобы поднатаскать в поле новичков, отработать взаимодействие. Проведем полевые занятия. Стрелковые полки будут переброшены к фронту попозже нашим армейским автобатальоном. Вот и все.

Потом командир спрашивает каждого из нас, командиров батарей, начиная почему-то с меня: "Как отдохнули? Какое впечатление о пополнении?" Я отвечаю, что отдохнули нормально, что пополнение неплохое, что нужно провести еще стрельбы, что многого не успел, конечно; времени было мало.

Я не раз убеждался - наш майор обо всем, что происходит в батарее, всегда осведомлен до мельчайших подробностей. Кто-то его подробно информирует, и я уже начинаю догадываться, кто именно. Вот и сейчас мне кажется, что он хитро улыбается, глядя на меня, а в его словах скрыт тайный смысл:

- Говоришь, не успел все сделать? По молодости лет простительно. Учись успевать в отведенное время. Кто время не

ценит, тот в жизни много теряет. Понял?

Молчу. В чем-то он, может, прав. Но мои личные дела никого не касаются.

- Ладно, нос не вешай. Перемелется.

Другие командиры батарей тоже считают, что нужно провести занятия со стрельбами и устроить баню. Командир подводит итог:

- Скорее всего, времени на занятия у нас больше не будет. Ну, день, два. Обстановка не позволяет. Немцам нельзя давать передышку. Батареи будем учить на ходу. Все!

Он с минуту смотрит куда-то вдаль, сквозь нас, потом решительно заканчивает:

- Пора, братцы, выступаем. Завтрак - на первом привале. По местам!

Мы выходим на площадь. Вижу, мой первый взвод уже подошел. Солдаты толкутся у машин и пушек. Озябли, курят для "сугреву", пританцовывают, хлопают друг друга по спинам. Нужно думать о деле, и я упорно гоню от себя другие мысли, а в ушах звенит скорбный голос: "Не прощай, Михав! Вруце! Я бэндже чекачь!"

Подзываю Волосова, Пирью, Алимова, сообщаю им задачу и порядок

следования. Предупреждаю, чтобы расчеты в любую минуту были готовы развернуть орудия к бою, чтобы сами на марше не дремали, а внимательно следили за местностью, выбирали по ходу движения удобные огневые позиции и прочее, прочее, - как положено в боевой обстановке. По пути будут учения. Алимову советую установить контакт с опытными старшинами первой и третьей батарей.

Затем иду к первому орудию. Там водителем - Зайков. Даю Никитину знак перебираться ко мне. Жизнь начинает входить в привычную походную колею...

А мысли улетают туда, на улицу Зеленую, к Еве. И душа рвется к ней!

Из штаба выходит командир, за ним начальник штаба и остальные офицеры. Командир отбрасывает недокуренную папиросу и командует:

- По машинам!

Правой рукой он делает несколько круговых движений перед собой. Это

команда: "Заводи!". Однако все моторы давно уже "шурхают" на малом газу, на холостых оборотах. Через минуту он кричит: "Пошел!" - и трогает свой "виллис". Следом начинает катиться и набирает скорость батарея Романова, а за ней - мы.

Морозец, зябко, ветрено. На темном небе сквозь разрывы в облаках просвечивает луна. Не могу представить себе, что делает Ева. Я только что ранен и сгоряча еще не чувствую этого, не представляю себе ожидающей муки. Потом на привалах, в минуты затишья, в других краях, в чужих домах придут боль и тоска по Еве. Надолго ли? Быть может, на всю мою жизнь...

% % %

Позади, на горизонте, только еще угадывается бледная розоватая полоса рассвета. Уплыли назад площадь, улица Зеленая, "наш" дом. Побежали

придорожные кусты, столбы в клочьях оборванных проводов, последние дома. Выезжаем за окраину.

Уходят все дальше, отлетают в вечность минуты прощания с Евой...

Мы движемся к Кракову. Обгоняем тяжелые гаубицы на тракторах. Впереди бегут к фронту "катюши", а навстречу нам - две санлетучки.

Дорога разбита: щебенка, комья мерзлой земли, колдобины, следы танковых траков.

Становится немного светлее. Догоняем небольшую колонну пехоты. Солдаты не соблюдают, конечно, строя, не на параде ведь.

Когда мы поравняемся с усталыми, навьюченными пехотинцами, кто-то из наших "стариков" обязательно прокричит: "Не пыли, пехота!" Какая там пыль?

Традиция. И обязательно найдется пехотонец, который в ответ огрызнется: "Прощай, Родина!" Так называли наши сорокапятки, а теперь - и трехдюймовки.

Пехотинец может выразиться иначе:

- Эй, бог войны! Ствол у тебя длинный, да жизнь коротка!

Иногда солдаты обмениваются другими столь же безобидными, хотя и менее приличными любезностями.

Медленно обходим остановившуюся у кювета, на самой кромке дороги,

зенитную батарею. Одна из зениток перекрыла половину проезжей части, видимо, занесло. Что случилось с зениткой, сразу не разберешь. Похоже, отвалилось колесо.

Оказывается, батарея женская. Около пушек в мешковатых солдатских шинелях переминаются довольно угрюмые, поникшие женщины. Видно, что они очень замерзли, лица позеленели, многие сморкаются, хлюпают носами, не стесняясь.

Мы очень медленно проезжаем совсем рядом. Зенитчицы хмуро провожают нас, не проявляя никакого интереса. У сломанной зенитки курят два немолодых офицера.

Среди наших солдат оживление. Кто-то, пытаясь задеть и расшевелить девушек, кричит: "Рама! Воздух! Ложись! Ха-ха-ха!" На эти мимолетные заигрывания зенитчицы не реагируют. Им не до того.

Зайков тоже не остается равнодушным. Он широко улыбается и говорит мне:

- Эх, надо бы мне из госпиталя проситься в такую бабью часть. Им шофера нужны. Не жизнь была бы - малина! Во сколько бесхозных девок пропадает зря!

- Почему же не просился?

- Да глупый был, как салага. Сам не допер, и никто не надоумил.

Вид этих измученных, продрогших зенитчиц вызывает во мне жалость. Не

должны женщины стрелять - это противоестественно.

Закрываю глаза и явственно слышу:" Не прощай! Вруце! Я бэндже чекачь!" Вздрагиваю и невольно оборачиваюсь. Зенитчицы уже далеко, и кажется

мне, что среди них - Ева. Вот она машет рукой, обещает ждать.

Отдых закончился. Прожиты еще два дня. Два прекрасных, счастливых дня. Может быть, лучших в моей жизни.

Но вот - их уже нет. Пронеслись и исчезли в бесконечном Времени.

Волна холодного воздуха упруго бьет в лицо и грудь, как бы стремясь унести обратно в этот неумолимо удаляющийся городок, где будет помнить и ждать меня Ева.

Мы уходим все дальше на запад. А на востоке над самым горизонтом разрослась уже светлая полоса нового дня. И этот день пройдет. И другие дни пронесутся и канут в Вечность. И так без конца. День за днем.

Что случилось и что еще случится, - все изгладится из памяти, порастет травой, превратится в прах. Все, - только не Ева.

Со мной навсегда останутся сияние ее глаз, теплота зовущего голоса,

дурманящий запах волос, обаяние улыбки, нежность рук... Этого я не забуду...

П Р О Щ А Й, З Н А М Я !

Война заканчивается. Как же мне везет! Я жив и не был даже по-настоящему ранен. Продержаться бы еще немного. Тогда... Стоп! Начинаешь мечтать, и страх змеей вползает в сердце, заставляя вздрагивать при каждом близком выстреле или разрыве. Не думать о конце войны, не грезить о мире! Все еще может случиться...

Сегодня, 1-го мая 1945 года, мы войдем в Моравскую Остраву. Вот он, этот большой красивый город в долине под нами... Солнце взошло над зеленой горой и осветило дома, улицы, площади и всю сказочную красоту вокруг.

Командир батареи старший лейтенант Дмитриев командует:

- Батарея, отбой! Снимаемся!

Восемь трехдюймовок ЗИС-3, восемь тягачей "додж 3/4" и полсотни солдат - вот что осталось от нашего противотанкового дивизиона. Четыре пушки и тридцать солдат мы потеряли недавно на переправе через Одер. Потери сравнительно небольшие.

Красная Армия уже в Берлине. Здесь, в Чехословакии, наш 4-ый Украинский фронт тоже наступает. Мы преодолели Карпаты и добрались уже до Ост-равы. Еще чуть-чуть - завладеем и Прагой. А там... В Польше ждет меня Ева! Она следит за сводками с фронта, считает дни и надеется на встречу. Когда мы встретимся, начнется другая, новая, счастливая жизнь! Это время близко... Стоп! Не думать!

Спускаемся в город по хорошо укатанному грейдеру. Впереди колонны на "виллисе" - наш командир майор Кузнецов, Федя, как по-свойски и вместе с тем уважительно называют его за глаза солдаты. Близость Победы определенно сказалась на поведении Феди: он стал разговорчивей, все чаще появляется в весьма заметном подпитии и излишне многословно разъясняет офицерам необходимость поддержания строгой дисциплины.

Вчера в порыве откровенности он сказал нам:

- Надоело, понимаешь, осторожничать! Хватит прятать свое знамя в штабе дивизии. Сколько можно? Немцы уже вовсю драпают. Значит, теперь нам нужно въезжать в города под развернутым флагом! Пусть все видят, что русские побеждают красиво.

...На душе радостно и немного тревожно от внезапно наступившей тишины, от ослепительного солнца, от яркой молодой листвы, от предвкушения близкой Победы и чего-то важного, необычного, долгожданного.

Улицы Остравы безлюдны, ни души. Пехоты не видно. Мы движемся медленно, часто останавливаемся. Командир читает таблички на домах и сверяется с картой. За поворотом улица обрывается - впереди пустырь. За пустырем, метрах в трехстах, у дороги - новенький, добротный двухэтажный кирпичный коттедж, окруженный молодым садом.

Не успел командирский "виллис" проехать несколько метров за крайний дом, как раздался резкий, до боли знакомый двойной удар: выстрел-разрыв! Так бьет танковая пушка. "Виллис"

крутанулся на 180 градусов и возвратился под прикрытие дома. Водитель у командира - ас. Наши тягачи с пушками, к счастью, не успели высунуться, а то быть беде!

Командиры батарей подбежали к майору - будут совещаться: что делать?

Надо как-то отвлечь внимание танка, чтобы развернуть к бою наши

сгрудившиеся за домом пушки. Нужна отвлекающая приманка. Кому-то выпадет билет...

Ко мне подбежал Дмитриев:

- Быстро давай к майору!

- Товарищ майор! По вашему приказанию...

- Слушай задачу! перебивает меня Федя. - Выдвигай свой взвод вон к тому красному кирпичному домику, что у дороги, - он машет рукой в сторону коттеджа, - и сразу открывай огонь по близким целям. Какие заметишь. Мы тебя прикроем. Действуй!

Мог бы сказать откровенней: "Отвлеки немцев на себя!" Не знаю, был ли другой способ отвлечь немцев и почему выбор пал именно на меня. Делать нечего. Приказ.

Дмитриев добавляет: "Сначала сам разведай, потом вызывай взвод! Быстро!"

Совсем рядом, на дороге, по которой предстоит бежать, рванул танковый снаряд.

- Воловик! За мной! - кричу я командиру орудия - и кидаюсь без оглядки вперед.

За нами наблюдает весь дивизион: проскочим или нас снесут? Короткий удар, мы падаем. Немцы всадили снаряд позади нас; он срикошетировал и с жутким визгом перелетел над головой. Немцы ошиблись: вместо осколочного стрельнули впопыхах бронебойным. Как повезло! В рубашке родился.

Оглядываюсь и вижу, как первая батарея выкатывает пушки за угол; подносчики тащут снаряды...

Мы вскакиваем и снова бежим изо всех сил. Быстрее, быстрее! Вот калитка. Выбиваю ее плечом, и мы влетаем во двор. Дом каменный - хорошая защита. Фу ты! Слава Богу, пронесло!

Романов открыл огонь - отвлек немцев от нас. Танк умолк. Отошел либо подбит, отсюда не вижу. Нужно быстро осмотреться, выбрать позицию, и я командую:

- Воловик, беги за взводом! Не бойся. Теперь немцам не до тебя. Держу пистолет на взводе и долго колочу сапогом по двери. Наконец за дверью послышалось какое-то неясное бормотание.

- Выходи! Открывай! Быстро! Немцы есть?

Только в этот момент сверкнула мысль: а может быть, там немцы? А может быть, их много? Не отобьюсь ведь. Вот дурак!

Надо бы взять троих, да с автоматами. Почему и Дмитриев, и Федя вообще посылали меня одного? Воловика я взял по инерции, по собственной инициативе. Они не хотели никем другим рисковать?

...Поразмыслил я об этом, сопоставляя многочисленные подобные эпизоды моей фронтовой жизни, лишь много лет спустя, когда повзрослел и немного поумнел...

Жду под дверью, и пистолет подрагивает в руке. Томительно тянутся секунды. Наконец дверь приоткрывается. Кто-то смотрит в образовавшийся просвет и вдруг неожиданно громко кричит:

- Немцов нема! Нема! Руски пришли! Руски! Червена Армада!

Резко распахнув дверь, на крыльцо выскакивает заросший, возбужденный мужчина.

- Говори, где немцы? - непроизвольно тычу я в него пистолетом.

Он забегает за угол коттеджа и показывает: "Вон в том доме под зеленой крышей вечером было много немцев. Это дом моего брата. Там были пушки". Он тянет руки к небу: "Пу-пу!" Понятно: там стояла зенитная батарея. Одно зенитное орудие могло бы сейчас разнести этот дом в щепки. Внимательно смотрю, но ничего подозрительного во дворе, где вчера стояли зенитки, не замечаю. Может, там

какие-то немцы еще остались, притаились? Приказ надо выполнять: побыстрее открыть огонь по ближним целям!

Через минуту из дома вылетает радостная, смеющаяся женщина:

- Ото символичне! Символичне! Первый май, и руски пришли!

Тягач с пушкой, повалив ворота, калитку и забор, въезжает во двор, за ним - второй тягач. Я показываю командирам орудий позиции - рядом с домом. Стрельбе мешают молодые яблони. "Вали деревья! К бою!" - кричу я.

- Прицел 10! Фугасным! Под зеленую крышу! Два снаряда! Беглый! Огонь!

Цель близкая, большая, неподвижная - пристрелка не нужна. Бьем точно. Два залпа. Четыре прямых попадания. Пыль, дым. Разворотили угол дома, завалили крышу.

В "нашем" коттедже со звоном посыпались оконные стекла. Если бы чехи открыли окна, то сохранили бы стекла. Жаль, что забыл предупредить их.

Неприятно.

Подбегает хозяин:

- Пан офицер! Не убивайте брата и его детей! Не стреляйте туда! Никаких признаков присутствия немцев не замечаю.

Возможно, они давно убежали. Ах, наивный, простодушный чех! Сам напросился, не подумал. И я хорош гусь поторопился. Впрочем, у меня приказ: "Обстрелять ближние цели! Отвлечь немцев!"

Выбираю для обстрела другой объект: высокую башню на противоположной окраине города. Единственный аргумент: оттуда в принципе удобно наблюдать за нами. Поэтому немцы могли бы устроить в той башне наблюдательный пункт. Снарядов не жалко, война кончается. Четыре залпа - два прямых попадания. Все. Отбой!..

Появился Дмитриев:

- Что тут у тебя?

- Обстрелял дом. Там вчера стояла зенитная батарея. На всякий случай. Немцев нет.

- Ладно. Драпанули, значит, фрицы.

Хозяева, несмотря на причиненный им нашей стрельбой ущерб, радушны. Они угощают нас вином, свежим вкусным белым хлебом, яйцами...

Хозяйка с дочками и соседями ушла в город - не терпелось узнать, что

происходит в центре, хотелось побыть с народом. К вечеру все вернулись в полном восторге и рассказали, что в городском парке было устроено большое торжество: оркестр играл "Червене а бяле", народ веселился, танцевал и пел.

Таких проявлений радости и восторга мне не приходилось видеть ни на Украине, ни в Польше, ни тем более в Венгрии. Хозяин попросил нас сфотографироваться с его семьей. Мы стали у стены дома: я, Дмитриев, хозяйка и две хорошенькие девочки-подростка.

Утром, когда выводили пушки на дорогу, готовились к маршу и были

поглощены своими обычными заботами, хозяин сунул мне в руку три влажных

листка. Я не сразу даже понял, что это фотокарточки. Снимки маленькие, чуть побольше спичечного коробка, серые, мутноватые. Как будто слякотный осенний вечер, а не яркий весенний день.

Хозяин смущенно улыбается:

- Шпатный фильм (скверная пленка), Шпатный фильм. Извините. Понятно. Где же в войну достать хорошую пленку?

- Спасибо, хозяин! - Я пожал ему руку. - Спасибо. Хо-ро-шо.

Спустя почти шестьдесят лет я с волнением всматриваюсь в то застывшее мгновение юности: первое мая 1945 года на окраине Моравской Остравы.

% % %

Последующие три дня прошли в праздничном угаре. Нас несколько раз

перебрасывали с места на место в окрестностях Остравы. Невольно, но с

удовольствием мы участвовали в многочисленных уличных торжествах с вином и музыкой, - по случаю освобождения от немцев.

В одном селе местные музыканты сыграли для нас "Катюшу" и "Очи черные", чем очень растрогали. А потом каждому улыбающиеся цветущие девушки вручили по незабудке. Девушек обнимали, а они совали нам в руки по маленькому голубому цветку, смеялись и приветливо произносили: "Здравствуй!", а затем и по-чешски - "Наздар!" Как от всего этого не прийти в восторг?!

Наступил по-летнему жаркий день 5-го мая. Накануне вечером прошел дождь. Все вокруг расцвело и благоухало.

Наступление продолжалось. По крутой горной дороге спускаемся в чистенький, уютный городок Фридек. Остановились на главной площади. Посредине площади - здание ратуши, увенчанное башенкой с часами. По обе стороны от ратуши - красивые четырех- и пятиэтажные дома, а напротив торговый центр. Он образован несколькими стоящими вплотную друг к другу магазинами. У магазинов копошатся набежавшие откуда-то солдаты, выносят коробки, узлы, бутылки.

- Шмонай, братцы! Можно! Давай быстрей! - кричат "отоварившиеся" уже солдаты.

Раньше начальство осуждало открытый грабеж. Но зимой официально объявили и разъяснили: поскольку немецко-фашистские захватчики почти четыре года бесчинствовали на оккупированной территории и вывозили награбленное имущество советского народа в свое логово, то партия и правительство, заботясь о благосостоянии советских граждан, разрешают отправку посылок на Родину по установленным нормам.

Все одобряют это постановление. О нормах же говорить смешно: кто смел тот и съел! Очевидцы рассказывают, что большие начальники и грабят по-крупному, вагонами. Кто-то из наших "управленцев" донес, что Федя отправил родителям свыше ста посылок. Больше всех усердствуют тыловики: интенданты, снабженцы, транспортники...

Поначалу наши "братья-славяне" стыдились. Но вскоре всякий стыд исчез: "Шмонай, раз дозволяют и даже приглашают!"

У магазинов быстро собралась толпа. На площади и во внутреннем дворе торгового центра скопилось много высоких

крепких повозок под тентами. Это застряли беженцы: немцы и фольксдойчи, не успевшие добраться до своего "Фатерланда".

Наши вояки и сбежавшиеся местные жители энергично срывают тенты с

немецких повозок и растаскивают уложенный в них скарб...

Вот старшина-сапер выкатил из магазина сверкающую вишневую "Яву":

- В подвале полно мотоциклов, - говорит он, - бери, кто хочет!

Многие, конечно, хотели бы взять, потому что мотоцикл - прекрасная вещь! Однако это могут себе позволить лишь те, у кого есть транспорт: снабженцы, саперы, генералы.

Солдаты несут в подолах гимнастерок и в обхват бутылки, прижимая их к груди: "Братцы, шнапсу - залейся! Пей - не хочу!"

Сержант Рокотов, из штрафников, бывший капитан и доцент пединститута, прихватил большой черный футляр - аккордеон. Подарит сыну.

Кто-то рядом со мной высадил дверь галантерейного магазина, и я оказался втянутым внутрь. В небольшом торговом зале полутемно, жалюзи опущены. Снаружи солдаты напирают так, что трещит стекло прилавка. Под стеклом бумажники разных размеров и фасонов. Я схватил большой желтый бумажник, приятный на ощупь.

Тут же у прилавка высится горка кожаных чемоданов. Немолодой солдат-пехотинец потянул снизу самый большой чемодан, и горка рухнула. Задние напирают, топчут чемоданы, сумки, зонтики. Я сунул руку в кучу и вытащил

небольшой щегольской коричневый чемоданчик, очень соответствующий

офицерскому званию. Отличная вещь!

С этой добычей не без труда выбираюсь на площадь. Ярко светит солнце, снуют туда-сюда возбужденные, озабоченные люди: военные и гражданские, наши и местные жители.

У самого тротуара работает группа представительных, ухоженных мужчин. Некоторые подозрительно похожи на наспех переодетых офицеров или чиновников. Они под присмотром парней в гражданской одежде, но с винтовками за спиной неумело подметают и без того чистую брусчатку.

Оказывается, чехи уже успели организовать дружину для охраны порядка. Эти дружинники арестовали оказавшихся поблизости немцев и фольксдойчей,

местных и беженцев. Вокруг собралась веселая толпа взбудораженных чехов и наших солдат. Из толпы кто-то нетрезвый кричит:

- Пусть немцы моют площадь тряпками! Мылом, мылом! На

колени их! Толпа наслаждается унижением бывших господ.

Ко мне подходит молодой чех с винтовкой в руке и подзывает высокого, полного, холеного немца в шляпе, пиджаке, при галстуке, в галифе и сапогах:

- Ду! Кам! Шнель! - чех смеется и подмигивает мне.

Мое лицо ни у кого не вызывает сомнений относительно национальной

принадлежности. "Пан офицер! Пусть этот ферфлюхте швайне (проклятая свинья) понесет вашу вализку (чемоданчик).

- Зачем? Чемоданчик легкий, - как дурачок, упираюсь я, не сразу оценив справедливость и воспитательную целесообразность предложения.

- Так нужно. Так будет правильно и хорошо.

Быстро соглашаюсь с чехом и вручаю немцу "вализку".

И вот я не спеша шествую через площадь, а за мной, отстав на шаг, плетется, опустив голову, важный немец с пустым чемоданчиком известного происхождения. Многие смотрят на нас, не понимая происходящего.

В конце площади я останавливаюсь. Немец испуган, на меня старается не смотреть.

Я говорю ему: "Вэг!" (Прочь, вон) и жестом руки отправляю обратно.

Стоящий вдалеке чех, расплываясь в улыбке, кричит во все горло:

- Цурюк! Швайнэ райнэ! Шнэль! Доннер веттер! (Назад! Грязная свинья! Быстро! Черт побери! (нем.)

Зрители довольны, смеются. Многие прикладываются к бутылкам, потом бросают их под ноги немцам. Подвыпившие постепенно распаляются:

- Эй, фриц, убирай стекло! Шевелись, мать твою... Ты - швайн! Гитлеру капут сделали и тебе щас сделаем! Хэндэ хох!

Подхожу к своему тягачу и укладываю свой трофей - чемоданчик - под брезент.

Рядом с нами снуют штабные и санитарные машины, проскакивают груженные добром повозки сметливых обозников. Собралось много местных жителей. Вокруг суета...

Комбат недоволен, конечно:

- Где твои люди? Чтоб через десять минут все были на месте!

Мы с Воловиком возвращаемся на площадь искать отсутствующих. Где их найдешь? Взбираемся на высокое крыльцо ратуши - отсюда виднее. Через двери непрерывно входят и выходят военные и гражданские.

Толстый чех пытается вытащить на крыльцо большое кожаное кресло. Он застрял - в дверях образовалась пробка. Кто-то

изнутри кричит по-русски: "Освободи проход, мародер!" Я подошел, пригнулся, чтобы помочь чеху, и в этот момент поверх моей головы полоснула длинная пулеметная очередь. Вслед за ней - еще одна, правее.

Посыпалась штукатурка, запорошило глаза. Чех ойкнул и осел. Я с креслом повалился на него. Рядом лицом вниз упал солдат, - из черепа потекла кровавая жижа...

Солдаты из автоматов и винтовок открыли ответный огонь по всем без разбора окнам и чердакам высоких домов напротив, но искать стрелявших и прочесывать округу не кинулся никто. Не хочется напрягаться, а тем более рисковать.

Мои люди уже на месте. Проезжающий мимо обозник спрашивает: "Чо, пы-мали, которых стреляли?" Да ведь никто не ловил.

Нетвердой походкой вдоль колонны шагает Федя. Он отрешенно улыбается и машет рукой: "Заводи!" Останавливается на минуту, смотрит на нас нетрезвыми глазами.

- Ну, братцы, победа близко. Враг повержен. Скоро праздник на нашей улице. Но... Нарушать дисциплину нез-зя! Потому что враг еще не добит. Повержен. Да.

Но не добит. Поехали, братцы, добивать врага в его берлоге! Покажем, мать его...

Дорога идет мимо цветущих садов, через аккуратно расчищенный лес.

Поднимаемся на вершину холма. Перед нами - старинный двухэтажный дом. Нет, не дом - дворец. С трех сторон он окружен парком. Перед фасадом большая лужайка. Вдоль ухоженных аллей - цветники, садовые скамейки. Порядок, чистота, красота.

Нашей и первой батареям приказано занять круговую оборону, а третьей -прикрыть танкоопасное направление вдоль дороги. Мы расставили пушки. Солдаты расстелили плащпалатки и одеяла, устраивают "перекур с дремотой". На лужайке обосновалась полевая кухня. Там затопили, развели костер - будут готовить обед. Начальство ушло в дом. Тишина и покой.

После обеда я долго сидел на садовой скамейке, писал письма Еве и сестре.

Начало темнеть. Кое-где на втором этаже засветились раскрытые окна.

Оттуда слышны громкие разговоры, смех. Похоже, в штабе готовится "сабантуй", попросту - пьянка.

Из-за дома вышел старик с зажженным фонарем и проковылял в боковую дверь. В полуподвальном окне появился свет. Я направился туда. Большая, плохо освещенная комната смахивает на подвал. В центре - длинный стол. На старинных

стульях с высокими спинками сидят три старика. В дальнем углу, на диване, прикорнули две пожилые женщины. Одна лежит, другая сидит рядом, откинувшись на спинку дивана.

Я спрашиваю, кто они, чей дом. Моих знаний польского, украинского и немецкого достаточно для разговора. Один из мужчин, плотный, круглолицый, седой, в засаленной куртке, объясняет мне на вполне сносном русском, что это поместье старого немецкого графа, который позавчера бежал.

Они - его работники, прислуга. Женщины убирали в доме, варили. Мужчины же: один - дворник, второй - садовник, а сам он - механик. Были еще остарбайтеры, но они уехали куда-то. Слава Богу, пришли русские, и война вот-вот закончится.

- Где вы научились говорить по-русски?

- Так я жил в Советским Звязке. Завербовался до вас на работу в 29-ом годе. До того был инженер-механик на "Шкоде". Я был комуниста. У нас тогда была сильная безработица, а Советы хорошо платили специалистам. Так я подписал контракт з вами на три года. Потом еще.

- А где вы работали?

- Так я работал на комбинате в Новокузнецке. Это Сибирия, Алтай. Там очень холодно было. Да... Чехословакия продавала вам машины. Ну, разные прессы, прокатные станки, еще чего-нибудь. Я делал шеф-монтаж. За это хорошо платили. А свою семью я воспитывал здесь.

- А что было потом?

- В 35-ом годе я приехал домой в отпуск. В Прагу. У вас тогда начали очень искать шпионов или вредителей. Забыл уже, кого искали. Я побоялся еще раз ехать в Сибирию. Мои товарищи не советовали. Остался в Праге. Работы не было. Управитель графа взял меня механиком. Тут есть хозяйство, машины разные, тракторы, насосы. Разные. Я умею это работать. Потом умерла жена. Пришли немцы. Забрали сына, он тоже был комуниста. Плохо. Теперь доживаю тут. Один.

- Как при немцах жили?

- Было плохо. Фашисты. Но продукты были. Не голодали. Только мыло было дорогое. До войны, за Бенеша, жили хорошо. Да, хорошо.

- Скоро опять будете жить хорошо. Война кончается. Мы скоро уйдем к себе домой.

- Нет, вы не уйдете. Сталин ничего не отдаст. Вот увидите.

Такие же предсказания я уже не раз слышал в Польше. По-видимому, этот коммунист, как и мои польские собеседники, знает больше меня.

В дальнем конце парка, у Романова, еще горел костер. В

графском доме продолжался "сабантуй ".

Я долго сидел на скамейке, курил. Легкие облака время от времени набегали на луну, и тогда становилось очень темно. Клонило ко сну.

Вдруг рядом со мной возник запыхавшийся механик:

- Пан офицер! Прошу! Помоготе! Есть у вас военная полиция? Там ваши солдаты старых женщин захватили! Насилие!

Я крикнул часового казаха Мухамбетова и побежал к дому.

На столе так же тускло горел фонарь. Мужчин уже не было. На диване солдат навалился на женщину и задирает ей юбку на голову, а она жалобно стонет: "Не, пане, не. Прошу. Я старая, хворая".

Рядом на полу другой солдат сопит и злобно рычит: "Ах ты, блядь старая! Кусаться? Убью!"

- Встать! - кричу я сорвавшимся голосом.

Мухамбетов, шахтер из Караганды, здоровенный детина - поправляет автомат за спиной и вытаскивает солдат за шиворот на середину комнаты. Они пьяны, едва держать на ногах, без пилоток, гимнастерки распахнуты, шаровары спущены. Я снимаю с них поясные ремни:

- Вы арестованы! Марш на выход!

Идем к первой батарее, к Романову. Это его солдаты. Романов лежит у костра. Выслушав мое возмущение, он на минуту задумывается и спокойно говорит:

- Чего вы старух хватаете? Молодых вам мало? Ну, герои, мать вашу... Ладно. Лейтенант, свали их здесь на травку. Они лыка не вяжут. Утром разберусь. Но слухи распускать не надо. Не советую. Ну их!

Я кинул солдатские ремни к ногам Романова, и мы с Мухамбетовым ушли.

Просыпаюсь от крика: "Подъем! Тревога! Кончай ночевать! Боевая тревога!"

Вскакиваю. Светает. В долине легкий туман. Сыро. Из дома стремительно выходит начальство, за ним - мой знакомый, старший лейтенант Захаревич, адъютант начальника артиллерии дивизии. Ясно, - привез приказ.

Мы познакомились с Захаревичем в прошлом году, случайно, на марше. Оказалось, - близкие земляки, из одного города. Правда, жили на разных

улицах, учились в разных школах, он старше меня на два класса. Таким знакомством мы дорожим. Земляк на фронте больше чем земляк, - он почти родственник.

Я подскочил к Захаревичу: "Как дела, Аркадий?" Он взволнован и тороплив: "Потом, потом. Хреновые дела!" - крикнул

он и побежал вслед за майором.

Через десять минут мы уже мчались по дороге на Фридек. Проскочили лес и сразу у перекрестка увидели группу офицеров, среди них - генерала, нашего комдива. Поодаль, на обочине - "студебеккер" под тентом и два "виллиса". Рядом - кучка солдат.

Генерал смотрит в бинокль вдоль дороги, на запад. Там, в долине - село. Туман еще не рассеялся. Четко видны только ближние дома. Наш Федя подбегает к генералу, докладывает. Генерал рубит ладонью воздух, что-то втолковывает. Потом зовут нас:

- Всем офицерам, к генералу!

Он сурово смотрит на нас и молчит, как будто не знает, с чего начать, а потом неожиданно тихо говорит:

- Сегодня перед рассветом две штабные машины "студебеккер" вышли из Фридека и по ошибке свернули на эту дорогу, - он показывает на дорогу, ведущую к селу. - В одной машине - шифровальный отдел штаба дивизии. Там секретные документы, карты, шифры. В другой машине - знамя дивизии и вашего дивизиона под охраной комендантского взвода. В этом селе, Водянице, машины попали в засаду. Наши солдаты и офицеры вступили в бой с немцами. Что произошло дальше - неизвестно. В настоящее время все части дивизии - на марше, выполняют полученные ранее приказы, преследуют противника. Немедленно повернуть их невозможно. Совершенно невозможно. Такая ситуация.

Вы знаете, знамя - наша святыня. Нет ничего позорнее потерять знамя! Тем более в наступлении, накануне полной победы!

Товарищи офицеры! Боевые друзья! Спасти знамена - дело чести каждого из вас и каждого солдата. Мы немедленно атакуем село силами вашего дивизиона и взвода, который удалось собрать в последний час. Задача одна: разыскать машины, вынести знамена, документы и спасти людей. Все вы будете награждены. Нашедшего знамена представим к званию "Герой Советского Союза". Все! Времени нет. Остальное скажет ваш командир. Кузнецов, давай!

- Значит, так. Первая и третья батареи разворачиваются прямо здесь. Обстреливают село, начиная с крайних домов. Вторая батарея и взвод Захаревича атакуют село в пешем строю вдоль дороги. На машинах остаются только водители. Остальные - в цепь и вперед! Когда вы овладеете первыми домами, подойдут ваши орудия, и вы подавите огневые точки в глубине села. Тогда первая и третья батареи под вашим прикрытием атакуют центр села. Вот и все. Десять минут - на пополнение боеприпасов к

личному оружию: патроны, гранаты. Получить все... вон, - в "студебеккере", побатарейно. Сначала вторая батарея. Бегом, марш! Дмитриев, действуй!

Солдаты подзарядили автоматы, набили карманы и вещмешки патронами, набрали лимонок и запалов к ним. Кто-то кричит: "Просите индивидуальные пакеты!" Пакетов, увы, нет. О них забыли.

Дмитриев суетится, подгоняет. Решено, что я иду на правом фланге, Захаревич - на левом, а Дмитриев - в центре. Солдаты вполголоса переговариваются: "Штабные придурки вчера перепились "вусмерть" и, понятное дело, -залетели. Уж немцы посмеялись. А нам теперь головы класть. Эх, чуть было не дожили до конца!"

-Дмитриев, кончай возиться! - командует Кузнецов, подходя к нам.

Он внимательно смотрит на тягачи и взрывается:

- Каким это говном забиты боевые машины? Вы что?! Противотанковая батарея или банда мародеров? Разложенцы! Сволочи! Вон все лишнее из машин! В кучу и - сжечь! До последней тряпки! К едрене Фене! Дмитриев, ты у меня загремишь в штрафную! Разжалую, как последнего слюнтяя! Разгильдяй халатный.

И полетела в общую кучу вся наша добыча последних дней: отрезы, ботинки, мой элегантный чемоданчик, аккордеон Рокотова и даже наши давнишние одеяла. Не положено! Командир и замполит подбегают к тягачам и сами выкидывают все лишнее. Только наводчик Катании, самый старый из нас и бывалый, высказал простую, мудрую и утешительную мысль:

- Не жалейте, ребяты. Жизнь дороже барахла. Жизнь, она дороже любых тряпок и этих знамен тоже. Чего тут жалеть?

Майор поостыл немного, глянул на часы:

- Пошел! Вперед, мародеры! Не трусь! Может, фрицы уже и драпанули. Поглядим.

Солнце взошло. Туман в долине рассеялся, и мы пошли цепью, в полный рост вниз кселу по зеленому склону. Я с пистолетом в руке шагаю прямо по дороге, потом схожу в кювет. Так безопаснее. Слева от дороги вижу Бадейки-на, Воловика, Мухамбетова, а подальше - Дмитриева. Мне мешают идти камни и не просохшая еще грязь на дне кювета. Прошагали метров триста. Тихо.

Дальше дорога идет рядом с каменной оградой кладбища. Старая ограда

местами разрушена. Сквозь образовавшиеся прорехи видны могилы, памятники, кресты. Правым плечом почти касаюсь

ограды, голова рядом с каменной стеной. Тревожная тишина. Внутри все напряжено...

Вдруг близко слева оглушительно забил пулемет, затрещали автоматы. Вспучились камни рядом с глазами, брызги мелких осколков полоснули по правой щеке, каменная пыль забила глаза. Я упал, вжался лицом в грязь на дне кювета. Послышались хлопки наших карабинов и короткие автоматные очереди.

Проползаю немного вперед и осторожно осматриваюсь. Слева от дороги, почти рядом, лежит Бадейкин, уткнувшись головой в куст. В центре цепи, где должен находиться Дмитриев, кто-то кричит: "Помогите! Помогите, братцы!" Откуда стреляют немцы, мне не видно - хорошо замаскировались,

Наконец наши пушки открыли огонь по окраине села. Снаряды пролетают низко, настильно, над самыми головами. Кажется, вот-вот заденут. Поднялся, чтобы перебежать дорогу, и в этот же момент пулеметная очередь прочертила линию у самых ног. Значит, немец устроился близко и тщательно наблюдает. Опасно. Я упал, перекатился через дорогу и залег за ближайшим кустиком. Наши пушки накрыли ближние дома и перенесли огонь в глубь села. Слева слышу неясные крики.

Слишком долго лежим - надо вставать! Превозмогая страх, встаю, делаю перебежку. Боковым зрением замечаю, как слева побежали Воловик и Дмитриев. Немцы молчат, и я, уже не сгибаясь, бегу трусцой к ближайшему дому. Размахиваю над головой пистолетом, чтобы свои видели, не ошиблись.

Щека и подбородок саднят. Провел ладонью - кровь и грязь. Чувствуются мелкие осколки камня. Немецкий пулеметчик промазал самую малость. Мне опять повезло.

Крайний дом совсем близко.

- Воловик, дай очередь по окнам! - кричу я.

Гранаты отягощают мои карманы. Надо избавиться. Наши солдаты рядом.

Поэтому кричу: "Ложись, бросаю!" Нажал рычаг, дернул кольцо, бросил, упал. Встал, нажал, дернул, бросил, упал. Два разрыва: одна граната разорвалась около стены, другая - влетела в окно. Ко мне подбегает Дмитриев, удивленно смотрит:

- Ты ранен? Почему кровь на лице?

- Поцарапали осколки камня. Надо бы помыть лицо. Потом. Все в порядке. Комбат, там, я слышал, раненые кричали.

- Да, знаю. Вот наши машины подходят. Возьми одну, осмотри местность. Раненых в санбат отправим, а отставших гони сюда, на батарею!

Решил взять машину Зайкова. Подзываю Рокотова и Бадейкина:

- Скидывайте снаряды и все остальное, кроме брезента. Подберем раненых.

Ясно, немецкий заслон уже отстрелялся и драпанул. Судьба опять была

милостива ко мне. Сейчас наши подберут знамена, секретные бумаги,

шифровальщиков и все остальное. Нас, как обещал генерал, наградят. Жаль

раненых, конечно. Но, хотя и война, все равно - жизнь хороша! "Поехали, Зайков!"

Едем назад, к кладбищу. Навстречу - командирский "виллис". Федя поднял руку:

- Ты куда? Что забыл?

- За ранеными, товарищ майор. Комбат послал. -Где он, комбат твой?

- У крайнего дома, там батарея.

За спиной командира в кузове сидит, как обычно, наш фельдшер, старший лейтенант медслужбы Женя, официальная ППЖ майора. Начальство завело моду: при нем всегда находится кто-нибудь из медиков; лучше, конечно, не медсестра, а фельдшер.

Майор поморщился и обернулся к Жене:

- Бери сумку. У них, наверно, и бинтов нет. Если будут тяжелые, вези прямо в санбат и сразу возвращайся! Иди.

Женя спрыгнула и нехотя пошла к нам. Напротив кладбища мы остановились, заглушили двигатель и тогда услышали стон.

Недалеко от дороги лицом вниз лежал Мухамбетов. Он тяжело дышал. В груди хрипело и булькало, левый бок и спина - в бурых пятнах крови.

- Мухамбетов, ты слышишь?

Он с трудом сплюнул сгусток крови:

- Слышу, да, - тихо сказал он. - Пачиму так долго не ехал? Я же умираю...

Мы повернули его, как велела Женя, на правый бок. Она задрала гимнастерку и рубаху, наложила тампоны и кое-как забинтовала. Повязка быстро пропиталась кровью. Женя погладила Мухамбетова по голове:

- Ничего, парень, пуля навылет. Задела немного. Ты во какой богатырь. Поправишься. Идти сможешь? Попробуй.

С трудом подняли Мухамбетова. Он обнял Женю и Бадейкина за шеи и на гнущихся ногах заковылял к подъезжавшей машине, а мы с Рокотовым пошли дальше по зеленому полю.

- Эй! Кто живой? Отзовись!

Из небольшой ямы поднимается испуганный молоденький

солдат Смалец. Он вывалялся в грязи, моргает, кривит рот, вот-вот заплачет. Молчит. Я спрашиваю:

- Ты ранен? Куда? Показывай!

- Не знаю. Когда стреляли, упал в яму. Нога скрутилась.

- Сам ты скрутился. Трус! Гранаты есть? Отвинти запалы! А то сам себя

подорвешь. Иди за нами. Ищи раненых и убитых!

Вскоре натыкаемся на Катанина. Он лежит на спине, глаза закрыты, руки бессильно вытянуты вдоль тела. Низ гимнастерки и брюки в бурых пятнах, и земля вокруг пропитана кровью. Я склонился над ним: дышит слабо. Видно, что ранен в живот и в бок.

- Смалец, за машиной! Быстро! Бегом! Катании медленно открыл глаза. Узнал меня:

- Пить... Лейтенант, воды... Глоток... Пить...

- Нельзя тебе пить, Катании. Ты в живот ранен.

- Знаю... Уже все равно... Конец... Третье ранение... - Он закрыл глаза.

- Рокотов, дайте фляжку.

Катании отпил и снова открыл глаза. Я расстегнул ему гимнастерку и ремни.

- Ты можешь приподняться?

- Нет... Кость разбита. Несколько пуль в боку... Дайте попить...

- Может, лучше закуришь? Я раскурю. У меня хороший табак есть.

- Не могу. Пить... Лейтенант, в левом кармашке... письмо от жены... Адрес там... Дочки мои... Сироты... Отпиши им, как было. А я-то уже надеялся... дожить...

- Не падай духом. Медики вылечат. Операцию сделают. Они умеют это.

Надейся.

- Нет, все... Убит... Там карточка... Жена... Положи в кармашек... На грудь... Пусть со мной... В земле... будет.

Он умолк. Слышно, как тяжело идет наш тягач по сырому полю.

- Кровь... ушла... вся... Напоследок... дай попить...

Он пил. Вода проливалась на шею и грудь, а он тянул из фляжки. Я молчал.

- Ни за понюх... табаку... Зазря... погубили... Зачем ему... знамя?.. Война ... кончается... Тряпку жалко... А людей?.. А детей?.. Не пожалел... Генерал... Только о чинах... своих... думает... Чужой жизни не жаль... - И он утих.

Подъехал Зайков. Женя ножницами ловко разрезала брюки,

сделала уколы: сначала в бедро, потом в руку. Начала бинтовать. Посмотрела на нас, скривила губы и отрицательно покачала головой: "Все сделала. Кладите".

Мы уложили Катанина на брезент рядом с Мухамбетовым. Женя сунула ему под голову свою сумку, и Зайков развернулся к дороге. Потом нашлись еще

трое раненных, к счастью, легко, и двое убитых из взвода Захаревича,

атаковавших на левом фланге.

И закралось в душу сомнение: оправданы ли эти жертвы? В конце войны, когда враг бежит и вот-вот капитулирует...

% % %

Ценой немалых потерь дивизион поставленную задачу формально выполнил взял село штурмом и вышел на западную окраину. Однако, по существу, цель операции достигнута не была. В ходе боя мы не нашли ни машин, ни документов, ни людей. Как сквозь землю провалились.

Ждали генерала. В полдень он прибыл с замполитом, начальником штаба, особистом из "Смерш" и двумя десятками дивизионных разведчиков.

Мы остановились на юго-западной окраине села. Разведчики занялись

прочесыванием местности, а особист с помощниками - допросом свидетелей, точнее, всех жителей Водяницы.

В полутора километрах от наших позиций по невысокой насыпи проходит железная дорога на Остраву. После полудня с запада появился поезд: паровоз и семь товарных вагонов. Паровоз натужно пыхтел на подъеме, из трубы валил густой дым, и раздавались частые жалобные гудки.

Дмитриев, видимо, от неожиданности скомандовал: "К бою!" Мы открыли огонь. Один снаряд попал в тендер паровоза, а еще два - в задний вагон. Из паровозного окошка высунулся машинист и энергично замахал белой тряпкой. Тогда Дмитриев успокоился, скомандовал: "Отбой!" - и вслух рассудил, что это все же товарняк, а не бронепоезд. Пусть себе едет - в Остраве задержат и сами разберутся. Суждение верное, хотя и запоздалое.

Машинист продолжал размахивать белой тряпкой и подавать частые тревожные гудки. Из заднего вагона потянулся дымок, а из тендера черным шлейфом сыпался уголь. Поезд упорно шел на восток, в Остраву.

Позже на батарее появился Захаревич с приказом: "Приготовиться к маршу!"

- Аркадий, скажи: нашли знамена? - с надеждой спросил я.

- А-а, - махнул он рукой. - Прибыла разведка, подключился

"Смерш". Облазили все. Чехов допрашивали. Крепко давили. Нашли место, где наши влипли. Собрали стреляные гильзы и... все. И ничего больше...

- При чем тут гильзы? Знамена, шифровальщиков, документы, машины нашли?

- Этого нет. Машины со всей начинкой немцы угнали. Наверно, хвастанут перед своим начальством. Знамена и все остальное - неплохие трофеи. А может, еще проще: махнули прямо к американцам. А что? На "студерах" очень удобно сдаваться. Свою машину американцы запросто пропустят в свой тыл. Удобно.

- Зачем немцам эти трофеи? Все равно же им капут!

- Пойми! С такими трофеями американцы их с дорогой душой примут. Еще и денег отстегнут. Как ни дружи с американцами, а большевиков они не полюбят. А наша дивизия, кажется, здорово влипла со знаменами. Объясни, почему ваше знамя попало к нам?

- Да сам генерал еще до Курской Дуги приказал Феде сдать наше знамя на хранение в дивизию. Мы ведь часто "залетали". Считалось, что штаб дивизии

- самое надежное место. Еще и комендантский взвод охраняет! Вышло

по-дурацки: командантский взвод сам "залетел". Перед Победой! Нарочно не

придумаешь! Что же теперь?

- Не переживай и не суетись. Хочешь Героем стать? Чтоб девушки любили?

- Да мало ли чего хочу. Допустим, хочу.

- А ты не хоти! Голову сохрани. Полезней. Сиди и жди, чего прикажут. Не

нашего ума дело. Не боись! Начальство само решит, как надо. Оно далеко глядит.

- Ладно. Тебе родители давно писали? Как там, в нашем городишке?

- Мне пишут, что город сильно разрушен. Жить трудно. Старики ноют.

- А мои временно живут в Конотопе. Пошлю им карточку. Сняли случайно первого мая в Остраве.

- Ты деловой, оказывается, устроился. Покажи... Мутновато, но сойдет. Тебя видно.

- Я и тебе подарю. На память. Не встретимся, так вспомнишь, может быть. Я послюнил химический карандаш и вывел: "Другу Аркадию на память о войне. 6-го мая 1945 г. Фридек - Водяница".

- А что с твоим взводом, Аркадий? Где твои разведчики?

- Какие разведчики? Придурки штабные! Собрали на скорую

руку. Слава Богу, сбагрил их и вернулся к полковнику. Не люблю командовать людьми. Не по мне это.

% % %

Возвратившийся из санбата Зайков рассказал, что Мухамбет, наверно, выживет. Главное, чтобы какие-то земляные микробы не попали в рану. А Катанина не довезли

- умер в дороге. Сначала что-то бормотал, кого-то звал, потом вскрикнул и сразу умер.

Больше всех мне жалко Катунина. Человек сдержанный, серьезный, молчаливый, он в последние дни заметно повеселел. Заговорил о демобилизации "стариков", о тоске по дому, о своих повзрослевших девочках и об их матери, которая моложе его на 12 лет. Он, видимо, умирал в сознании и очень страдал не только от боли, но и от крушения всех своих надежд, от вопиющей несправедливости судьбы.

% % %

В 17-00 нас, офицеров дивизиона, собрали в классной комнате сельской школы. Генерал, похоже, не терял надежду отыскать знамена. Стоя за учительским столом, он ставил нам новую задачу:

- Агентурные данные и разведка местности подтвердили, что именно здесь были захвачены знамена. Наши люди храбро защищались и погибли. Штабные машины угнаны и находятся в лесу западнее села Лисовице.

На лежащей перед ним карте он обвел красным карандашом лесной участок, показал нам и продолжил:

- Мы должны срочно закончить начатую операцию по спасению знамен. Кузнецов! Истребители перекроют дороги и просеки в этом районе, а разведчики скрытно окружат поляну, где стоят наши машины. Задача - уничтожить противника и собрать все, что имеется в машинах: знамена или их остатки, документы, личные вещи, оружие. Все, что осталось. Даже пепел. Все это очень важно.

Замполит не удержался, его, видимо, распирало от избытка красивых слов:

- Разрешите, товарищ генерал, два слова. Под нашими славными знаменами мы прошли все эту Великую Отечественную войну. Родина не простит нам потери гвардейских знамен. Повторяю: найдете знамена или остатки - Родина по достоинству оценит вашу храбрость и ваши святые жертвы! Успеха вам!

Генерал выглядел очень усталым, подавленным, не то что утром. Тогда он казался более молодым и энергичным. Он обвел нас тяжелым, потухшим взглядом и закончил:

- Полная готовность - в 18-00. Сверьте часы: сейчас 17-35.

Мы вышли во двор школы. Я вынул из своей сумки найденную еще в Польше ученическую карту Центральной Европы. Что же получается? От Германии почти ничего не осталось. Гитлер давно застрелился, а война никак не закончится! До каких пор?

Было уже совсем темно, когда мы, не зажигая фар, подъехали к лесной опушке в указанном нам районе. Договорились о пароле и отзыве, оставили машины под охраной водителей и углубились по просеке в глубь леса. Разведчики ушли влево, с ними - чех-проводник. А мы свернули вправо, на узкую лесную дорогу- Почти час шли, никуда не сворачивая. В просвете над деревьями виднелись звезды, а в лесу было совсем темно. Изредка похрустывал под ногами валежник, и тогда комбат шипел: "Ш-ш, медведи!"

Наконец отыскали нужное место: пересечение дороги с просекой. Дмитриев

с шестью солдатами остался, а я с двумя прошел немного вперед. Мы залегли в кустах у дороги - устроили засаду.

Задача у нас простая. Если появится машина или мотоцикл: обстрелять,

задержать, обыскать, а если - пешие: подпустить, задержать, обыскать. Будут сопротивляться - применить оружие! Чтобы мышь не проскочила! Нас

предупредили: немцы, возможно, попытаются вынести знамена на себе.

Никак не могу понять, для чего им нужно, рискуя жизнью, выносить эти

знамена?

Мы лежим. В верхушках деревьев шуршит ветер. Убаюкивает. Страшно хочется спать, а курить нельзя - мы в засаде! Прислушиваюсь, всматриваюсь...

Время стоит на месте. Глаза начинают слипаться... А вдруг я найду знамя? Стану Героем Советского Союза! Вот я замечу крадущихся немцев. Мы окружим их: "Хэндэ хох!" Они стреляют, мы тоже. Они промахнулись, а мы уложили всех, кроме одного. У него-то на животе и оказались наши знамена. При задержании меня ранило в левую руку. Легко. Это хорошо, красиво, потому что без ранения серьезное дело обойтись, конечно, не может. Главное задание командования выполнено! Знамена найдены, спасены, и дивизия спасена от позора! Генерал обнимает меня: "Молодец, лейтенант! Выручил дивизию и всю Красную Армию! Как твоя фамилия? Да, вспомнил, я же тебя на Одерском плацдарме хвалил! Ну-ка, Макухин, пиши наградной лист! Сейчас же, срочно! И отправляй в Москву. А Золотую Звезду мы еще

обмоем!" "Служу Советскому Союзу!" - отвечаю я, как положено. Все вокруг улыбаются, похлопывают по спине. Откуда-то появляется наш фельдшер Женя: "Лейтенант, ты же ранен! Давай перевяжу!"...

Я клюю носом и вздрагиваю. Левая рука упирается в острый сучок. Темно. В первое мгновение не могу сообразить, где я. Вижу - солдат Набиуллин прислонился к дереву, уронил автомат на землю и спит, склонив голову на грудь. Подползаю, прикрываю ему рот рукой и трясу:

- У-у, разгильдяй, спишь! Смотри! Ш-ша.

Тишина. Луна уж пересекла просеку и скрылась между деревьями.

Лежащий в нескольких метрах от меня Смалец наверняка спит. Черт с ним, пусть. Опять вслушиваюсь и всматриваюсь в темноту... Вдруг - оглушительный крик:

- Эй, лейтенант! Где вы? Идите сюда! - голос Воловика.

- Чего кричишь? Что случилось?

- Приказано возвращаться.

Уже три часа ночи. На мой вопрос: "Нашли?" Дмитриев вяло машет рукой: "Не знаю!"

На опушке нас ждет в своем "виллисе" майор. За его спиной, как всегда, -Женя. Разведчики уже уехали. Что они обнаружили, никто не знает.

% % %

Раннее утро 7-го мая наш дивизион встретил на берегу реки Опава, восточнее города Оломоуц. Мы остановились перед взорванным отступающими немцами мостом. Саперы торопливо готовят нам переправу: крепят скобами бревна и доски для настила, укрепляют разрушенные опоры.

Дивизион усилили разведротой и создали таким образом механизированный отряд для рейда в глубокий тыл, - к Праге. Командует отрядом какой-то неизвестный мне подполковник из дивизии, говорят, начальник разведки. В ожидании переправы сидим у своих пушек.

Подходит полный, холеный старшина-сапер. С видимым удовольствием

затягивается какой-то длинной и тонкой папироской, самодовольно улыбается:

- Отличная жизнь началась. Жаль, война кончается. Обидно.

- Чего мелешь, шкура! Пригрелся в тылу. Нам война, а тебе - мать родна!

-не сдерживается кто-то из наших.

- Глупый ты человек! - не унимается старшина. - Вернешься в свой колхоз хвосты коровам крутить и в навозе с утра до ночи

толочься за палочки, тогда поймешь. Вспомнишь еще эту войну. Пожалеешь, дуралей!

Недалеко собралась большая толпа местных жителей: наблюдают за подготовкой к форсированию реки. Левее, у самого берега, разворачиваются две "катюши", скидывают брезенты, наводят свои рельсы и, наконец, дают залп.

- Ото зброя! Страшна зброя! - испуганно и восхищенно вскрикивают чехи.

...Саперы вогнали последние скобы в бревна, и мы медленно, пешком,

придерживая пушки, по гнущимся доскам перебираемся на противоположный берег. Через десять минут - несемся уже по дороге на Оломоуц...

Весь день мы пробивались по немецким тылам на запад, сея панику и наводя ужас на уныло бредущих немецких солдат, на беженцев и обозы. Мы расшвыривали своими тягачами подводы, лошадей и людей, стреляли в воздух, сталкивали немецкие машины в кюветы и на обочины. Все вокруг бурлило, обстановка непрерывно, ежеминутно менялась. Какое-то фантастическое, шальное кино, неправдоподобный боевик.

За Оломоуцем нам встретилась итальянская воинская часть. Колонна

безоружных солдат во главе с офицерами шла на восток, к русским, сдаваться в плен. Наивные, доверчивые, порядочные люди. Увидев нас, итальянцы остановились и подняли руки. Наш подполковник прошелся перед строем, приказал своему ординарцу обыскать всех и отобрать ценности, а сам отошел в сторонку, чтобы удобнее было наблюдать

Итальянцы недоумевали, но молчали. Офицеры отдавали ординарцу честь, а он выворачивал карманы, снимал часы, потрошил рюкзаки солдат и чемоданчики командиров. Обобрав всех, он медленно вернулся к подполковнику, придерживая обеими руками подол гимнастерки, доверху наполненный бумажниками, часами, кольцами, мундштуками, ножиками, расческами... Для сбора всей добычи ординарцу пришлось сделать три ходки. Чтобы припугнуть итальянцев, сообразительный подполковник приказал своим разведчикам дать несколько очередей в воздух... Мы двинулись дальше, а итальянцы все стояли с поднятыми вверх руками. От стыда я готов был сквозь землю провалиться. А командир весело смеялся: "Правильный шмон навел. А чего теряться!"

Затем нам попался на дороге новенький "оппель", брошенный немцами в панике, - кончился бензин. Подполковник приказал залить бак из нашей резервной канистры, а сам, пока заливали,

прикурил. И надо же - его небрежно брошенная спичка попала под заднее колесо, где пролился бензин. Машина вспыхнула как факел. Подполковник в сердцах ругнулся, сплюнул, и мы двинулись дальше.

Чехи по-прежнему радушно, даже восторженно встречали нас: бросали цветы, кричали "Наздар", угощали вином. Мы теряли бдительность и быстроту реакции. Поэтому выскочившая навстречу машина с немецким генералом сумела увернуться от нас. Пока мы соображали, открывали огонь, виртуоз-немец крутанул руль, газанул и скрылся за поворотом.

За день 7-го мая мы прошли по немецким тылам 150 километров. Закончились карты. Когда стемнело, пришлось съехать с дороги, замаскироваться на ближайшей высотке, окружить себя пушками, тягачами и затаиться. Это было мудрое решение. Мимо нас на запад, к американцам, всю ночь шел густой людской поток, ехали машины, подводы, велосипедисты... Мы сидели тихо. Пусть себе бегут.

Утром 8-го мая мы снова ринулись вперед, на запдд... Вечером недалеко от Праги путь нам преградила мощная огневая завеса. Этого уже никак не ожидали. Голова трещала от недосыпа, от непрерывного движения и дорожного шума, от бурных встреч в уютных чешских городках и селах, от выпитого вина...

Прага была совсем близко. Глаза слепило низкое оранжевое солнце, а изпод этого яркого шара вылетали гремящие стрелы и рвались вокруг. Немцы посылали нам последний смертельный привет. Мы, кто успел, повыскакивали из машин и распластались у дороги. С трудом отцепили две пушки, откатили к обочине и открыли бесприцельный ответный огонь.

Минут через двадцать стрельба внезапно прекратилась, и наступила тишина. Впереди горела машина. Слышались стоны раненых.

Уже в полной темноте мы оттащили пушки назад, к окраине близкого села. Перевязали раненых, похоронили убитых. Воткнули в холмик, в братскую могилу, фанерную табличку: "Пали смертью храбрых... 8 мая 1945 г.".

Наша батарея заняла большой чистый крестьянский дом рядом со штабом. Я улегся на лавке у окна и мгновенно уснул. Глубокой ночью разбудила близкая стрельба, громкие разговоры, беготня. Я выскочил из дома.

Все небо полыхало от сигнальных ракет и трассирующих очередей. По дороге медленно плотным потоком двигались танки и мотопехота. То шли войска 1-го Украинского фронта, наши соседи. Совсем близко кричали: "Победа! Конец войны!" Мы с Дмитриевым поспешили в штаб дивизиона. Двери были

распахнуты. Нас встретил майор. Он неуверенно держался на ногах, размахивал пустым бокалом и смеялся:

- Вот теперь - полная победа! Ка-пи-ту-ля-ция! За это надо еще выпить!

Выпили, добавили. Закуской не интересовались. Потом захотелось покурить, и я вышел на крыльцо. Внизу, спиной ко мне, вдрызг пьяный начальна штаба Макухин, запинаясь, рассказывал довольно трезвому еще Романову:

- Не волнуйся. Порядок. Точ-но! Сгорели полностью. З...знамена и карты, и л...люди. Немцы облили все б...бензином и ф-ф-ф... спалили. Да. Р...разведка только п...пепел нашла. И все... С...собрали это в мешок. А как же Оф...формили по-умному. Акт с...составили, раз. Потом это... боевое донесе ние, два. Грамотно. В бою... от прямого п...попадания все и сгорело. Нормаль но. Конечно, дали т...точные к...координаты. По карте, да. И по форме cnncoi п...потерь личного с...состава. Все командование п...подписало: комдив наштадив, ну, "Смерш". Само собой... И мы подписали... А как же... По-ум ному... Достали спецурну... Металлическую, хорошую... Пепел, значит, туда И запломбировали... Потом, значит, забили в спецящик. Опись вложения... t как же... Опечатали гербовой печатью... Сопроводительное письмо п...п форме. Это важно. И под охраной - на спецсамолет. П...позавчера... В Моек ву, в Генштаб. Лично. Да. Оформление сложное. Поработали, как иш...шаки Ф-ф-ф!

- Ну, и слава Богу, - говорит Романов, - что кончилась эта тягомотина.

- Не то слово. Р...расформировали бы и еще, упаси Господи, - под трибунал. Всех р...разжаловать! Дивизии - нет! Нас - к чертовой матери! Ф-ф-ф! Во подарок ко дню Победы! А? Молодец наш генерал и замполит тоже. Дружно живут! Ф-ф-ф! Большое дело заделали. Полный порядок! На крыльцо, шатаясь, вышел командир с бутылкой в руке: - Хватит болтать, Макухин! Мать твою... Распустился на радостях. Главное сейчас - дис-цип-ли-на! Вот скоро с американцами встретимся. Надо

подтянуться! Не допускать зряшной болтовни! Навести полный порядок!..

9-го мая Прагу взяла армия Рыбалко 1-го Украинского фронта, а нас повернули на север. 10-го мая мы закатились в красивейший городок - Градец Кро-леве. Старинные дома, дворцы, сады. Все целое и ухоженное. Штабов понаехало видимо-невидимо. Штаб дивизии обосновался в центре, а наш дивизион - на окраине в брошенном рабочем общежитии. Мы устроились на двухэтажных нарах на первом этаже, штаб и начальство - в маленьких комнатах наверху, а матчасть поставили во дворе.

Где-то на юго-западе еще шли бои, а мы уже отвоевались: отдыхали, зализывали раны, готовились к возможной (так считал почему-то Федя) встрече с американцами.

Чтобы не допустить снижения морально-политического уровня и боевого духа, наш замполит начал проводить беседы о героическом прошлом русской армии, о стойкости русского солдата, о великих русских полководцах от Александра Невского до Иосифа Виссарионовича, о временных и постоянно действующих факторах войны...

Федя не появлялся, хотя всем было известно, что он поселился с Женей наверху, в комнате рядом со штабом.

13-го мая вечером к нам заехал начальник артиллерии дивизии. К нему подскочил с рапортом дежурный. Полковник махнул рукой и, не останавливаясь, поднялся наверх. Мы знали, что Женя - его дочь, что она добровольно ушла на фронт со второго курса Одесского мединститута, что ее мать погибла в Одессе в 1941-м во время бомбежки. Жене удалось разыскать отца на фронте и остаться с ним, точнее, около него, а еще точнее, - у нас в качестве "главного медика" и Фединой "законной ППЖ".

Я увидел оставшегося у машины Захаревича и подошел:

- Начинается новая жизнь. Что думаешь делать? - спросил он. Конечно, я знал, что делать: прежде всего повидаться с Евой. Однако раскрываться я не собирался и поэтому ответил неопределенно:

- Еще не решил. А ты знаешь, что делать?

- Знаю. Хочу побыстрее демобилизоваться. Нужно в сентябре вернуться в институт, на третий курс. Не хочу терять целый год.

- Так демобилизация, по-моему, не объявлена. Говорят, что с Японией еще будет война. Так что могут задержать в армии на год-два.

- Между нами, полковник обещал помочь с демобилизацией. Поэтому надеюсь скоро повидать стариков. Готовь конспект на родину. Передам, если твои уже вернулись. Они все любят получать "живые приветы".

- А служить ты не хочешь? Станешь начальником штаба артиллерии. У тебя фронтовой опыт. Это, говорят, теперь ценится. И полковник поможет.

- Не получится. Ты еще не в курсе, а наверху - переполох. Дивизии капец. Всех разгонят кого куда. Оставаться нельзя, а то загремишь на Чукотку, в бухту Провидения.

- Что случилось? Почему такая паника, когда вокруг Победа?

- А то случилось, что со знаменами неувязочка вышла. Большая. Не слышал?

- Они же сгорели, люди погибли, а пепел в Генштаб

отправили!

- Пепел... Через пару дней ты все узнаешь. Уже не секрет. Но пока помалкивай. Для собственного спокойствия. Дело оказалось темное, даже неприглядное... Пока полковник чай пьет, могу рассказать кое-что... Послушай, история хреновая...

9-го мая в какой-то пражской больнице обнаружился наш шифровальщик, старший лейтенант Неелов, раненый, лежачий. Туда его перетащили сердобольные чехи, случайно обнаружив в брошенной немцами машине.

Когда Неелов узнал, что в Праге наши, он потребовал привести советских офицеров для важного, срочного и весьма секретного сообщения. Чехи кинулись в ближайший штаб, и от командарма Рыбалки прислали офицеров "Смерш" 1-го Украинского фронта. Неелов рассказал им "на ушко", как под Фридеком шифровальщики и комендантский взвод со знаменами напоролись на немцев и как он, Неелов, будучи раненым, сумел сжечь шифры и спрятать в надежное место знамена.

"Срочно, - сказал он, - сообщите об этом нашему комдиву, а то он, наверно, ищет, с ног сбился. В действительности же, все в порядке: знамена спрятаны в надежном месте, а секретные документы уничтожены. Пусть сам генерал приедет. Только ему покажу, где спрятаны знамена". Конечно, Неелов хотел прославиться. Героя получить.

Особисты аккуратно записали эти показания, дали подписать и - к Рыбалке. Доложили и на стол бумагу положили. Свое дело знают. Рыбалко всполошился: шутка ли - знамя гвардейской дивизии. Десантной!

- Аркадий, мы же село взяли, все перерыли. Нашли только пепел, стреляные гильзы, то да се. Получается, обманули Генштаб! Ой-ой-ой. Ничего себе дельце!

- Получается. Насобирать пепел, сам понимаешь, ничего не стоит. А тут живой свидетель, офицер, раненный в бою, да еще шифровальщик, считай, особист, как "Смерш". Ему нужно верить. Это аргумент, а не пепел. Молчать он не мог, не имел права как особист. Обязан был все доложить по команде. И доложил. Ему теперь не позавидуешь.

- А что дальше? Чем закончилось?

Аркадий продолжил: "Дальше звякнул Рыбалко в штаб нашего фронта, и

генерала разыскали за полчаса. Он тут же со свитой прилетел к Неелову. Тот ему и говорит, что во время боя, раненный уже, успел все же вытащить из-под сидения саперную лопатку, сорвать полотнища знамен и закопать их под сараем так, что никто не заметил. А потом, - говорит, - потерял сознание и не помнит, кто

и как вывез его из Водяницы.

Раненую ногу немцы Неелову все же забинтовали, потом допросили и бросили где-то под Прагой. "Я очень рад, - сказал Неелов генералу, - что спас знамена". Он рад. А генералу каково? Мало того, что знамена потерял, так еще обманул самого Верховного. Получается, что наш хотел на пепле провести всех, как дурачков. Наверху этого очень не любят! Говорят, генералу там, около Неелова, стало плохо, чуть дуба не врезал. Капли пил. Все узнали, что знамена спасены. Что делать?

Снарядил Рыбалко два кукурузника. Неелова - на носилки. Врача к нему приставили, чтоб по дороге не помер на радостях, и особистов выделили, само собой.

Короче, через два часа сели кукурузники около Фридека. Вкололи Неелову дозу для бодрости духа и понесли на носилках, куда командовал. А сам герой повторял: "Все ясно помню. Все точно говорю".

Нашли тот самый сарай. Копали, копали - ни хрена не нашли. Все перелопатили - пусто. Неелов потерял сознание. Его откачали. Собрали все село, включая пацанов. Допрашивали по-хорошему и по-всякому. Обещали наградить, озолотить любого, кто найдет хоть лоскуток. Все клянутся: "Не видели. Не знаем. Хоть режьте!" С тем и улетели".

- А что с Нееловым?

- Говорят, отправили в Москву. То ли в госпиталь, то ли в главный "Смерш". Раскрутилось дело. Кто бы мог предположить?

- В общем, жалко и генерала, и Неелова, а больше всего наших солдат,

погибших за три дня до конца войны из-за разгильдяйства штабных придурков... Когда будешь у нас?

- Не знаю. Полковник собирается в Москву, в Главный штаб артиллерии. Меня обещал взять как адъютанта. Может быть, в Управлении кадров обо мне слово скажет. Год учебы выиграю. Время, которое у нас есть, - это деньги, которых у нас нет. Знаешь эту поговорку? Умный человек сказал. Я многое подзабыл, надо позаниматься. Нужно время.

- Какая у тебя специальность будет?

- Хорошая. Эсэсовская, - он смеется. - Чего удивляешься? Чудак. Это

сокращенное: ЭСС - электрические сети и системы. Ясно?

Мы еще посидели, покурили, и я позавидовал целеустремленности Аркадия меньше чем через три года станет инженером. Спустился полковник:

- Эй, Захаревич, где ты там? Поехали!

% % %

Прошло десять дней. Захаревич у нас больше не появлялся. Через телефонистов я выяснил, что он откомандирован в распоряжение Управления кадров. Значит, полковник свое слово сказал, посодействовал.

История с Нееловым по "солдатскому радио" быстро дошла до нас. Она в принципе не отличалась от рассказанной мне Захаревичем. Появились, впрочем, некоторые дополнительные подробности. "Смерш" якобы выяснил, что вечером 5-го мая во Фридеке штабники "упились до чертиков", после чего посадили в свои машины девок из ДОП (дивизионный обменный пункт - подразделение медслужбы дивизии) и санбата и выехали из Фридека задолго до рассвета, чтобы догулять в "чистом поле", на природе. Да не на ту дорогу свернули.

Одна санбатовская девка не захотела далеко ехать и выскочила из машины. А когда через несколько минут услышала стрельбу, то бросилась со всех ног в свой санбат и обо всем рассказала врачу. Тот позвонил в штаб дивизии. Начальство всполошилось, завертелось. Но было уже поздно...

% % %

В июне нашу дивизию вывели в Польшу, под город Пшемысль. На окраине убогого села мы натянули палатки и под надзором начальства занялись

хозработами, к которым ни душа, ни руки не лежали. Поставили навес для кухни, сколотили столы и лавки для столовой, выкопали ямы и оборудовали уборные.

Мы устали от войны, от походной жизни - все нам осточертело. Фронтовики рвались домой, дисциплина ухудшалась с каждым днем. По ночам многие убегали в "самоволку" - село рядом. Там ночевали у девиц и вдов, - полсела таких. Солдаты меняли на самогон или дарили своим мимолетным возлюбленным все, что плохо лежало или попадалось под руку: одеяла, полотенца, простыни и даже портянки. Пошли в ход и припасенные к концу войны гостинцы родным. Местные вдовы и девицы охотно принимали ухаживания и благодарственные подношения.

Поддерживать дисциплину уговорами и наказаниями становилось невозможно. Солдаты никого не слушались и ничего не боялись. Не отдавать же под суд переживших войну победителей?! Не строить же гауптвахту?! Надо было что-то предпринимать. Но ничего не предпринималось. Все чего-то ждали, надеялись, что вот-вот закончится эта неопределенность. Военно-административная машина работала медленно, со скрипом. Из расположения дивизиона солдат и офицеров не отпускали.

Встреча с Евой откладывалась. В запасе у меня оставалось еще два месяца.

Утром 16-го июня объявили: "В 12-00 - общее построение. Приедет генерал".

И он приехал. Мы - нас меньше сотни - построены на линейке перед палатками.

Майор отрапортовал: "Дивизион для встречи построен! Командир - гвардии майор Кузнецов". Генерал молча обошел строй. Пожал руку каждому офицеру, посмотрел нам в глаза, остановился в трех шагах перед строем и сказал:

- Боевые друзья! Я прощаюсь с вами. Многие, которых я знал и не знал, были ранены, получили увечья и вернулись домой к своим семьям. Многие отдали свои жизни за Родину. Их здесь нет. Я склоняю перед ними голову, - он наклонил голову и помолчал.

- Вы храбро сражались. Я вижу у многих боевые награды. Честь вам и хвала. Военные судьбы переменчивы. Случилась у нас большая беда - вы знаете. Нет у нас ни знамени дивизии, ни знамени вашего славного дивизиона. Потеря знамени, тем более гвардейского - тяжелая вина. Воинская часть, потерявшая знамя, не имеет право существовать, а командиры подлежат суду, -он тяжело дышал...

Все напряглись, нависла гнетущая тишина. Генерал с трудом находил и медленно выдавливал из себя слова:

- Вашей прямой вины в этом нет. Поэтому ваш дивизион не расформирован. Он остается в прежнем составе. Ваш командир свое звание и награды сохранит, но будет переведен из Гвардии в армию.

Личные гвардейские звания и награды вам и вашим офицерам сохранены.

Однако ваша часть из Гвардии выведена. Она получит другой номер и будет передана в армейское соединение. Наша гвардейская дивизия полностью расформирована. Ее уже нет... Я горько сожалею об этом, прощаясь с вами...

Желаю вам верно служить Родине, а демобилизуемым - начать счастливую мирную жизнь со своими семьями. Желаю вам радостной встречи со своими отцами, матерями, женами и детьми.

Голос его дрогнул, в глазах стояли слезы.

- Прощайте, боевые друзья! Не поминайте лихом!

Он поклонился нам. Потом подошел к майору и поцеловал в обе щеки.

Мне захотелось крикнуть: "Что будет с вами, генерал? Неужели - под трибунал? Знаете ли вы свою вину? Кто виноват в

потере знамен? А - в смерти Катанина?.."

Но я не решился спросить.

Генерал еще раз обвел глазами строй, повернулся и быстро зашагал к ожидавшей его машине. Взвилась пыль из-под колес, а когда она осела, дорога была пуста...

Я В Е Р Н У Л С Я, Е В А

Я хочу быть могилой,
Куда зароют тебя,
Чтобы тебя навеки
В своих объятьях держать.
(Испанская народная песня)

Если бы меня попросили назвать самые счастливые дни своей жизни, я, не задумываясь, ответил бы: "Два дня с Евой в январе 1945 года".

Тогда в городке Величка, что под Краковом, вспыхнула и обожгла меня прекрасная первая любовь. После короткого отдыха мы возвращались на фронт. Я обещал Еве: "Останусь жив - вернусь к тебе. Потому что люблю!" И она призналась мне в любви и обещала ждать.

И я не забыл Еву. Я постоянно думал о ней. Любовь не угасла. Это было настоящее чувство. Разлука лишь укрепила его. Как я мечтал о грядущей встрече! Она определит всю предстоящую жизнь. Нашу жизнь. Ибо моя и ее жизни уже слились и стали неразделимы. Так казалось мне. Тоска и мое пылкое воображение рисовали картины будущего, одну прекраснее другой. Ради Евы я готов был на все. Ничто не могло помешать нашему счастью, разве смерть или тяжелое ранение.

Я часто писал Еве, но ответа не получил. Ни разу. И все сильнее тревожился. Правда, я утешал себя тем, что мы быстро продвигаемся на Запад. Нас, действительно, перебрасывают из одной страны в другую. Мы воевали не только в Польше, но и в Словакии, Венгрии, Румынии, Германии, Чехии.

Возможно, Евины письма задерживаются пограничными властями и цензурой. С моими письмами Еве еще сложнее. Они ведь адресованы не в Союз, а в Польшу, за границу. В прифронтовой полосе гражданская почта вообще не работает. Наша же полевая почта, цензура и "Смерш" письма в Польшу, иностранке, конечно, не пропускают.

Временами меня одолевали тяжелые думы: "А вдруг Ева разлюбила меня? Она красавица. Все заглядываются на нее. А я и не красив, и ничем не знаменит. Так что..."

Впрочем, всякий раз я решительно отвергал подобные мысли.

После драматических событий весны 1945 года нашу дивизию вывели из-под Праги в Польшу, под Пшемысль, для

расформирования. Наши офицеры сожалели о предстоящем "разгоне", он не сулил ничего хорошего. Я же скрытно радовался, ибо скорое свидание с Евой превращалось из далекой мечты во вполне достижимую реальность. Теперь нас разделяло всего каких-то 200 километров!

Я отправил Еве по гражданской почте два письма: сообщил, что возвратился в Польшу и скоро приеду к ней. Просил ответить на главную почту Пшемыс-ля, до востребования.

Я все чаще задумывался о будущем. Мечтал, как Ева станет моей женой, как я познакомлю ее со своими родителями, решил прослужить еще некоторое время в армии, чтобы Ева смогла закончить медицинский институт. Она мечтала об этом.

Да, Ева - католичка, но и внучка еврея. Это нас тоже сближает. Главное -мы будем жить в любви и согласии. О чем же еще мечтать? Есть препятствие, правда, небольшое: моя Ева - иностранка. Ну и что? Подаст куда следует заявление и получит советское гражданство.

А может быть, и это не понадобится: многие поляки считают, что Сталин Польшу никому не отдаст. Все к лучшему. Да здравствует ПССР - Польская Советская Социалистическая Республика! Тогда и учиться можно будет в Варшаве или даже в Кракове, в Ягеллонском университете. Преподавать ведь будут, как в Киеве или Ташкенте, на русском. Но и учить польский рядом с Евой - одно удовольствие. Впрочем, я и так неплохо знаю польский.

Язык - не проблема!

Пока шла война, главное было - дожить до Победы. Вот и дожил. Разные житейские трудности можно преодолеть - это не война! Теперь я сам устрою свою судьбу. Встречусь с Евой - и все как-то образуется. Уверен!

Я попросил у начальника штаба краткосрочный отпуск. Он разъяснил мне, что все отпуска запрещены: со дня на день ожидаются важные изменения в судьбе нашей части, поскольку дивизия расформирована.

Дни уходили за днями, но ничего не менялось. Солдаты бездельничали и ждали демобилизации, офицеры тоже бездельничали и ждали новых назначений. Наконец, 5 июля официально огласили приказ о расформировании. Нам предстоял перевод из Гвардии в заурядную дивизию. Когда это произойдет на деле, никто не знал.

Прошла еще неделя. Больше ждать я не хотел. 15 июля - день рождения Евы. "В этот день мы должны встретиться", - решил я.

Наш командир Федя, несмотря на некоторые странности, считался человеком справедливым и даже душевным. Правда, у

меня в последнее время возникли сомнения, но тем не менее больше обращаться было не к кому. Федя - высшая инстанция.

- Зачем тебе сейчас короткий отпуск? - спросил он. - Подожди. Вернемся в Союз, получишь нормальный отпуск, съездишь к родителям или кто там у тебя? Невеста ждет?

- Товарищ майор, мне отпуск нужен сейчас. Пока мы в Польше. Всего на три дня!

- Что, зазноба в Польше завелась? Да, что-то такое я про тебя слышал. Не дам отпуск. Глупостей наделаешь. Накличешь беду на свою голову. Вот нашелся искатель приключений. Не дури, плюнь и разотри! Все! Уходи.

Это был жестокий удар. Оставалась одна возможность - "самоволка". "Самоволка" за границей - это юридически почти дезертирство. Ночь я не спал, а утром решил предпринять последнюю попытку и снова явился к командиру:

- Мне обязательно нужно повидать ее. Это недалеко, под Краковом, где мы в январе стояли. Я слово дал.

- А зачем же, расхлебай, не подумавши, слово даешь? Кто за тебя думать должен?

- Я не могу обмануть ее! Не могу! Вернусь в срок и глупостей не наделаю. Я был в отчаянии. Не отпустит - уйду в "самоволку". Пусть считают дезертиром и судят!

- Поймите! Как мне жить, если я клятву нарушу?!

Командир задумался. В его лице что-то дрогнуло.

- Ишь ты. Клятва... Клятву нарушать, конечно, нехорошо... Бог с тобой. Возьму на себя. Иди к Макухину. Пусть оформит отпуск на три дня. Не подведи.

- Спасибо вам. Завтра четырнадцатое. Семнадцатого вернусь. Точно!

К поездке все было готово. Я заранее продал две ценные вещи: дорожный несессер с золочеными ножницами, пилками, бритвенным прибором и прочими штучками и отличные часы фирмы "Мозер" - мои трофеи. Вырученные и накопленные ранее злотые предназначались для подарка Еве.

Вечером я тщательно надраил сапоги, подшил свежий подворотничок, почистил зубным порошком ордена, пуговицы, пряжку и на рассвете 14 июля выскочил за КПП на дорогу. Сначала на попутной машине следовало добраться до Жешува, ближайшей большой станции. Оттуда шли поезда на Краков. От Кракова до Велички - рукой подать!

Дальше все продумано. В Кракове нахожу ювелирный магазин, покупаю Еве красивое золотое колечко и цветы, конечно. Затем нахожу дорогу на Тарнув и к Еве!

Путешествие оказалось не столь гладким, как планировалось.

Я долго добирался до Жешува - на двух попутках. Поезд на Краков сильно опаздывал. На перроне в Жешуве скопилась плотная толпа пассажиров, обвешанных рюкзаками, чемоданами, баулами, коробками. Многие ехали на запад, в Силезию, на новые земли.

Лишь в семь часов вечера прибыл жалкий, потрепанный серо-зеленый поезд: старый паровоз с высокой трубой, маленькие, дачного типа вагоны с еще немецкими надписями. Поработав локтями, я быстро пробился в вагон. Он набит до отказа. Много подвыпивших молодых поляков, несколько наших офицеров.

Когда совсем стемнело, поляки начали горланить непристойные песни. Даже мне, не искушенному в тонкостях польского "мата", было неловко перед сидящими в вагоне женщинами. Ночью в соседнем купе возник громкий спор. До меня доносились обрывки разговоров о "жидах, которые вернулись из Звензку Радецкего" и уже успели пробраться во власть, о "советах" и "совет-ках", наводнивших польские города. Хотя слово "жид" в Польше не ругательство, острая неприязнь к евреям рвалась наружу. Кто-то громко и дурашливо запел: "Од Кракова до Люблина / Ехал жидек до рабина..."

Паровоз пыхтел, из трубы валил густой черный дым, сквозь открытые окна в вагон втягивалась угольная пыль и гарь. Поезд шел медленно, подолгу стоял на станциях. Больше часа мы простояли в чистом поле недалеко от Кракова ремонтировали путь. В Краков прибыли около пяти часов утра. В грязном станционном туалете я долго отмывался от грязи и паровозной копоти, приводил себя в порядок.

Рассвело. Рядом с вокзалом нашлось кафе с открытой верандой. Я сел за столик у самого окна. За соседним столиком четверо немолодых поляков горячо обсуждали непонятные политические проблемы. Разговор я поначалу воспринимал как посторонний шум, но постепенно начал улавливать отдельные фразы.

Поляки за что-то ругали продажные газеты "Глос Люду" и "Жечь Посполита", предателя Миколайчика, Берута и Роля-Жимерского. Вслушавшись в беседу, я постепенно понял, что собеседников беспокоит возвращение "жидов". Их, "жидов", осталось, оказывается, слишком много. Они, наглые, требуют каких-то привилегий после якобы незаконных преследований в военное время и вообще вредят Польше...

Сонная неопрятная официантка принесла наконец сосиски с картошкой, яичницу и чашку мутного густого кофе. Помимо этого в меню значилось еще только вино. Официантка, не спрашивая, поставила на стол бутылку и очень удивилась, когда я отказался.

Стало совсем светло. Рядом, на улице, лотошники, торгующие поштучно самодельными папиросами, истошно кричали: "Папиросы робьонэ! Папиросы робьонэ!" (папиросы самодельные).

В голове шумело, сказывалась суета бессонной ночи. Все сильнее билось сердце от нетерпения, от предвкушения великой радости. Ждать уже недолго. Сегодня я наконец увижу и обниму мою Еву!

Осталось подобрать подарок. Мне объяснили, как пройти на "Рынэк Глув-ни" - на Центральный рынок, - где можно, оказывается, купить все, что "пан пожелает": и яйца, и золото, и оружие, и цветы.

В маленькой ювелирной лавочке у самого рынка я долго высматривал под стеклом прилавка колечко. Старик с грустными глазами и длинными обвислыми усами терпеливо ждал. Я вопросительно взглянул на хозяина, и он спросил:

- Для кого пану требуется кольцо? Для жены? Для невесты?

- Ну, в общем, для невесты.

- Тогда посмотрите на эти кольца.

Я выбрал золотое колечко со сверкающим камешком.

- Вот это кольцо сколько стоит?

- Это дорогое. - Старик назвал совершенно непомерную цену: пятьдесят тысяч злотых.

- Таких денег у меня нет. А этот перстень? - Я указал на серебряный перстень в виде двух переплетенных веток с черным камешком.

- У пана хороший вкус. Очень красивая работа. Первоклассный мастер. А какой размер нужен?

- Не знаю. Наверно, потолще моего мизинца. Да, толще.

- Размер этого перстня легко подогнать. Не жалейте денег, сделайте своей невесте красивый подарок.

Денег едва хватило. Оставалась мелочь на цветы и обратную дорогу.

- Хорошо, покупаю.

Старик вложил перстень в вишневый футлярчик, перевязал розовой ленточкой и вручил мне. Я вышел из темной лавки в яркий, радостный, кипящий мир. Сигналили без конца автомобили, звенел трамвай, сновали озабоченные люди.

В десяти шагах от лавки стояла цветочница. Пять красных гвоздик в пергаментном пакете куплены. Я полностью готов к встрече! Представляю, как обрадуется Ева, как бросится на шею! Сегодня ей восемнадцать - прекрасный день! Пан Богдан и пани Мария тоже будут довольны: почему же им не радоваться, если дочь счастлива?

А теперь быстрым шагом вперед - по Варшавской до конца, там направо -дорога на Тарнув через Величку.

Я долго стоял у обочины, подняв руку. Машины проносились, не снижая скорости. Тогда я вышел на середину дороги и развел руки, преграждая путь. Сразу остановилась полуторка. В кабине - пожилой старшина.

- Подбросьте до Велички, старшина. Спешу!

- С цветами, на свидание? - заулыбался шофер. - Садитесь. Быстро довезу. Куревом богаты? Кисет пустой.

Угощаю и даю про запас. Все складывается наилучшим образом. Жизнь прекрасна!

...Наконец! Вот она, площадь, где мы, выбравшись с передовой, встречали рассвет 21 января. Тогда войне еще не видно было конца, мы выдохлись и нуждались в передышке. Я радовался предстоящему отдыху, даже не представляя себе, какой счастливый билет мне выпадет - встретить Еву!..

Что-то изменилось с тех пор. Городок похорошел. Все расцвело - зелено, ярко, чисто. А тогда на площади лежал снег, чернели голые, печальные деревья. А главное - тогда была только мечта о Победе, о жизни. Теперь о войне и думать не хочется! Я счастливый человек. Есть мир, есть жизнь, есть Ева!

Я размашисто шагаю. Ближе, ближе... Вот она - улица Зеленая, знакомый дом, крыльцо, цветы под окнами. Сердце, кажется, выскочит из груди. Взбегаю на крыльцо, стучу. Замечаю шнурок от звонка и дергаю несколько раз. Дверь открывает незнакомая женщина. Ее поджатые губы и внимательный взгляд смущают меня:

- Дзень добры! Мне нужно... Можно видеть пана Шавельского?

- Пан доктор в больнице, на работе. У пана есть дело?

- Собственно, мне нужно видеть Еву.

- Ее нет, она уехала с матерью.

- О-хо-хо! А когда она вернется?

- Если вам нужен пан доктор, то он вруце до обяду (вернется к обеду) , через три часа. Цо передать?

- Скажите, что приходил советский офицер, который стоял у них в январе. Через три часа я вернусь.

Такого не ожидал. "Ничего, - успокаиваю себя. - Ева жива-здорова, значит, вернется. Не сегодня, так завтра. Потерплю".

Я вышел и побрел не спеша вдоль улицы. Через полчаса оказался за окраиной. Увидел кладбище. За невысокой оградой - ряды крестов: каменных, деревянных, металлических. У входа - маленькая часовня. Внутри перед распятием горит лампадка. Кладбище бедное, но ухоженное. Центральная аллея и боковые

дорожки посыпаны гравием. Скромные памятники и оградки целы.

Я прошел в глубь кладбища, нашел скамейку в тени, сел, закурил. Тихо, спокойно...

В голову лезут невеселые мысли: "Если Ева уехала надолго, то оставила для меня письмо или хотя бы записку". Вытащил из сумки блокнот и решил написать письмо Еве: поздравить с днем рождения и пожелать счастья. Сообщил, что с нетерпением жду встречи, что написал ей много писем, но ответа не получил, что каждый день думаю о ней! Сложил листок треугольником и надписал: "Еве в собственные руки".

Время тянулось медленно, стало припекать. На улицу Зеленую я возвратился раньше срока. Стоя в тени акаций, издали наблюдал за домом. Вот увидел пана Богдана, легким шагом идущего от площади. Неясное беспокойство охватило меня...

Опять звоню. Та же женщина открывает дверь.

- Можно видеть пана доктора?

- Гм. Прошэ пана зачекачь.

Ждал я долго. Впрочем, возможно, мне так просто показалось. Наконец вошел хозяин. Он выглядел моложе и здоровее, чем зимой.

- Здравствуйте, пан Богдан! Узнаете?

- Что-то не припоминаю, пан офицер. Вы были у нас? Але много ваших жолнежей приходили. Тенжко запомьентать вшистких (трудно всех запомнить).

- Всех?! Пан Богдан, мы же с вами и с Евой много раз беседовали! Я читал вам стихи Пушкина! Неужели вы все забыли? Не верю.

- Так, так. Пушкин. Ваша ксенжка у нас. Я вруце вам. Отдам.

- Отдавать не надо. Я подарил Еве! Где Ева? Она здорова?

- Дзенки Богу! Слава Богу! Здорова. Так.

- Хорошо. Помните, Ева и вы приглашали меня в гости после войны? Вот, я приехал.

- В гости? Не помьентам юж. Может быть. Ну, Эва - такая отзывчивая, такая увлекающаяся девочка. Не так ли?

- Да, отзывчивая. Я обязательно должен ее повидать. Я приехал для этого.

- Не надо это требовать. Что значит "обязательно"? Эва и ее матерь уехали к родным. Когда повернутся, не знаю. Может, в конце лята...

- А где они сейчас? Мы с Евой договорились встретиться после войны.

- Так, так. Эва - наивная девочка. Не понимает за жице. Идеалистка.

- Где она? В каком городе?

- Они у хорей кревней (у больной родственницы). Тенжко хора, после лагеря. Это далеко. Дальше Закопанего. Едут до них на конях. Им нужен покуй! Почты там нет. Все.

- Все? Как повидать Еву? Я дал ей слово приехать! Она ждет меня!

- Не знаю. Таки варунки. Такие обстоятельства. Напишите листа (письмо). Я передам, если это так нужно. Я не уверен, что нужно.

- Пан Богдан, Ева получила мои письма?

- Э-э, не знаю. Думаю, что не получила.

- Почему вы так думаете? Я написал ей много писем.

- Э-э, Эва как-то сказала, что пан не пишет, и она не знает, жив ли он. Кажется, это она о вас говорила. Не помьентам юж.

- Вспомните, были ли письма? Мне надо знать!

- Эва как будто не получала. Не знаю. Не будем больше об этом.

Он говорил неуверенно, спотыкаясь, стараясь побыстрее закончить неприятный разговор. Я вытащил из полевой сумки написанное на кладбище письмо и дописал, что приеду еще раз в середине августа, а пану Богдану сказал:

- Прошу вас передать Еве, что я жив, что ищу ее, что писал и что приеду через месяц. А вот письмо для Евы. Не забудьте передать.

- Хорошо, хорошо. Я очень спешу на работу. Извините. Ядвига! Я спеше!

- Еще минуту. Сегодня у Евы день рождения. Передайте, что я желаю ей счастья. Еще цветы и подарок - это кольцо.

- Кветы можно. Понимаю. Но кольцо - нет. То бардзо паненку обьензуе (Это очень обязывает девушку) Я не могу брать. Тэн бардзей (тем более) кольцо.

- Мы с Евой друзья. Значит, можно подарить на память.

- Друзья не дарят девушке дроге кольца. Я ойтец, и я не принимаю.

- Не знаю, что сказать. Я... Я люблю Еву и вот... Вы, наверно, делали подарки пани Марии? Не так ли?

- Ну, то было после помолвки. А так... Один день знакомы... Нет, то непристойне.

- Вы жестокий человек, а еще христианин! Говорили пустые слова о добре.

- Ну, нех бэндже так. Не надо конфликт. Я беру. Всего найлепшего!

- Когда Ева вернется, она останется здесь? Никуда больше не уедет?

- Она и матерь отвезут родню в Краков и пробудут с ней там килька дни, жебы убрать мешкане (здесь: чтобы убрать квартиру). Потом повернутся сюда, я думаю.

- Это та самая родственница, что сейчас в Закопане?

- Да, конечно. Вы, как следователь, допрашиваете. Эта родственница до 39-го года жила в Кракове, а пузней (позже) из гетта попала до лагеря Плашув. Когда она была в лагере, ее мешкане, квартиру, захватили чуже люди, поляце. Теперь они недовольны, что из лагеря вруце сен жиды. Ну, что возвращаются евреи. Едут еще и с востока, с России евреи, беженцы от немцев. Таких тут не любят. Поэтому родственнице надо помочь, защитить. Вы должны это разуметь, понять. Так?

- Я не все понимаю. Не хочу вас задерживать. Объясните мне, где живет эта ваша родственница? Она еврейка?

- Не совсем, але, в цалем, да. А зачем вам адрес?

- На всякий случай. Чтобы не разминуться в следующий раз с Евой. А может, помочь.

- Хм. Улица Видина, дом 10, второй этаж. А мешкане (квартиру) не помьентам.

- Где это, какой район?

- Трудно объяснить. Близко до Грюнвальдскего моста. Это между Старым Мястом и Казимежем. Недалеко большие улицы Страшевска и Шпигальска. Пшед войне там жило много жидов. Потом всех забрали до Аушвица, Плашува. Зосталось мало. Некоторые убежали в горы, до Чехии, до Романии.

- А как звать вашу родственницу?

- Вам не надо тревожить ее. Население, поляки не любят евреев и "советов" тэж.

- Я не буду тревожить, но все же, как ее зовут?

- Пани Сесилия Вайнерова.

- Я приеду в августе. Уверен, что Ева ждет меня. До видзенья! Хозяин вышел за мной на крыльцо и взволнованно сказал:

- Вы бардзо торопитесь! У вас нет положения. Вам и Эве тшеба учиться, сделать свою карьеру. Вы не знаете один другого. То, что вы думаете любовь, это просто быстрое увлечение. Поверьте мне - оно пройдет. Так, так. Нужно время проверить себя. Вы с Эвой из разной среды. У вас разные понятия. Оставьте ее в покуе!

- Нет! Я проверил себя. Прошло полгода. Это не увлечение. Это серьезно. У нас с Евой одинаковые понятия. Прошу вас, не мешайте нам! И мы будем счастливы! Вот увидите. Я буду беречь вашу дочь! Потому что люблю ее. Поймите. Все равно я найду Еву!

Хозяин ничего не ответил и захлопнул дверь.

Я понял, что для родителей Евы я чуждый человек из далекого, грубого и темного общества. Они мне не доверяют, видят во мне коварного соблазнителя, который пытается увести их наивную и беззащитную дочь в свой не приемлемый для них убогий мир. Их опасения в чем-то, может, и не лишены оснований, и мне жалко их. Сына Юзефа они потеряли в войне, и Ева для них - единственный свет в окошке. Однако без Евы я не могу.

До вечера еще далеко. Попробую разыскать дом Сесилии Вайнеровой. С попутной машиной мне повезло - доставила прямо к Висле.

Я прошел по набережной до Грюнвальского моста, пересек улицу Страшевску, выяснил, где "жидовская" улица Шпигальска, поплутал по закоулкам Казимежа и нашел-таки улицу Видина, дом 10.

Этот невзрачный, запущенный четырехэтажный дом без балконов и каких бы то ни было украшений тоже называют "жидовским". Перекосившаяся тяжелая входная дверь открывалась лишь частично. Грязные окна плохо пропускали дневной свет на лестницу. Я поднялся на второй этаж. Там открылся длинный темный коридор. В его торце - мутное окно.

Мрачно и тихо. Мертвый дом. Вот квартира 9. К двери кнопками приколот клочок бумаги. На нем коряво, по-детски выведено: "Сдесь жывут ивреи". Я постучал. Приоткрылась дверь. Изможденный седобородый человек в ермолке, несвежей ситцевой рубахе и мешковатых брюках испуганно смотрел на меня и молчал.

- Дзень добры, - как обычно, поздоровался я.

- Ир зайт а ид? Ир ферштейт аф идиш? (Вы еврей? Вы понимаете на идиш? (идиш)

- Йа, йа. Их ферштей. Редт мит мир аф идиш! Их бин фун Русланд. Мойше (Да, да. Я понимаю. Говорите со мной на идиш. Я из России. Моисей (идиш).

- Ми неймт мих Шмил. (Меня зовут Шмил (идиш)

Старик широко раскрыл дверь и сообщил стоящим за его спиной людям:

- Борух, Хайе, Двойре! Эр из а ид. Он еврей из России, он офицер.

Я вошел в комнату. Эти люди засыпали меня вопросами. Затем и я поинтересовался:

- А как вы живете? Вы сидели в лагере? Это ваша квартира?

Оказалось, они возвратились сюда из Чешского Тренчина, где прятались всю войну. Там чехи относились к евреям лучше, чем "свои" краковские поляки.

- Поляки хуже немцев, - кричала Двойра. - Знаете, здесь евреи сами просились в гетто, чтобы спастись от поляков. Поляки убивали евреев сами или выдавали немцам. Всех.

- А как теперь? Благополучно?

- Красная Армия спасла нас от немцев. Это - да. Но нам еще плохо. Тут есть банды. Есть ОЗН, есть Стронництво Народове, еще какие-то. Есть даже польские фашисты. Они грабят евреев, выгоняют из собственных домов. Говорят, что мы прислуживаем "советам". Куда нам теперь бежать? Не знаем...

- А ваша полиция или милиция не защищают вас? Они не могут разогнать эти банды?

- Польская полиция тоже не любит евреев. Они все повязаны с бандами, между собой. Они все требуют от нас золото. А мы же нищие. Совсем капцуним.

Я посочувствовал им, но помочь, конечно, ничем не мог... Время клонилось к вечеру, надо было заняться делом, ради которого я разыскал этот дом:

- Вы не знаете, в этом доме живет Сесилия Вайнерова?

Мои собеседники удивлены, переглядываются, пожимают плечами. И сразу седобородый Шмил шлепает себя ладонью по лбу, улыбается:

- На тебе, Сесилия! Вайнерова! Вы, наверно, имеете в виду мадам Цилю Вайнер? Так она здесь жила всегда. Еще до войны. Теперь, после лагеря, она вернулась в свою квартиру. Циля была красавица. Была, да. А теперь у нее больные ноги. И она уже таки старая. .

- Я хотел бы повидать ее. Где ее квартира?

Шмил вышел в коридор и показал мне обитую коричневым дерматином дверь напротив: на белой эмалированной табличке резко выдавались черные цифры 12. Звоню, стучу. Никто не откликается. Ко мне подходит Двойра:

- Я таки забыла. Не надо уже стучать. Она же не вернулась еще из санатории. Слушайте. У нее есть богатые родственники. Не такие, как мы, уримим (бедняки) (идиш). Они, правда, из выкрестов или даже из поляков. Не знаю.

- А вы не знаете, кто приезжал к мадам Вайнер?

- Может быть, племянница или далекая сестра. Они же с нами не очень разговаривают. Но вежливые, это да.

- Приезжала только одна женщина?

- Нет, была с ней такая молоденькая полька, а может, и не полька. Такая беленькая, приятная. Они увезли Цилю на лошадях. На поезд, наверно.

- Они не говорили, когда вернутся?

- Нет. Просто вежливо попрощались. По-польски. Это - да. А вы кто им будете? Родственник? Или кто?

- Знакомый. Хотел повидаться. Скажите им, когда вернутся, что приходил лейтенант Красной Армии Мойше и спрашивал про Еву Шавельску, про Хаву. Ищет ее. И пожалуйста, скажите, что я приеду сюда через месяц, в августе.

- Мы все скажем. Приходите. Евреев осталось совсем мало. Мы очень одиноки.

Да, пан Богдан сказал правду: Ева вернется, и это немного успокаивало... Я собирался уже уходить, когда Шмил протянул мне медную цепочку для карманных часов:

- Возьмите эту вещь. Она красивая. Я прошу недорого. Почти даром. У нас нет денег. Возьмите. Вам пригодится.

Я вынул из кармана все оставшиеся у меня деньги:

- Вот все, что у меня есть. Берите. А цепочка мне не нужна.

- Вы много даете за нее.

- Берите, берите. Эти деньги мне уже не нужны.

Двойра сняла с руки маленькие старые часики с потертым циферблатом:

- Возьмите подарок для вашей жены. Они еще неплохие часы.

- Благодарю вас, но часы мне не нужны. И жены у меня нет.

- Отдадите сестре, матери, кому-нибудь. Пригодится.

Пришлось взять, чтобы не обидеть.

В часть я вернулся поздно ночью. Завалился в постель и сразу уснул. Перед рассветом проснулся - меня звала Ева: "Михав, вруце! Я бэндже чекачь!"

Она звала так явственно и страстно, что я вскочил на ноги. Взволновался: "Где ты? Где ты, Ева?"

Уснуть уже не мог. Утром доложил Макухину о досрочном возвращении из отпуска. Потом у палаток встретил майора. Он удивился:

- Ты что, передумал ехать? Правильно сделал.

- Нет. Я уже возвратился, товарищ майор. Досрочно.

- Что же так? Почему не догулял? Или ее муж домой вернулся? Надавал тебе?

- Разминулись мы с ней. Не повезло.

- Ну, как сказать. Может быть, и повезло. Вернемся в Союз,

другую присмотришь.

- Через месяц еще попрошу два-три дня. Иначе мне никак нельзя!

- Поживем - увидим. Много чего случиться может.

% % %

В конце июля нас перевели в Пшемысль и разместили в старом польском военном городке. Письма до востребования на мое имя не поступали.

Потянулись нудные, однообразные, тягостные дни. Даже занятия с солдатами не проводились. Лишь время от времени чистили матчасть, мыли тягачи и ставили их повторно на временную консервацию.

Совершенно распоясавшиеся в последнее время солдаты в ожидании демобилизации тащили из каптерок обмундирование и постельное белье, продавали за бесценок местным жителям или просто меняли на самогон. А по ночам бегали в самоволку. Офицеры пьянствовали, службу несли нерадиво, манкировали, но и демобилизации страшились. Победная эйфория быстро прошла. Надо было думать о будущем.

Из череды будней запомнился день 6-го августа, когда пришло сообщение об атомной бомбардировке Хиросимы. Мы, офицеры, сидели после обеда на самодельных лавках у столовой под дубом, к которому была прибита фанерная табличка "Место для курения". Под табличкой валялось ржавое ведро - урна для окурков. Разговаривали об ожидающих человечество ужасах неизбежной в недалеком будущем ядерной войны. Перспектива пугала, потому что очень свежа еще была память о войне минувшей.

Оживленнее всего обсуждали демобилизацию. Страшно было уходить из армии без гражданской специальности. Учиться поздновато, а профессии нет...

Меня занимали другие мысли и заботы. Я по-прежнему был уверен: вот мы встретимся с Евой, и все устроится наилучшим образом!

А тем временем все упорнее ползли слухи, что вот-вот нас передадут в какую-то захудалую дивизию и, в лучшем случае, отправят в Прикарпатский военный округ. А в худшем - раскидают по Дальнему Востоку: от Чукотки до Магадана. Не исключено. Поэтому мне надо торопиться к Еве. С другой стороны, они с матерью, возможно, еще не возвратились из Закопане. Я колебался.

Все же 14-го августа твердо решил обратиться к Феде:

- Товарищ майор, отпустите меня на три дня в Краков.

- Опять ты за свое! Новый командир пусть решает. Скоро

прибудет.

- Он не отпустит, а из Союза - вообще... Товарищ майор, я больше ничего просить не буду. Даже отпуск домой!

- Как раз домой съездить надо. Родители живы? Ждут ведь!

- Ждут, конечно. И она ждет. Я должен повидать ее! Я слово дал!

- Подумаешь, слово дал! Не присягу же. Не расстреляют. А может быть, она уже рожать собралась? Признавайся!

Федя задумался. Я стоял молча, ожидая его решения. Потом он махнул рукой:

- Бог с тобой! Раз ты так рвешься... Иди к Макухину. Пусть оформит на три дня с пятницы. Завтра и послезавтра нельзя - аврал будет. Понял?

Все понятно: ожидается новый командир, поэтому будем "наводить марафет".

Утром 18-го августа, в субботу, я уже шагал по улице Зеленой. Все смешалось в душе: радость, нетерпение, страх, надежда и тревога.

Чем ближе к дому, тем сильнее тревога.

Я взбежал на крыльцо и торопливо позвонил в знакомую дверь. Щелкнула задвижка, и появилась Ядвига. Сердце екнуло - "почему не Ева?". Ядвига одета в черное платье и выглядит сурово и печально:

- Что пану угодно?

- Дзень добры! Я был у вас в июле. Помните? Встречался с паном доктором. Я хотел бы видеть Еву.

Она замешкалась с ответом. Затем, не сказав ни слова, пропустила меня в прихожую и вышла. С букетом цветов я долго стоял посреди прихожей. Слева в приоткрытую дверь видна часть кухни, где в январе мои солдаты варили себе баланду. Тогда меня, продрогшего, грязного, падавшего с ног от усталости, не покидало хорошее настроение. Пусть завтра на фронт, но сегодня - отдых. Жизнь прекрасна!

Почему же сейчас, когда война позади, а впереди - долгожданная встреча с любимой, на меня навалилось предчувствие беды? Где Ева? Почему не встречает? Я давно готовился к этой встрече. Все было известно наперед: выбежит сияющая Ева, радостно вскрикнет: "Михав!" и бросится мне на шею. Я крепко обниму ее, прижмусь к ее щеке, подниму на руки и долго-долго не отпущу! Вот она - вершина счастья!..

А в доме тихо, никто не выходит ко мне. Что случилось?

Наконец появилась Ядвига. У нее каменное лицо, а в руках мой Пушкин.

- Пан доктор болен. Извините, он не может говорить с вами.

- Очень жаль, но мне нужно видеть Еву. Еву!

Она долго смотрит сквозь меня, часто мигает и с трудом, запинаясь, произносит:

- У нас траур. Она погибла. Ее мать тоже.

- Что?! Пан доктор сказал мне, что она вернется!

- Пан доктор возвращает вам книгу, письма и шкатулку.

Я узнал свои письма, отправленные Еве, как только мы вернулись из-под Праги. Розовый бантик, уложенный краковским ювелиром, остался нетронутым.

- Ева не погибла! Вы ее прячете. Почему вы молчите?

- Эва и пани докторова вернулись из Закопанего. В ту прошлую пятницу они поехали до Кракова, чтобы устроить пани Сесилию. А в субботу, 11-го августа, там был погром. Они погибли. От рук бандитов. Ограбили... Мучили... Убили...

- Теперь погромов не бывает. Кто сказал, что быд.погром?

- Погром был. В синагоге, в еврейских домах на Казимеже. Там был. Во вторник их похоронили на нашем кладбище. Тяжело говорить.

- Ева читала мои письма?

- Я больше ниц не вем (знаю). Пан доктор выйти не сможет. Пшепрашам. Это все.

Она стояла предо мной прямо, твердо, как страж, преграждая путь к хозяину. Из глубины квартиры, из той комнаты, где мы когда-то ужинали с хозяевами и Евой, послышался слабый, прерывающийся старческий голос:

- Ядвига. Ядвига, поможь мне!

- Прошу вас, уходите! Не беспокойте нас больше!

Я вышел на крыльцо, не выпуская из рук цветы, книгу, письма и вишневый футлярчик.

Ева моих писем не читала, подарок не видела, о моем возвращении так и не узнала. Если бы знала, то ждала бы дома. Осталась бы жива. Была бы счастлива!

Я шел по улице, не понимая куда, не осознавая еще всего ужаса случившегося.

День разгорался. Стало жарко, душно.

Очнулся на кладбище. Я брел по центральной аллее, мимо крестов и могильных плит с именами и датами жизни. Потом свернул влево на узкую дорожку и среди кустов сирени сразу увидел два свежих холмика. Над каждым новый деревянный крест с табличкой: Мария Шавельска, Эва Шавельска.

Вот как повернулась судьба. Я жив, я здесь, а ты, Ева, бесконечно далеко от меня. Ты никогда не вернешься ко мне. Теперь только я могу прийти к тебе... Если бы ты знала, что я вернулся к тебе с войны, все было бы иначе! Тебя увозили от

меня, а ты думала, что я забыл. Какой ужас!..

Я никогда не узнаю, как ты страдала, как тебя терзали, как убивали... Кому мстить? И ты одна во тьме, земля давит на грудь - и нет никакой надежды... Стало трудно дышать...

День потемнел, потускнел... Безысходность...

Я сел на землю, прислонился к Евиной могиле. Тихо, спокойно. Туча закрыла солнце. Подошли какие-то люди. Постояли и ушли. Я положил ладони на могилу, ощутил тепло земли. Ева лежит совсем близко. Глянуть бы на нее, прикоснуться бы. Я начал руками разгребать могилу, рыть яму. Так ближе к Еве. Мне бы хоть на мгновенье увидеть твое лицо!

Я горстями вынимал землю над изголовьем Евы. Приближался к ней. Вот уже яма мне по локти... Я вспомнил наше последнее свидание. Потом раскрыл свое письмо и дописал химическим карандашом: "Я приду к тебе, Ева. До свидания, любимая! 18 августа 1945 года". Письмо положил в книгу, на страницу, где "Будрыс". Вытащил из бумажной обертки купленные на краковском вокзале красные розы и в эту бумагу тщательно завернул книгу. Посидел еще немного, опустил книгу на дно ямы. Сверху положил вишневый футлярчик, перевязанный розовой ленточкой. Потом засыпал это мое последнее послание Еве... И только теперь до меня дошло: я прощаюсь навсегда...

Не помню, сколько я просидел еще у могилы. Стало прохладнее, захотелось пить...

Метрах в пятидесяти от меня собралось несколько человек. Они следили за мной, переговаривались. Меня это не касалось. Я осторожно разгладил руками землю, прихлопнул ладонями. Получилось ровно, гладко, красиво. Затем положил к изголовью цветы. Вот и все. Больше для тебя я сделать ничего не могу.

Уходить не хотелось, да и не было сил. От наблюдавших за мной людей отделились мужчина и женщина в черном и медленно двинулись ко мне. Когда они подошли ближе, я узнал пана Богдана и Ядвигу. В нескольких шагах от меня они остановились.

Я поднялся. Ноги сильно затекли, стоять было трудно. Нужно было что-то делать. Обязательно. Но я никак не мог сообразить, что именно. Я стоял и смотрел на небо.

Потом ко мне подошел полицейский:

- Цо с вами, пане? Цо вы тутай делаете?

- Со мной все в порядке. Я прощаюсь с близким человеком. В чем дело?

- Мне передали, что вы порушили могилу. Так?

- Нет. Я возьму только на память горсть земли и увезу с собой. Далеко. В Россию.

Я вырвал из блокнота листок бумаги, свернул пакетик, всыпал щепотку земли и спрятал в полевую сумку.

- И это все? - спросил полицейский.

- Все. Хорошо, что вы охраняете кладбище. Нарушать покой мертвых - грех великий.

Я одернул гимнастерку, поправил пистолет на боку:

- Вы хотите еще о чем-то спросить?

- Нет, пан офицер. Нет. Я передам родственникам, что с могилами ничего не случилось. Все в порядке.

- Вы же видите...

Полицейский козырнул мне, подошел к пану Богдану, что-то шепнул ему и удалился. Стоявшие поодаль люди разошлись, а я медленно зашагал к выходу. Встречаться, а тем более разговаривать с паном Богданом не хотелось.

Что-то заставило меня обернуться, и я увидел его совсем близко. Он стоял, сильно постаревший, небритый, жалкий. Наклонившись вперед, он как будто собирался что-то сказать или протянуть мне руку. Касаться его руки было противно, но я пересилил себя и пожал эту холодную вялую руку.

- Пане, - сказал отец Евы, - я был несправедлив и зробилем цось злего(причинил зло).

Простите, если можете. Я помешал вам встретиться с моей дочерью... Хотел, жэбы лучше было всем. Я бардзо жалуе. Я очень сожалею...

Я не знал, что ответить. Он любил Еву и причинил ей зло. А как мне жить без Евы? Разве после Евы можно любить другую женщину?

- Я прощаю, пан Богдан, если вы нуждаетесь в моем прощении. И ради Евы. Она любила вас и простила бы. Я знаю. Зимой вы сказали мне, что кающихся надо прощать. Я запомнил тот разговор. И все другие наши беседы... Вы мешали нам с Евой любить друг друга. А я все равно любил ее живую и теперь люблю. Больше не буду вас беспокоить. Никогда. Все. Прощайте.

Через час я был в Кракове. Добрался до "жидовского" дома на Видине.

Подъезд был открыт. Входная дверь, сорванная с петель, лежала на тротуаре. Я поднялся на второй этаж. Квартира Цили Вайнер была заколочена. С двери свисали обрывки коричневого дерматина и торчали клочки грязной ваты. На двери квартиры 9 о записке "Сдесь жывут ивреи" напоминали лишь две кнопки.

Я позвонил, потом громко постучал в дверь. Из соседней квартиры выглянуло злобное небритое лицо:

- Чего стучите? Кто нужен?

- Тут жили евреи. Вы не знаете, где они?

- Евреи? Жиды. Уехали наконец в свою Палестину. Так говорят люди. Мы с ними вообще не знались.

- А напротив? Где пани Вайнерова?

- Кажется, умерла. Да, умерла. Точно. Квартиру опечатала власть.

- А почему дверь разбита?

- Вы следователь? Прокурор? Сказал, что слышал. Я не обязан знать все! И он захлопнул дверь.

В часть я вернулся в воскресенье на рассвете. Оказалось, что в субботу Федя сдал дивизион подполковнику Певню и уехал в Союз. Мне стало совсем одиноко. Возможно, Федя спросил бы меня:

- Ну что, повидал свою зазнобу?

А я рассказал бы, что Ева погибла, что ее нет на свете. И жить не хочется. Возможно, он что-то ответил бы, посочувствовал. Больше и говорить не с кем...

Я не находил себе места, не спал, без конца курил, ни с кем не разговаривал, и никому не было дела до меня. На следующий день я подал свой первый рапорт с просьбой о демобилизации. Служить стало тошно.

Подполковник Певень сформулировал нам основную задачу так: наладить дисциплину и порядок. Однако указанная цель была уже недостижима: фронтовиков нужно было заменить молодыми новобранцами.

Через две недели мы пересекли государственную границу СССР и обосновались в городке Добромиль. Спустя полгода - переехали в Старый Самбор. Там наша часть была окончательно расформирована. Я попал в противотанковый дивизион, дислоцированный подо Львовом, в Яновских военных лагерях.

Мои многочисленные рапорты оставались "без последствий". В конце концов, в наказание за настойчивость или даже за настырность меня включили в группу молодых офицеров, направляемых на Чукотку в укрепрайон Бухта Провидения. Нам предстояло сменить комсостав, отслуживший положенные сроки в полярных районах.

Я совсем пал духом. Но получилось иначе. Одна добрая душа переложила мой последний рапорт из папки "Назначения" в папку "На увольнение". Вследствие этого моя дальнейшая судьба решительно изменилась: в апреле 1947 года меня наконец уволили в запас.

Таким образом, через два года после Победы подошла к концу моя военная служба. Началась другая эпоха, непривычная самостоятельная жизнь. Появилась масса новых забот, малые победы достигались ценой огромных усилий. Путь познания был

усеян горькими разочарованиями. И не было на нем той чистой, беззаботной радости, о которой мечталось в юные годы. Молодость сменилась зрелостью, за ней незаметно началось угасание, подкралась старость...

День за днем стираются из памяти имена, годы, приметы событий, сел и городов.

А Ева навсегда осталась в моем сердце семнадцатилетней возлюбленной в ослепительном сиянии своей душевной и телесной красоты. И память о ней уже не сотрется.

В Р Е М Я У Т Р А Т

Повесть о поэте Константине Левине

Время искать, и время терять.

Еккл. 3:6

Давно ушли на вечный покой друзья молодости, близкие, дорогие люди, мои ровесники. А мне, оказалось, выпала долгая жизнь с ее мимолетными радостями, прозрениями и разочарованиями. Мудрость, приобретаемая с годами, счастья не прибавляет. Наоборот, запоздалая мудрость лишь умножает печаль, как заметил мудрейший из царей.

Потому что давно известно: всему свое время, свой час. А время быстротечно, и оно все убыстряет свой бег, от чего дни и годы жизни становятся все короче и однообразней.

В молодости было не так. Какими бесконечно долгими и тягостными казались дни и даже часы войны! Но и они растаяли, канули в Вечность. Туда же унеслись и дни зрелости, и годы старости.

На склоне лет я печально взираю на этот мир и непритворно удивляюсь всему случившемуся, непроницаемой тайне бытия... Может быть, эта жизнь лишь привиделась мне?

В стылый, сумрачный декабрьский день 1942 года судьба забросила меня в затерянный уральский городок Нязепетровск, где в полуразрушенной, демидовских времен церкви разместилось эвакуированное 1-ое Ростовское противотанковое артучилище. Там мне предстояло учиться, чтобы стать офицером.

Я попал в 38-ой учебный взвод. Вскоре я познакомился и близко сошелся с такими же

18-летними курсантами, вчерашними школьниками: Константином Левиным из Днепропетровска, Николаем Казариновым из Йошкар-Олы и Валентином Степановым из Москвы. Во взводном списке мы так и шли друг за другом и откликались в такой последовательности на вечерних поверках.

Собственно, встреча с Константином Левиным произошла за два дня до зачисления в курсанты, в "карантине". Мы прибыли в Нязепетровск одним поездом, одновременно появились у

военного коменданта, который и направил нас в "карантин" 1-го РАУ. Этот "карантин" оказался длинным бревенчатым бараком, по самые окна занесенным снегом.

В бараке за низкой деревянной выгородкой сидел дежурный офицер. Он отобрал наши документы, записал в список прибывших и велел идти в другой конец барака к старшине, который указал нам с Константином места на шатких нарах из нестроганых досок. Здесь нам предстояло находиться до зачисления в училище.

Электричества в бараке не было, лишь у входа и в дальнем конце горели керосиновые лампы. Из-за инея, налипшего на стекла, окошки плохо пропускали и без того тусклый свет зимнего дня. Вокруг был полумрак и пахло прогнившей картошкой.

Мы с Костей уселись на нары, разговорились. Кто ты и откуда приехал? Где жил до войны, где учился, как попал сюда? Мы были пока гражданскими лицами, носили цивильную одежду, воинскому регламенту еще не подчинялись, никуда не торопились и поэтому беседовали неспешно, обстоятельно.

Топилась печка-буржуйка, но все равно было холодно и сыро. Слонялись без дела молчаливые абитуриенты. Среди них выделялись солидные на вид люди, успевшие, видимо, уже повоевать. Они носили военную одежду - шинели и бушлаты - и казались старыми "дядьками".

На многих новобранцах была совершенно жуткая грязная рвань, никак не соответствующая погоде и обстоятельствам: промасленные изодранные телогрейки, дырявые, перевязанные веревками ботинки, летние измызганные кепочки. Мы еще не знали истинной причины этого и удивлялись, ибо мороз стоял за 40 градусов! Наша одежда выглядела на таком фоне непомерно богатой. Главное, была по-настоящему теплой, грела.

Мою жизнь накануне приезда в Нязепетровск нельзя было назвать ни устроенной, ни благополучной. Наша семья, успевшая в самом конце июля 1941 года бежать из-под Одессы, по случайному стечению обстоятельств оказалась на Урале, в городке Лысьва Молотовской области, и весьма бедствовала там.

Мне было тогда 17 лет. Не желая терять год учебы, я энергично разыскивал Ленинградский военно-механический институт, где находились мои документы, высланные по окончании школы 20 июня 1941 года. Я скитался тогда по России, как "бомж": из Лысьвы уехал в Казань, потом в Магнитогорск и, наконец, в Мотовилиху под Молотовом, куда, как оказалось, перебрался из Ленинграда мой "Военмех".

Я голодал, мерз, спал не раздеваясь, в пальто, редко мылся -

не было никакой возможности - и страдал от безденежья. Меня очень угнетало одиночество, отсутствие рядом близких людей. Поэтому встреча с Левиным была подарком судьбы. Я сразу ощутил и оценил Костино расположение, его доброжелательность и образованность. И радость моя была велика, ибо понял, что приобрел друга, в котором так нуждался!

% % %

Училище оказалось трудным жизненным испытанием. Мы, курсанты, очень уставали от ежедневных интенсивных 10-12-часовых занятий, в основном на свежем воздухе, потому что учебных помещений фактически не было. Сверх того, нас постоянно нагружали различными строительными и хозяйственными работами, не говоря о текущих и плановых нарядах (кухня, караул, уборки, конюшни...).

При этом мы систематически недоедали и мерзли. Всю суровую зиму 1942-43 г.г. курсанты провели в практически не отапливаемой Нязепетровской церкви, не имея ни теплой одежды, ни подходящей обуви. Нам выдали изношенное (б.у.) обмундирование: застиранные хлопчатобумажные гимнастерки и шаровары, истертые шинели и истоптанные ботинки с обмотками.

Пришлось пережить и немало нравственных потрясений: столкнуться с воровством, хулиганством и антисемитизмом. В первый же день пребывания в училище меня обокрали - утащили кошелек с деньгами, перочинный нож и, главное, мои единственные ценности: самопишущую ручку - подарок к окончанию школы, большую редкость по тем временам, и, что еще обиднее, отцовскую реликвию - серебряные часы "Павел Буре", его награду 1916 года с гравировкой "За отличную стрельбу". Эту потерю я воспринял с большой болью, как дурное предзнаменование. Однако жаловаться не хотел, ибо подозрение пало бы на товарищей-курсантов. И еще я боялся прослыть ябедой. В общем, было стыдно и противно. Немало неприятных происшествий пришлось пережить впоследствии.

% % %

15 декабря 1942 года нас из карантина строем повели в баню, остригли и переодели в военную форму. Всю свою гражданскую одежду мы по указанию офицера "добровольно" сдали в "Фонд обороны", о чем подписали какую-то расписку на тетрадном листке.

Я, воспользовавшись советом расторопного новобранца, сумел пронести на себе в казарму, то есть в церковь, свой теплый свитер. Очень обрадовался ловко провернул дельце! Было совершенно очевидно - казенное обмундирование согреть

организм не сможет, ибо изношенные хлопчатобумажные тряпки - это не то что мои гражданские вещи: ватное пальто, теплое белье. Хоть свитер сохранил - большая удача.

После бани нас повели на пустырь, где была свалена и уже покрылась слоем снега большая куча соломы. Этой соломой мы набили мешки-матрацы и наволочки.

Вечером из бани вернулись знакомые курсанты, убиравшие там после нас. Они рассказали, что из общей кучи одежды, оставленной нами "Фонду обороны", какие-то начальники выбрали и унесли с собой самое лучшее. Оставшиеся шмотки приказано было упаковать в брезентовые мешки и свалить в кладовку при бане.

Стало известно, что среди новобранцев оказалось немало умников. Они предусмотрительно, находясь еще в карантине, задолго до бани, ухитрились выгодно обменять у местных жителей свою одежду на рванье, которое затем без сожаления и сдали в "Фонд обороны". Кое-кто выручил при этой сделке немало денег, кто-то просто крепко выпил и закусил. После бани эти умники от души посмеялись над нами, лопухами.

Недолго, однако, я наслаждался своим "спасенным" свитером, пряча его, как вор, под гимнастеркой. Через три дня после бани меня вызвал к себе в каптерку старшина нашей учебной батареи и, злобно глядя, прошипел:

- Ну-ка, сними гимнастерку, хитрый еврей!

Я почувствовал себя, - о, запуганная наивность и глупость, - схваченным за руку преступником и молчал.

- Ты почему нарушаешь уставную форму одежды?! Вот наглец! Другие не боятся, а он, видишь ли, боится замерзнуть! Вшей нам разводить захотел? Снять! Давай сюда! А теперь, наряд вне очереди - гальюн драить! Ишь ты, хитрый еврей! Иди!

Я ушел, растерянный, подавленный, униженный. А старшина потом носил мой свитер открыто, не стесняясь. "Настучал" на меня один из курсантов нашего взвода, приближенный старшины, его "шестерка".

Зима 1942-43 г.г. была на Урале очень суровой. Морозы нередко достигали пятидесятиградусной отметки. Ночью температура в церкви не поднималась выше нуля. Я сразу простудился, начался сильный кашель, поднялась температура. В санчасти поставили диагноз: бронхит, выдали шесть таблеток аспирина и ватник сроком на шесть дней. От занятий не освободили. Я прокашлял всю зиму. Многие курсанты болели.

Чтобы снизить простужаемость и укрепить дисциплину, был объявлен строгий приказ: "Вне строя и вне казармы курсанты обязаны передвигаться только бегом! "Пешком" не ходить! Даже в

сортир, на оправку - бегом! При встрече с командирами за восемь метров переходить на шаг, отдавать честь и снова продолжать движение бегом!" Таков приказ.

За любое, даже самое незначительное, нарушение устава или порядка курсантов наказывали нарядами вне очереди. Особенно неприятны были наряды по чистке самодельных дворовых сортиров и мытье полов в нашей казарме -церкви. Нередки и очень болезненны были стычки с курсантами и командирами на антисемитской почве.

Поэтому окончания училища я ждал с большим нетерпением, как избавления. И, действительно, на фронте я почувствовал себя свободнее, независимее.

В училище укрытием и защитой от несправедливости и грубости окружающего мира была дружба. Она помогла пережить трудности тогдашней армейской жизни. Мы общались с друзьями не урывками, а постоянно, ежедневно, ежечасно: на хозработах, в строю, на занятиях, в карауле, в столовой, в казарме...

По духу и по жизненным обстоятельствам ближе всех был мне Костя Левин. Мы даже спали на одном соломенном тюфяке, укрывались одним одеялом и шинелью - иначе не согреться, стояли и сидели рядом на занятиях, в столовой...

% % %

Костя, в отличие от меня, "технаря", был типичным гуманитарием, "лириком": любил и хорошо знал историю, литературу, особенно поэзию. У нас находилось время поговорить - то в казарме, то на полевых занятиях и в нарядах: на заготовке дров, в конюшне, на кухне, в карауле. Там по ночам выпадало иногда свободное время.

Костя часто читал мне стихи - наизусть или из тетрадки в черной коленкоровой обложке. Тетрадку он прятал под гимнастеркой. Листы драгоценной тетради были плотно исписаны мелким бисерным почерком, очень четким, разборчивым. Костя смаковал эти стихи, а до меня они не доходили, не трогали. Особенно он любил Бориса Пастернака. Мне же те стихи казались вычурными, заумными, совершенно непонятными.

- Это, - говорил Костя, - тонкие стихи. Жаль, что ты не понимаешь.

- На мой вкус - путано и неинтересно.

- Вкус нужно развивать. Читай больше... После войны. - смеялся Костя.

- Я люблю прозу. Последнюю книгу я прочел в июле 1941-го. "Гроздья гнева", Стейнбека. Очень понравилось. Но интереснее всего мне журналы "Техника - молодежи" и "Знание - сила".

- Поэзия - не наука, не техника, - это чувство. Концентрированная мысль. Она действует на человека сильнее прозы, - уверял меня Костя.

- А ты пробовал концентрировать свои личные мысли? Писал стихи?

- Баловался немного. Получалось примитивно, хреново.

% % %

К учебным занятиям и вообще к службе Костя относился очень серьезно, старательно. Он вникал в детали каждого предмета, часто задавал вопросы. Его интересовали подробности устройства винтовки, пулемета и орудия, тактики боя, ориентирования по карте.

Ему нравилась конная подготовка (мы одно время занимались даже верховой ездой).

В то время офицерская карьера ему, безусловно, импонировала. Возможно, на Костины понятия об офицерской жизни повлияли читанные им книги о старой русской армии. Во всяком случае, он полагал, что офицерская служба может сочетаться с литературными занятиями. У Кости на этот счет было немало примеров из русской и мировой истории. Правда, подобные соображения Костя высказывал с некоторой долей самоиронии. Я уверен, что при другом стечении обстоятельств он стал бы блестящим кадровым офицером.

В принципе, офицерское поприще благоприятствует раскрытию лучших качеств настоящего мужчины: смелости, хладнокровия, честности, благородства, верности.

Все эти качества были заложены в натуре Кости Левина.

% % %

Под конец обучения, летом 1943 года наше училище перевели в военный городок на окраине Челябинска, в так называемые "Красные казармы". Там по окончании ускоренного курса нас и произвели в офицеры - присвоили звание младшего лейтенанта.

Накануне выпуска мы с Костей в последний раз побывали в наряде военный патруль по городу. В комендатуре нам назначили район патрулирования - рынок - и поставили задачу: задерживать пьяных солдат, хулиганов и подозрительных лиц, точнее, дезертиров, коих, по словам дежурного коменданта, развелось очень много.

Мы задержали троих, действительно, подозрительных людей: выпивших, в военной форме, без документов. Один из них, здоровенный заросший детина, очень смахивающий на типичного уголовника-рецидивиста, сумел сбежать от нас. Он резко толкнул Костю, ввинтился в толпу продавцов и покупателей, побежал

между рядами торгующих теток к ларькам и ближайшим переулкам. Мы бросились за ним, но быстро потеряли из виду. Мы кричали: "Стой!", стреляли в воздух, а не по убегающему, потому что вокруг были люди, а они, эти люди, никакого содействия нам не оказали. Скорее, наоборот.

Там же на рынке во время патрулирования, между делом, мы с Костей сфотографировались у "моментального" фотографа и унесли с собой мокрые мутноватые портреты паспортного размера 3х4 сантиметра. Я храню эти карточки как дорогую реликвию.

О последних днях пребывания в училище осталось ощущение некоторого раскрепощения, распрямления, освобождения от грубого ежедневного гнета.

В те дни в Челябинск приехал отец Кости, подполковник медслужбы Илья Левин, чтобы попрощаться и пожелать сыну удачи - выжить! Перед расставанием он сделал Косте прямо-таки царский, по нашим понятиям, подарок: новенькую портупею с настоящим офицерским ремнем. Никто из нас о такой роскоши и мечтать не мог. Мы, новопроизведенные младшие лейтенанты, получили простые солдатские ремни. Естественно, Костя был от подарка в

неописуемом восторге! Как ограниченны были все-таки наши запросы...

В середине октября 1943 года нас, выпускников, погрузили в "телячьи" вагоны - "40 человек, 8 лошадей" - и отправили в Действующую армию, на фронт.

На третьи сутки, ночью, когда мы подъезжали уже к Пензе, Костя разбудил меня, а затем - весь взвод: пропала из вещмешка портупея! Обыск и призывы сопровождающего нас офицера вернуть портупею ни к чему не привели.

Мы с Костей подозревали в краже нашего курсанта Хлобыстова, уличенного раньше в мелких кражах. Однако он все отрицал и дал себя обыскать. Портупея бесследно исчезла. Пришлось Косте подпоясываться выданным в училище ремнем. По пути на фронт случились и другие неприятные инциденты.

Все же большинство наших однокашников были людьми честными и порядочными.

Вспоминаются незаурядные еврейские ребята из нашего взвода: Вельшер, Бортник, Шмаев. Особенно Шмаев - своеобразный, своевольный парень, измордованный придирками командиров и "придурков". Он, единственный, был выпущен из училища сержантом. С этими ребятами я расстался в ноябре 1943 г. под Харьковом, когда вместе с Костей, Николаем и Валентином отбыл в офицерский резерв 38-ой армии... Как все это далеко!

% % %

Мы, выпускники 1-го Ростовского артучилища, на фронте назначались, главным образом, командирами взводов противотанковых пушек. Таких вакансий на передовой всегда было предостаточно.

Жить по-взрослому нам пришлось учиться уже на фронте, видя страдания, смерть, жалкое малодушие и настоящее благородное мужество людей. Наблюдения, ощущения и приобретаемый нами жизненный опыт были аналогичны. Мы учились защищать свои честь и достоинство, а также скрывать накатывающийся временами страх.

В глубине души каждый таил надежду вернуться живым или, в крайнем случае, умереть быстро, без мучений. На фронте мы насмотрелись такого, чего нормальный человек забыть не может. Очень тяжело вспоминать раненых. Особенно страдали раненные в живот, - те, кого видел я, кому довелось помогать.

Я готовил себя к худшему. "Вчера убило одного твоего товарища, говорил я себе, - сегодня ранило другого. Будь и ты готов достойно встретить свой час. Не создавай себе иллюзий, не мечтай, не обольщайся. Знай - не минет тебя чаша сия!". Такую формулу я отработал себе.

Конечно, все боялись смерти, но еще больше - предсмертных мучений. Солдаты, возвращавшиеся на передовую из госпиталей, испытавшие уже ранения, были больше подвержены страху. Они рассказывали, что ощущают страх гораздо чаще и сильнее, чем до ранения. Осколки и пули оставляют рубцы не только на теле, но и в сознании.

Многих, я знаю, посещали "вещие" сны, "озарения", дурные предчувствия.

Еще на Украине в конце марта 1944 года ночью, в сыром окопчике под Ду-наевцами, мне тоже явилось "предзнаменование": "Я умру от слепого ранения осколком мины в низ живота". Именно это я прочувствовал и увидел во всех натуральных подробностях: резкую боль в животе, пульсирующую струю крови и свою рваную рану с торчащим из нее грязным клоком собственной шинели.

Я проснулся среди ночи в холодном поту. Болел живот, и страшно было пошевелиться, чтобы не усилить боль. Моросил холодный дождик, в окопе было тесно и сыро. Ко мне привалился спящий солдат. Ствол его автомата уперся в мой живот. Сначала я никак не мог сообразить, где я и что со мной происходит. А потом была радость: это всего лишь сон! Тогда я принял это как предзнаменование, хотя умом понимал: глупый предрассудок. Тем не менее до самого конца войны свою туго набитую полевую

сумку я постоянно надвигал на живот, защищаясь таким образом от предназначенного мне осколка. Так я обманывал судьбу.

У Кости были свои предчувствия. Он говорил мне о них еще в 1943 году, когда нам было по 19 лет, и тогда же он записал полученное "сверху" конкретное предсказание:

Запад
Я буду убит под Одессой,
Вдруг волны меня отпоют.
А нет - за лиловой завесой
Ударит в два залпа салют.
На юге тоскует мама,
Отец наводит справки...
Т-6, словно серый мамонт,
Разворачивается на прахе.
А мертвые смотрят на Запад.
К. Л. 1943 г.

В то время наша армия уже наступала, и даже павшие смотрели на Запад.

В конце апреля 1944 г. Костина дивизия двигалась на Яссы. Там шли упорные бои, особенно у села со странным названием Таутосчий. Костя часто вспоминал те дни. На передовой он довольно часто делал записи в своем полевом блокноте. Еще можно разобрать некоторые из заметок.

Например, в апреле 1944 года перед атакой он записал для памяти сигналы полка, которому была придана батарея капитана Бояринцева, то есть Костина батарея: "Вызов огня" - красная ракета, "Перенос огня" - белая, "Танки!" зеленая, "Атака!" - серия белых, "Танки к пехоте!" - одна красная и одна белая.

В 1955 году я разыскал капитана Бояринцева в г. Запорожье и передал ему адрес бывшего командира взвода лейтенанта Левина.

В Костином блокноте сохранились и другие заметки тех дней, в частности, расход снарядов. Вот, например, утром 25.04.1944 у села Таутосчий орудие Коверзина (Костиного взвода) выпустило 66 снарядов, из них: 28 осколочных, 7 картечей (значит, немецкая пехота была совсем близко, не далее 200 метров), 21 бронебойный, 10 подкалиберных (значит, отбивали танковую атаку с близкого расстояния). Картечь и подкалиберные - снаряды ближнего боя.

Эта запись свидетельствует также о том, что Костя заботился о своих солдатах, ибо за сданные стреляные гильзы солдаты получали в то время денежную премию (в стране ощущался недостаток цветных металлов, в частности -меди). Некоторые заботливые командиры вели учет израсходованных каждым

орудием снарядов и сданных в боепитание гильз. Конечно, очень немногие офицеры обременяли себя подобной бухгалтерией.

% % %

Злосчастное село Таутосчий запомнилось. Там подорвался на мине наш друг Валентин Степанов. Костя оказался рядом. Он пытался помочь истекающему кровью и дрожащему в предсмертном ознобе Валентину, но тщетно. Тот скончался на месте. Эта смерть потрясла Костю. Через год он, находясь в Феодосийском госпитале после тяжелого ранения, написал "Реквием Валентину Степанову":

Твоя годовщина, товарищ Степанов,
Отмечается в тишине.
Сегодня небритый, от горя пьяный,
Лежу у моря, постлав шинель.
Все пьют тут просто, - и я без тостов
Глотаю желтый коньяк в тоске.
Черчу госпитальной тяжелой тростью
Сорокопятку на песке.
А где-нибудь сейчас в Румынии
По-прежнему светает рано,
И, как упал на поле минное,
Так и лежит мой друг Степанов.
А все-таки я дописал твоей маме,
Чей адрес меж карточек двух актрис
Нашел я в кровавом твоем кармане
В памятке "Помни, артиллерист".
Но где-то, Валя, на белом свете,
Охрипши, оглохши, идут в поход
Младшие лейтенанты эти,
Тридцать восьмой курсантский взвод.
К. Л. 1945 г.

% % %

25 июня 1944 года во время артналета погиб мой друг Николай Казаринов. Осколок снаряда попал прямо в сердце, смерть была легкой, наступила мгновенно. Единственная милость судьбы. Коля был очень жизнерадостным человеком. Он верил и часто повторял, что с ним ничего не случится. Случилось. Батарея Николая стояла недалеко от нашей у гуцульского села Пистынь, за Коломыей. Там тихим вечером в яблоневом саду мы похоронили Николая Казаринова. Вечная память!

% % %

Когда я думаю о друзьях молодости, об однокашниках из 38-го курсантского взвода, то всегда рядом с ними вижу своего первого, еще детских времен, друга Анатоля Козачинского. Мы

жили тогда в селе Голованевск, бывшей Винницкой области. Помню, как по утрам, еще полусонный, я выбегал на крыльцо нашего сельского дома и во весь голос звал: "Антон!" Именно так, на украинский лад, называли его родители, не желавшие, очевидно, демонстрировать свое польское происхождение.

"Антон! - кричал я. - Выходи! Я жду!" И он выходил. Помню еще, как наши молодые, красивые, жизнерадостные мамы переговаривались между собой, держа нас за руки.

У нас с Анатолем многое сходится. В частности, - у каждого по младшей сестре и по совсем маленькому братцу.

В 1932 году мои родители вынуждены были срочно покинуть Голованевск, и о судьбе Анатоля Козачинского я долго ничего не знал. А он, оказалось, был убит в октябре 1944 года под Белградом. Погиб, как Николай и Валентин, двадцатилетним. Я узнал об этом лишь

39 лет спустя, 9 мая 1983 года, когда вырвался на несколько дней из круговерти дел и бытовых забот, чтобы проведать свою малую родину.

В Голованевске я встретился с матерью Анатоля - Екатериной Стефановной - нашей ближайшей соседкой и доброй приятельницей родителей в далекие двадцатые-тридцатые годы... Ей было уже 86 лет, но она сохранила ясную память и живой интерес ко всему происходящему.

Вспомнил, как по-польски и по-украински поучала она нас с Анатолем уму-разуму, как беззлобно ругала за разные детские шалости. А я называл ее тетей Катей, уважал и побаивался.

Екатерина Стефановна сразу узнала в шестидесятилетнем старике меня, вспомнила всю нашу семью, мою дружбу с Анатолем и многое другое. Я побродил по старому дому Козачинских, потрогал вещи, к которым, помню, прикасался в детстве. Из глубин памяти вдруг выплыли дорогие мелочи, до боли знакомые лица...

Наш дом, стоявший напротив дома Козачинских, через дорогу, немцы по какой-то небрежности - объяснила Екатерина Стефановна - сожгли. Я с трудом узнал нашу улицу. Тогда она называлась Абазовкой. По ней мы бегали босиком, увязая в черной липкой грязи - вокруг жирный чернозем. Улица осталась такой же немощеной и зеленой, как в дни моего детства. Только теперь она показалась мне узкой, тесной. И называется она уже

по-другому - улицей Богдана Хмельницкого.

Вот она, первая, незабываемая, вечная улица моей жизни - тихая гавань золотого детства, начало пути в неизвестный мир. Вот это место встреч и расставаний, место мальчишеских игр. Тех мальчиков, моих сверстников давно уже нет. Одни погибли в

роковые-сороковые, а другие - их так мало осталось! - давно превратились в стариков.

% % %

Костино мрачное предсказание 1943 года не исполнилось - он не был убит под Одессой. Однако недоброе предчувствие в душе осталось. Весной 1944 года его дивизия оказалась на Бухарестском направлении, под Яссами. Там в апреле на огневой позиции у того же злополучного села Таутосчий Костя написал "Авторскую ремарку к стихотворению "Запад ":

Виноват, я ошибся местом;
Трудно все расчесть наперед.
Очевидно, под Бухарестом
Мне придется оскалить рот.
В остальном, никаких ремарок,
Никаких постскриптум внизу.
Танк в оправе прицельных марок
Должен в мертвом темнеть глазу.
К Л. Апрель 1944 г. Ясское направление.

Предчувствие близкой смерти было столь сильным и достоверным, что Костя даже распорядился, как себя похоронить:

Но меня - раз мне жребий выпал
Хороните, как я - солдат:
Куча щебня, и в ней, как вымпел,
Бронебойный горит снаряд!
К. Л. Апрель 1944 г. Там же.

Это предсказание оказалось фатальным, почти пророческим. Именно там, на Бухарестском направлении, под Яссами, через день после гибели Валентина, 29 апреля 1944 года Костя был тяжело ранен. Немецкий танк подбил, а затем раздавил его пушку.

Осколком снаряда Косте перебило ногу у самого колена. Голень повисла на сухожилиях и небольшом кусочке кожи, мешая ползти. Сильно лилась кровь. Чтобы унять кровотечение, Костя ремнем, как советовали в училище на занятии по "медподготовке", кое-как перетянул бедро. Затем, собравшись с силами, попытался перочинным ножом отрезать свою болтающуюся голень со ступней. Не удалось, не хватило сил перерезать сухожилия под коленом.

Он бросил нож и пополз, волоча за собой по грязи кровоточащий кусок ноги. От боли терял сознание и снова полз. Наконец его подобрали посланные комбатом Бояринцевым уцелевшие солдаты. Они вынесли Костю с поля боя и дотащили до санроты полка. Затем были санбат дивизии, госпитали, долгие месяцы борьбы за жизнь.

Много лет спустя, вспоминая те дни, Костя писал:

Ватничек был туго подпоясан
Выданным в училище ремнем.
Завтра все-таки пройдем по Яссам,
Ежели сегодня не умрем.
Не засыпала тебя лопата,
Вышло - доползти и одолеть
Марево санроты и санбата,
Санлетучек и госпиталей...
К. Л. 1981 г.

% % %

Прошел еще год. Война продолжалась с неослабевающим ожесточением. Казалось, конца ей не будет...

И вдруг разразился невероятный, долгожданный, вожделенный мир! Умолкли пушки, и засверкал сказочный май 1945-го! Все вокруг закипело, забурлило, зацвело. В радостном изумлении смотрели мы на восторженные толпы людей в чистеньких чешских и венгерских городках. Трудно было привыкнуть к миру, к тишине. Не верилось, что больше не услышим ни снарядных разрывов, ни команды: "К бою!".

На Запад - на Прагу, на Вену, на Эльбу - хлынули ликующие потоки победителей. Вот и наступил наконец тот самый "Праздник на нашей улице"! Вот она - Победа!

А на Восток под конвоем понуро брели бесконечные колонны пленных немцев и власовцев, "освобожденных" из плена красноармейцев и "остарбайтеров" - в Россию, в Сибирь, в ГУЛАГ...

В вихре всеобщего ликования на колонны поверженных врагов и безвинных, затравленных или заблудших людей - жертв насилия - внимания не обращали.

Прекрасный и желанный, безумный и жестокий мир.
Сейчас мои товарищи в Берлине пляшут линду.
Сидят мои товарищи в венгерских кабачках.
Но есть еще товарищи в вагонах инвалидных
С шарнирными коленями и клюшками в руках.
Сейчас мои товарищи, комвзводы и комбаты
У каждого по Ленину и Золотой звезде
Идут противотанковой профессии ребята,
Ребята из отчаянного ОИПТД.
К. Л. 1945 г.

Верно, мы даже сидели в кабачках и в счастливом угаре плясали что-то непонятное, возможно, эту самую линду. Мы выжили. Мы получили право на счастье!

И сразу, без перерыва, началась наша новая жизнь.

Загорелись ярким пламенем тлевшие подспудно желания, появились новые надежды, захотелось осуществить отложенные планы, добиться радости и счастья.

В годы войны нашим жизням была грош цена. Миллионы молодых людей были загублены понапрасну из-за бездушности, некомпетентности и глупости предводителей и начальников. Бессмысленно, ни за что. Миллионы погибли осмысленно, как истинные герои и альтруисты. Вечная им память и благодарность! Их не вернуть. Будем хотя бы помнить. И это, кажется, все, что мы можем сделать. Сохраним память!

Даже мы, не столь уж многочисленные счастливцы-фронтовики, которым суждено было пережить войну, немало потеряли. Наши сердца и души были изрядно исковерканы и ожесточены. Мы отстали от сверстников, потеряли лучшие годы для учебы, для культурного развития, для профессионального и творческого роста.

Тогда, в мае 1945-го, жизнь вновь обрела цену. Мы не разменяем ее - эту единственную, прекрасную и удивительную жизнь - на мелочи, на пустяки!

Надо было безотлагательно принимать судьбоносные решения. Требовались мудрость, смелость и решительность. А нам казалось, что предстоящая жизнь бесконечна. Я, уже не зеленый юнец, все же не почувствовал нутром, сердцем, что "все сроки кратки в этом мире, все превращенья - на лету!" (А.Твардовский).

Не заметил я, что жизнь неслась мимо, как дикий конь в степи!

% % %

Только через десять лет после войны мы наконец встретились с Костей в Москве, на площади Ногина. Он заметил меня в толпе и окликнул. Я вздрогнул, остановился и сразу все вспомнил. Мы обнялись, помолчали, посмотрели друг другу в глаза и увидели там радость и печаль...

Все изменилось вокруг и внутри нас. Мы жили уже в другой стране, в другой эпохе. Тридцатилетние мужчины. У каждого за спиной - своя отдельная жизнь. Но и прошлое не забылось. Оно лежало тяжким грузом на наших душах.

Мы встретились, как братья после долгих скитаний. Вспомнили наш прощальный разговор утром 5-го декабря 1943 года на окраине села Малая Девица. Нам с Николаем Казариновым предстояло добираться до г. Остра во 2-ю воздушно-десантную дивизию, а Косте с Валентином Степановым - до станции Бровары в 189-ю стрелковую дивизию, называемую "болотной". Почему "болотная"? Да просто потому, что раньше

воевала в пинских болотах.

- До свидания, Костя. Когда же мы увидимся?

- А увидимся ли? На всякий случай прощай, Моисей!

- Прощай, Костя!

Впереди была полная неизвестность, даже своих полевых адресов мы еще не знали. Не было постоянных адресов и у наших родителей. Я был растерян и подавлен. Чувствовал, что прощаемся навсегда. Мы обнялись, похлопали друг друга по спине, помолчали и разошлись. Шел густой снег, дул порывистый ветер. Нам предстояла дальняя дорога к фронту и дальше - через войну...

Мы подошли к Чистым Прудам. Медленно наступал московский вечер. Нас обгоняли озабоченные, торопливые, чужие люди. Костя был в Москве единственный близкий человек. Он привел меня к себе, в тесную съемную комнатку, где едва помещалась узкая кровать, шаткий столик на тонких ножках и два стула.

За стеной долго была слышна раздраженная болтовня хозяев. Мы жаждали выговориться и просидели до рассвета, так и не успев рассказать друг другу всего, что случилось с нами за эти годы.

% % %

Трудно было Косте после фронта приспосабливаться к неприглядной жизни инвалида. Больше всего на свете он боялся показаться в чем бы то ни было человеком ущербным, неполноценным. Прежде всего предстояло изготовить и подогнать сложный протез и снова научиться ходить.

Главное - протез. Все протезы были очень тяжелы и неудобны, они плохо сгибались в колене, постоянно травмировали культю, до крови растирали кожу. Культя при этом воспалялась, сочилась, запекалась кровь, и ходить становилось невозможно. Поначалу казалось, что выход один - костыли. Костя переживал это очень болезненно. Даже трость, на которую он вынужден был опираться, особенно в первое время, травмировала его психику. Он никак не желал казаться увечным. Ни в коем случае!

Мастера-ортопеды, к которым обращался Костя, объясняли ему, что не могут сделать легкий и удобный протез, так как не имеют прочных и легких материалов: титана и специальных пластмасс. Такие материалы были только за границей.

Все же в конце концов, с грехом пополам, протез сделали, затем кое-что подогнули, подпилили, подшили, и Костя, человек спрсобный во всех отношениях, научился ходить прямо, без трости и почти не прихрамывая. Это стоило большого труда.

Обрадованный таким успехом, Костя в 1946 году вдруг

загорелся желанием продолжить службу в армии. Он обратился в военкомат, а затем - в различные инстанции Министерства обороны. Все начальники отказали. Однако Костя сумел-таки убедить кого-то из Главного штаба артиллерии в том, что, если безногий человек способен управлять боевым самолетом, то он, Костя, справится с обязанностями комвзвода или комбата.

В конце концов он получил назначение в учебный артполк. В полку его постигло, однако, горькое разочарование: служба оказалась нудной, тягостной, не оставляющей свободного времени; сослуживцы были не интересны, перспектив продвижения - никаких.

Тогда Костя без промедления принял единственно правильное решение: оставил службу в армии и поступил в Литературный институт им. Горького. Здесь он оказался на своем месте и сразу проявил незаурядные способности, что было отмечено многими именитыми литераторами

% % %

В 1946 году Костя написал ставшее сразу известным и ходившее в Москве по рукам стихотворение "Нас хоронила артиллерия". Известный поэт Владимир Соколов вспоминал: "... Это было поздней осенью 1947 года. Шел литературный вечер поэзии. К трибуне вышел, чуть-чуть прихрамывая, среднего роста, абсолютно прямой человек в сером, ладно пригнанном костюме. Он не взошел на трибуну, он встал рядом с ней.

По внезапно наступившей тишине я понял: этого поэта ждали. В тишине, больше похожей на минуту молчания, он сказал: "Нас хоронила артиллерия". С тех пор я был заворожен и этим человеком, и его стихами".

Побуждением к написанию этого стихотворения послужил приезд Кости осенью 1944 года в Москву после ранения под Яссами. Слишком свежи были тогда фронтовые воспоминания, слишком болезненны полученные травмы души и тела.

Костю потрясли эгоизм и равнодушие столицы, благополучной части общества. Еще идет война. На фронте солдаты "...ползут и принимают контрудары", а в это время в Москве "...уже иллюминируют, набрасывают мемуары... циклюют и вощат паркеты...".

В этом стихотворении он пишет и о себе, двадцатилетнем фронтовике:

Один из них, случайно выживший,
В Москву осеннюю приехал.
Он по бульвару брел, как выпивший...
.....
Кому-то он мешал в троллейбусе

Искусственной своей ногою...
.....
Он вспомнил холмики размытые,
Куски фанеры по дорогам,
Глаза солдат, навек открытые,
Спокойным светятся укором...
К. Л. 1946 г.

Руководство Литинститута, партком, парторг из студентов-фронтовиков Василий Малов, а затем и комсомольское собрание заклеймили содержащуюся в Костиных стихах "заразу упадочничества".

Обстановку в то мрачное время почти полвека спустя описала Л. Чащина (Взыскание погибших, Литературная хроника, "Нева", 10, 1990 г., стр. 181): "В Литинституте на заседаниях парткома назывались имена тех, кто "нес в себе заразу безродности". И бывший фронтовик Вася Малов бестрепетно, без тени сомнения в правомочности того, что вершилось его именем и с его активным участием, указывал на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана...".

Началась бесчестная, гнусная, бездушная травля. Костю, одного из лучших студентов, боевого офицера, инвалида войны, талантливого поэта, исключили из института!

Это был неожиданный и страшный по своей подлости удар, существенно подорвавший творческую мотивацию и веру в собственные возможности. Он хотел писать честно, открыто, о главном. А это было чрезвычайно, даже смертельно опасно.

После исключения Косте пришлось обращаться в различные, главным образом литературные, инстанции с прошениями о восстановлении в институте. Оправдываться было унизительно и больно, а просить - тем более. Лишь через год при содействии К. Симонова Косте дали возможность закончить учебу. Однако его веру в торжество справедливости это уже не восстановило.

Трудно жилось Косте. Причин было немало. Одна из главных - отсутствие постоянной прописки в Москве. С временной же пропиской нельзя было устроиться на постоянную работу. Это чрезвычайно усложняло и без того не простую жизнь.

Каждый год Костя вынужден был добиваться и выпрашивать в милиции и в Моссовете продление своей временной прописки. Каждый год! Для этого требовалось снова и снова доставать разные справки, ходатайства, характеристики. Нужно было объяснять, почему он не может уехать из Москвы, а потом снова и снова искать комнаты или углы в квартирах, удовлетворяющих надуманным "санитарным нормам".

Костиной мизерной пенсии по инвалидности едва хватало на

съем угла или комнаты. Поскольку постоянной работы у Кости не было, он эпизодически подрабатывал в литературных консультациях, чаще всего при журнале "Смена", рецензируя поступающие в редакции стихи дилетантов. Реже его услугами пользовалась литконсультация Союза писателей.

Работа литконсультанта была неинтересна, утомительна, непрестижна и очень низко оплачиваема. Однако выхода не было - нужно было как-то существовать.

Жизнь весьма усложнялась тем, что приходилось часто менять жилье. Многих хозяев не устраивал Костин образ жизни: визиты друзей, особенно знакомых женщин. Бывало, что и Костю не устраивали некоторые бытовые обстоятельства, обнаруживающиеся не сразу, а по прошествии времени. При этом надо представлять себе, как сложна была проблема жилья в послевоенной Москве. Это отдельная, интересная и печальная повесть.

В 1960 г. Костя снимал комнату у самой Валерии Владимировны Барсовой.

Ее большая барская квартира была тесно заставлена старинной мебелью, стены увешаны картинами и коврами. Все внушало глубокое почтение к народной артистке и профессору, даже некоторый трепет. Лучше было приходить, когда Барсова уходила в театр, в консерваторию или уезжала на свою сочинскую дачу, подаренную ей, между прочим, Сталиным. Тогда в квартире оставалась только домработница, и я чувствовал себя свободнее.

- Барсова, - говорил Костя, - не только очень интеллигентна, но также добрый, приветливый человек и вполне лояльная хозяйка.

Все же года через полтора она выразила свое неудовольствие по поводу частых визитов Костиных подруг. Хозяйственными делами занимался муж Барсовой, бывший майор и бывший актер, названный одним из знакомых хозяйки "витязем в барсовой шкуре". Именно по требованию "витязя" Костя вынужден был съехать с хорошей квартиры. Тем не менее он не обиделся, но даже был благодарен хозяевам, убедившим его поскорее и понастойчивее

добиваться постоянной прописки и записи в очередь на отдельную комнату в коммунальной квартире. Об отдельной квартире и речи, понятно, быть не могло.

Барсова убеждала Костю, что нужно, не стесняясь, писать об инвалидности, боевых наградах, о многолетнем проживании в Москве на частных квартирах. Это был очень разумный и своевременный совет. Костя, как всегда, еще долго раздумывал, собирался духом, пока, в конце концов, начал писать письма и

заявления в Моссовет, Минобороны, Литфонд...

Заявления он писал толково, аргументированно, корректно. И труды его не пропали даром. Года через три Костю поставили на учет в Моссовете, в 1965 г. он получил постоянную прописку, а еще через некоторое время - комнату в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте в хорошем доме "Атом - для мира". Рядом - кафе "Луна", магазин "Сыры" и, что всего важнее, диетическая столовая.

% % %

После войны Костя прожил еще почти сорок лет. Прожил не так, как мечтал. Все эти годы он был недоволен собой. Однако изменить свою жизнь в соответствии с собственными устремлениями он не смог. Пытался, но не сумел.

Общение с Костей доставляло мне не только радость, но и душевную боль, и обиду за него. Он, безусловно, был достоин лучшей участи. Я любил его и потому относился к нему небеспристрастно. Но вот мнение постороннего человека - известного поэта Константина Ваншенкина, хорошо знавшего Костю (из интервью, 1997 г.):

"Мы вместе с Костей Левиным учились. Он из нашего фронтового поколения. Блестящий офицер, не дающий себе ни в чем поблажки. У него не было ноги, но держался исключительно стойко и независимо. Большое внимание уделял внешнему виду, всегда отглаженный, элегантный - типичный герой из "потерянного поколения". Никого не осуждал. Человек чести. Очень талантливый. Словом, личность своеобразная, яркая...

% % %

В послевоенные годы в Литинституте, или, как иногда говорили, в доме Герцена, кипели нешуточные партийно-литературные страсти. Костя жил в накаленной атмосфере, варился в бурлящем писательском котле вместе со многими молодыми, талантливыми и смелыми будущими творцами новой советской литературы, а также с конформистами и будущими литературными функционерами. Рядом (или вместе) с Костей учились Эмка Мандель (Наум Коржавин), Евгений Евтушенко, Расул Гамзатов, Александр Межиров, Владимир Корнилов, Виктор Урин, Юрий Трифонов, Владимир Тендряков и многие другие.

Очень близок Косте был Владимир Корнилов. Они часто встречались, а еще чаще - перезванивались: часами "висели на телефоне" и яростно спорили. При этом отношения между ними всегда оставались теплыми, дружескими.

Все, знавшие Костю, считали его личностью интересной и привлекательной, человеком широких взглядов, тонкого литературного вкуса, принципиальным и вместе с тем

благожелательным.

При этом Костя всегда оставался загадкой: безусловно талантливый литератор, но не пишет; обаятельный мужчина, очень нравится женщинам, но не женится; бедный, не имеет ни кола ни двора, но не падает духом и не стремится к общепризнанным, осязаемым показателям жизненного успеха: ни к богатству, ни к почестям. Вдобавок ко всему, он, инвалид войны, никогда не "качает права", не требует льгот, как другие.

Во всем этом было что-то непонятное, странное, загадочное.

Борис Слуцкий в свои хорошие времена, до смерти жены, встречался с Костей и настоятельно рекомендовал больше писать, а многое из написанного, чуть подкорректировав, немедленно предложить "толстым" журналам.

Костя рекомендацию не воспринял, свои стихи не "корректировал", не приспосабливался к обстоятельствам, не лавировал. Он был чрезвычайно строг к своим работам, к собственным стихам.

Такая позиция существенно мешала ему работать энергично и регулярно.

Борис Слуцкий, осуждая - так он считал - Костину "леность", однажды сказал:

- У еврейского народа есть свой Обломов - Константин Левин. Можете гордиться!

Писать заказные репортажи в газеты Костя не хотел - пришлось бы кривить душой.

Я высказал свое мнение:

- Костя, почему ты не вставишь несколько смягчающих слов, как другие? Сдвинься

чуть-чуть, чтобы начали печатать, и, возможно, все пойдет быстрее, глаже.

Костя же от своих принципов не отступал:

- Я давно решил, что нельзя облегчать себе жизнь лицемерием и лавированием ни малым, ни крупным.

У Кости в молодые годы были серьезные творческие планы. Он собирался написать не только цикл стихов, но и крупную прозаическую вещь о войне и военной поре. В зрелые годы он многократно возвращался к этой мысли и сожалел, что не вел дневник. Он побуждал меня вспоминать интересные случаи из моей фронтовой жизни, которая по случайному стечению обстоятельств оказалась более продолжительной, чем его.

Он вспоминал и уточнял технические подробности устройства сорокапятки и трехдюймовки, обсуждал работу с прицелом и уставную последовательность команд. Это должно было пригодиться в будущем для работы над книгой.

Мы перебирали в памяти училищных командиров и преподавателей, различные происшествия на занятиях, на стрельбах, в нарядах по кухне, на конной подготовке...

Хорошо запомнилась нам, в частности, "лошадиная" эпопея...

...Артиллерия, как известно, нуждается в "тяге". Наше эвакуированное училище тогда ни механической (тягачей), ни иной тяги не имело. Командование приняло единственно выполнимое решение: обзавестись конной тягой.

В феврале 1943 года нам пригнали из Казахстана полсотни диких, прямо из табуна, необученных лошадей. Некому да и некогда было в то суровое время приручать и обучать этих лошадей, заниматься выездкой.

Мы получили диких зверей, а не домашних животных. Особенно свирепствовали жеребцы. Трудно приходилось нам, городским ребятам, не имевшим никакого опыта обращения с лошадьми. Я давно забыл имена многих однокашников, но лютого жеребца по кличке "Топор" и мою "личную" (прикрепленную) кобылу "Умницу" крепко запомнил. "Табунные" лошади были, действительно, умны и хитры. Нас, людей, точнее, неумелых наездников, они не уважали, не боялись, а, может, даже презирали.

Коварная "Умница" часто донимала меня. То она, как бы невзначай, наступит копытом на ногу, то прижмет своим боком к стенке конюшни. Во время занятий она на полном скаку часто останавливалась как вкопанная, и я вылетал из седла...

Необузданный "Топор" однажды дал такую "свечку", что разбил голову дневальному по конюшне. Курсант стал тяжелым инвалидом и был списан, как не годный к военной службе. В один из весенних дней во время водопоя и купания лошадей на реке кто-то из наших курсантов не удержал "Топора". Распалившийся жеребец погнался за приглянувшейся ему "Умницей", которую я как единственную "даму" приводил и уводил с реки заранее, до того, как приведут жеребцов. Во избежание эксцессов. В момент, когда сорвался "Топор", я верхом на "Умнице" возвращался в конюшню. Услышав, к счастью, за спиной резвый конский топот и крики товарищей, я чудом успел соскочить в последнее мгновение. А то быть бы беде...

В апреле 1943 г. ветфельдшер устроил стерилизацию, и кони присмирели.

Совместные воспоминания нас увлекали. Но вот что удивительно: запечатлевшиеся в памяти каждого детали эпизодов оказывались часто не вполне идентичными. Все же совместными усилиями многое удавалось надежно восстановить.

К сожалению, кроме спонтанных разговоров ничего не

происходило. Работу над книгой Костя так и не начал. Не составил никакого плана, не написал ни единой строки.

Мы беседовали подолгу, иногда до утра; рассуждали о многом: о текущей жизни и политике, о вере и безверии, о войне и фронтовых друзьях и, конечно, о женщинах...

Костя сознавал, что живет в неправедном обществе, что гражданский долг велит бороться со злом. Но в своих реальных возможностях что-то изменить он довольно рано разуверился:

Запропали в грохоте и дыме,
Сожжены солдатики дотла.
Никого ты больше не подымешь
Против наступающего зла.
К. Л. 1981 г.

Столкнувшись еще в 1947 г. с грубой силой существующей власти, не допускавшей никакого инакомыслия и, не желая лгать, Костя отказался печатать свои стихи:

Остается одно - привыкнуть,
Ибо все еще не привык.
Вью, стало быть, круче выгнуть,
За зубами держать язык.
Остается - не прекословить,
Трудно сглатывать горький ком,
Философствовать, да и то ведь,
Главным образом, шепотком.
А иначе - услышат стены,
Подберут на тебя статьи,
И сойдешь ты, пророк, со сцены,
Не успев на нее взойти.
К. Л. 70-е годы.

Костя понимал, что выхода нет, что нужно писать хотя бы в стол. Писать регулярно. Определенным стимулом для него был пример В. Корнилова, который, помимо стихов, начал писать прозу. Он приносил Косте для прочтения и обсуждения свои рукописи. Обсуждения бывали очень обстоятельными. Помню, Корнилов принес "Демобилизацию", которую намеревался издать за рубежом. Костя сказал мне:

- Володя, безусловно, талантлив, но войну знает только понаслышке. Кое-что написано неубедительно, легковесно, но некоторые эпизоды сделаны сильно. Между прочим, есть у него даже евреи-герои. Там одна еврейка-медсестра погибает, защищая раненых солдат. По нынешним временам, писать о евреях хорошо - смелый поступок. Замысел, вообще, стоящий, но написано все же слабовато.

Я обычно пользовался случаем, чтобы вставить лыко в строку:

- Вот тебе, Костя, хороший пример и стимул. Володя решился написать о войне. А ты боишься, хотя знаешь войну не понаслышке. Я уверен, что ты напишешь лучше, достовернее.

- Не могу взять себя в руки, чтобы регулярно, планомерно, энергично работать. Часть дня уходит на домашние дела. И рецензии отнимают много сил и времени. Ведь всю графоманскую дребедень нужно перечитать, обдумать, потом на каждое такое "сочинение" составить осмысленный ответ с рекомендациями, а затем еще перепечатать у машинистки. Времени не хватает. Поэтому я часто задерживаю свои рецензии. Если я буду и впредь задерживать рецензии, то мне перестанут давать даже эту жалкую работу. И что тогда? Чем зарабатывать на хлеб насущный? Конечно же, мне стыдно и обидно, что свою жизнь разменяю на пустяки.

До 1965 г. свои рецензии Костя писал от руки. Четко, разборчиво, чтобы машинистке все было понятно. Потом, после долгих размышлений и прикидок, купил себе машинку "Колибри" и стал печатать сам - экономил время и деньги.

Главной своей бедой, причиной плохого настроения и "самоедства" Костя считал собственную неорганизованность и беспланость. Он об этом постоянно говорил не только мне, но всем своим друзьям. Сетования на собственную неорганизованность и безволие с возрастом все учащались и усугублялись, постоянно угнетала неудовлетворенность собой.

Однако Костя не был мизантропом. Он всегда держался ровно, спокойно, не терял чувство юмора и самоиронии. В одном из писем он написал мне: "Все лето бездельничал. Ничего не создал, даже философскую систему".

Время от времени он давал себе зароки начать новую жизнь. И начинал. Но довольно скоро все возвращалось "на круги своя". Он снова собирался духом, скрупулезно хронометрировал в течение многих дней все затраты времени: на сон, на утренний туалет, на приготовление завтрака, на мытье посуды, на чистку одежды, на покупку шарфика, на звонки знакомым женщинам, на переговоры с портным, на починку протеза и т. д. и т. п.

Домашние дела, как и все иные, Костя выполнял тщательно, аккуратно, педантично. Еженедельно устраивал влажную уборку тряпкой и пылесосом. Нигде ни пылинки. Кухонный столик блестит. Стаканы сверкают. Стрелки на брюках безукоризненны. Обувь начищена... На все требуется время.

А время неумолимо таяло, уходило в песок, распылялось на нескончаемые житейские дела, на пустяки. Но ни от бытовых дел, ни от рецензий Костя избавиться не мог, и это приводило его в большое уныние.

- Других людей, - говорил он, - дисциплинирует работа, ежедневные служебные обязанности. Они задают ритм жизни. Инженер, врач, учитель приходят на работу в определенное время и успевают выполнить свои служебные дела. У меня другая ситуация. Если я вечером начинаю писать, то засиживаюсь и потом не могу уснуть. Начинается бессонница. Встаю поздно, с головной болью. А если у меня вечером свидание, то и половина следующего дня пропадает. Без сомнений, я сам виноват. Безвольный человек. Запутавшийся. Не могу выбраться из этого порочного круга...

Его переживания иногда бывали столь сильны, что я не раз советовал:

- Если ты считаешь, что неотвратимо становишься безвольным, то обратись к психологу или к психиатру. Может быть, они определят причину и дадут совет или рецепт.

- Я думал об этом. Дело не в психике. Просто у меня, действительно, много неизбежных, но никчемных дел. Они перегружают меня. Например, мои ежегодные хлопоты с продлением прописки. Это же кошмар. Отнимают у меня два месяца, а то и больше. Московская милиция хорошо знает меня. Я ей надоел, и она хочет выселить меня из города.

- Почему же она так жаждет избавиться от тебя?

- Прежде всего я не коренной москвич и еврей, но при этом много лет подряд добиваюсь прописки, не имея на это, по их мнению, никакого права. Они таких очень не любят. Считают, что после окончания института я должен был уехать на периферию. Здесь же, не имея прописки, не могу найти постоянную работу. Замкнутый круг. Я не могу, как известный конструктор или ученый-атомщик, положить им на стол ходатайство Совмина, что я незаменимый для Москвы специалист по ядерной или ракетной технике.

В Моссовете или в милиции, куда я обращаюсь за разрешением на продление прописки, мне резонно советуют: "Отправляйтесь куда-нибудь, ну, хоть в Омск или в Свердловск - тоже большие города. Работайте там, как другие литработники, в редакции газеты или в школе учителем литературы. И все будет у вас: и постоянная прописка, и работа. Как у любого нормального советского человека. А вы все хитрите, цепляетесь за Москву. Зря тратите время. И свое, и наше. От дела отрываете.

Для проживания в Москве у вас оснований нет! Москва не резиновая. Она и так переполнена такими, как вы, она засорена! Постоянную прописку вы не получите ни за что. Потому что сразу же начнете требовать жилье. А жилья нет. Даже коренные москвичи живут в непотребных условиях! Ничего, скоро

поднимем саннорму до 15-ти метров, и вы не найдете себе временную жилплощадь. И не козыряйте своей инвалидностью. Вы не один такой. Тысячи таких есть - и не качают права".

- А нельзя ли, Костя, получить временную прописку, скажем, на два-три года?

- Что ты! Хорошо, что дают на год, а не на полгода или на месяц.

В начале пятидесятых, в разгар борьбы с "безродными космополитами и врачами-убийцами", в Москве сложилась беспрецедентно мрачная ситуация. Казалось, прописки больше не будет. Костя был в ужасе. Отказаться от Москвы он не мог. Он не хотел даже обсуждать такой вариант, настолько все было очевидно.

Здесь были его друзья, подруги, какая-никакая работа по специальности, бытовые условия, культура. Только живя в Москве, Костя сохранял пусть неясную, даже призрачную, надежду как-то изменить свое положение к лучшему, не опуститься на дно. Периферия с ее ограниченностью, заброшенностью пугала его смертельно. Поэтому Костя изо всех сил держался и боролся за Москву.

Большую часть своих молодых лет, своих физических сил и нервной энергии он истратил на двадцатилетнюю изнурительную борьбу за прописку и жилье в Москве.

И все же он пробил казавшуюся незыблемой стену.

Только в самом конце жизни была достигнута высшая цель, предел мечтаний - отдельная однокомнатная квартира. В 1980 г. Костя получил наконец ордер на квартиру в новом доме на самой окраине Москвы, у окружной дороги, в Теплом Стане. Он долго не переезжал туда, пытаясь удержаться поближе к центру.

Его аргументы были очевидны: инвалидность, болезни, одиночество, удаленность от мест работы. Он пытался обменять квартиру через Моссовет, через обменное бюро у Рижского вокзала, через частных посредников - ничего не получалось. Пришлось переезжать в Теплый Стан. Однако обустроиться в своей первой собственной квартире Костя уже не успел. Не хватило жизни. Так эта первая квартира оказалась и последней.

Прожил Костя все отпущенные ему годы по углам да по комнатам в коммунальных квартирах. Общие кухни, общие ванные и уборные. Скандалы из-за визитов друзей и подруг, дрязги по поводу уборки "мест общего пользования" и оплаты счетов за свет...

Все это Косте пришлось испытать в избытке. В другой атмосфере пожить ему так и не довелось.

Была у Кости с молодых еще лет важная забота, отнимавшая

немало времени и денег - забота об одежде и вообще - о внешнем виде. Он не носил ширпотребовские костюмы и пальто, а шил у более или менее известных московских портных, которых находил через знакомых.

Костя вдумчиво выбирал фасон и ткань, предпочитая в последние годы английскую шерсть серых оттенков, обращал внимание на отделку и разные аксессуары. Занимался этим серьезно и с видимым удовольствием.

Как-то мы совместили прогулку с Костиной примеркой. Он привел меня в маленькое невзрачное ателье в Лужниках. Оно занимало первый этаж стандартной "хрущевки". Закройщику, маленькому, худощавому седому еврею Якову Борисовичу, Костя был рекомендован старым клиентом как человек приличный и надежный.

Заказ на пошив костюма оформлялся, как положено, через кассу. Однако закройщик получал "на лапу" еще приличную сумму, которой делился с начальством. Это обеспечивало качественную работу и интеллигентное обращение. Попасть к такому мастеру, как Яков Борисович, законным путем было невозможно.

Костя интересовался модными журналами, следил за веяниями моды и хорошо в ней разбирался. Вообще, общая толковость позволяла Косте хорошо ориентироваться во многих областях: юриспруденции, политике, литературе и прикладном искусстве, особенно - в моде...

Костя обстоятельно, со знанием дела, сформулировал закройщику задачу: изложил свой взгляд на требуемый общий силуэт, на ширину лацканов и глубину шлицы... Маленький, молчаливый интеллигентный портной внимательно выслушал Костины пожелания, держа в одной руке кончик переброшенного через шею "сантиметра", а в другой - блокнотик.

- Константин Ильич, я с Вами в основном согласен. Да. Все же шлица должна быть глубже на три сантиметра, а карманы обработаны "в рамку". О следующей примерке я сообщу Вам заранее. Желаю здоровья!

Покупка туфель или зимней шапки становилась серьезным и трудоемким мероприятием, в которое вовлекались не только знакомые продавцы и знающие приятели, но и специалисты-товароведы. Приличную одежду или обувь даже в Москве найти было не так просто. Все охотились за "импортом", ибо только "импорт" был на уровне текущей моды, красив и добротен.

Я, в общем, не одобрял таких чрезмерных, на мой взгляд, затрат времени и сил на второстепенные дела.

- Ты не понимаешь, - говорил Костя, - что в хорошей одежде

чувствуешь себя увереннее, спокойнее. И учти, я не женат. Знакомлюсь с приличными женщинами. Не хочу выглядеть жалким калекой. Встречают, сам знаешь, по одежке. Я не могу подойти к красивой девушке в затрапезном пиджачке. Невозможно!

Однажды Костя подарил мне ко дню рождения белую сорочку с какой-то совершенно обязательной планкой и с единственно приемлемым, модным, то есть не слишком узким и острым, но и не чрезмерно широким и тупым, воротничком. К сорочке была приложена записка: "Именно такие сорочки покупай себе впредь. Они годятся и для кафедры, и для Ученого совета, и для обольщения женщин".

Как-то в "Огоньке" попалась Косте на глаза фотография Иосипа Броз Тито за рулем автомобиля - он лично отвозил Хрущева в свою резиденцию на Бриони.

- Посмотри, Моисей. Видишь, что у Тито на голове?

- Белая шапка. Ну и что?

- Не белая, а кремовая, и, именно, кепка. Очень хороший вкус. Тито выглядит раскованно, беззаботно. Видимо, он и хотел это подчеркнуть.

На Косте многие годы было одно и то же прекрасно сидящее, серое ратиновое демисезонное пальто. Строгое, всегда модное. Я как-то поинтересовался:

- А зимой тебе не холодно?

- Москва - не Сибирь. Мне только перебежать через дорогу в столовую. А в метро и в троллейбусе всегда тепло. Не хочу раздувать свой гардероб. Кроме того, всегда помню о смене жилья. Ну и финансы, сам понимаешь...

Конечно, Костя не из тряпичников. Другими мыслями была занята голова, да и денег - всегда в обрез. Вещей он имел всегда немного. Самое необходимое, но добротное, модное. Мне как-то пришлось помогать Косте перебираться с "угла" во вновь снятую комнату. Все его пожитки вместились в одну "Волгу" - такси.

Завтрак и ужин Костя готовил сам, а обедал только в диетических столовых, где бывало чище, чем в простых столовых, и пища считалась безопаснее. Поэтому, подбирая себе новую комнату, Костя обязательно учитывал и ее удаленность от диетстоловой.

Одно время, в конце 50-х, я снимал комнату на Сретенке, точнее, в Коло-кольниковом переулке, а Костя - недалеко, на Чистопрудном бульваре. Днем мы встречались у Тургеневской читальни, где я любил заниматься, и отправлялись мимо Чаеуправления вниз по Кировской к Лубянке.

Там, у площади Дзержинского, находилась лучшая из

известных нам диетет-столовых. Она привлекала нас не только сносными обедами и порядком, но и интересным "контингентом". У входных дверей в черной рамке под стеклом для общего обозрения красовался ценник-меню с перечнем всех диет и блюд. Рядом к стенке прижималась терпеливая очередь, освобождая тротуар для прохода.

В просторном чистом вестибюле всегда работал гардероб. Мы сперва обязательно раздевались, а затем садились за столику ждали официантку, как в ресторане. Посетители вели себя культурно, вежливо.

Обедавшая рядом с нами ухоженная старая дама спросила однажды:

- Я часто встречаю вас здесь. Неужели вам, цветущим молодым мужчинам, нравится эта столовая, эта диета?

- Не столько диета, сколько общество. Где еще нас назовут молодыми, цветущими? Где вежливо поговорят? Мы ценим это больше их фирменного куриного бульона.

Действительно, в столовой было чисто и хорошо готовили. Мы с Костей записали в их "Книгу жалоб и предложений" большую и убедительную благодарность.

В этой столовой "питалась" специфическая приличная публика: старики и старухи, реабилитированные недавно узники ГУЛАГа, вернувшиеся из лагерей и поселений. Народ образованный, интеллигентный, но обиженный и злой. Среди них было много больных на вид людей.

Между столиками прохаживалась диетсестра и выясняла, нет ли жалоб на качество пищи. Старики обедали не спеша, сосредоточенно. Официантки их не торопили - эти нервные клиенты могли и ответить резко, обидно.

Как все старики, посетители столовой разговаривали громко, переспрашивали друг друга. Они редко приходили парами. Это были одинокие, уставшие от жизни люди. Столовая стала для них чем-то вроде клуба. А слушать их было интересно: выражались культурно, разговоры вели содержательные. Мы с Костей полагали, что эту столовую не могут не посещать едоки в штатском: их "Большой дом" находился рядом, за углом.

Явно выделялись три типа посетителей: антисоветчики, либеральные ленинцы и твердолобые сталинисты. Иногда старики заводились и тогда высказывались резко и неординарно.

Как-то за одним столиком недалеко от нас обедали три старика и старуха. Старики - типичные совслужащие среднего звена. Старуха была не совсем обычна: изможденная, на вид язвеннобольная, с очень морщинистым интеллигентным лицом, с совершенно седыми накрученными буклями, а может быть - в

старомодном парике. Она была одета в черное строгое платье со стоячим "под горлышко" воротничком и походила, как мне казалось, на старинную классную даму. Лет ей было, наверно, за 70, но сидела прямо, ела с ножа и вилки, время от времени прикладывала к губам платочек.

За их столиком зашла речь об ответственности евреев за репрессии и за "неправильную линию" МГБ в недалеком прошлом. Женщина, явно сдерживая раздражение, втолковывала своим собеседникам, что евреи много сделали для революции и боролись со сталинскими "перегибами", за что и пострадали. Старики, как заведенные, твердили одно и то же: партийный и государственный аппарат, ГПУ и МГБ были "засорены" евреями и находились под их контролем, не только на местах, но и в центре. Старуха постепенно выходила из себя. Вдруг она резко ударила ладонью по столу:

- Вы лжете, жалкие холопы! Вы - темные, необразованные холуи! Вам евреи дали четырех богов. Вы и ваши предки поклонялись им всю жизнь. Только вы, ничтожные плебеи, способны на такую мерзость: преклоняться и тут же клеветать на кумиров. В ваших, с позволения сказать, головах только мусор и дерьмо! Презираю!

- Какие боги? Сумасшедшая старуха! Ваши евреи дали жуликов и воров.

- Вы простых истин не знаете. Господу вашему Иисусу и Пресвятой Богородице ваши деды-прадеды, отцы, да и вы, с детства молились ежедневно, пока из вас не наделали тупоумных безбожников. Воинствующих идиотов! Вы отреклись от этих богов и сразу поверили в новых - в Маркса с Лениным. Все они были евреи, евреи, евреи! Слышите?! Евреи! Вы даже этого не знаете.

Старуха еще раз ударила ладонью по столу, резко поднялась, отодвинула нетронутый стакан с киселем и, высоко подняв голову, направилась в гардероб.

В столовой стало совсем тихо, только ложки звякали о тарелки...

Много лет спустя Костя переехал на Ленинский проспект. Ближайшая ди-етстоловая находилась напротив кафе "Луна". Она, как и большинство других, была несравненно хуже той, "Кировской". Все запущено, грязно, "пустое" меню - выбирать не из чего. К тому же контингент "плебейский": озлобленные грязные старики, бомжи, приезжий народ, мешочники, охотящиеся в Москве за маслом и колбасой, за мороженными курами, конфетами и иным "дефицитом".

Другой столовой поблизости нет, в "Луне" все дорого и нет горячего. Выбора не оставалось, пришлось смириться.

В столовой Костю знали и уважали. Он был постоянным и самым примечательным из всех посетителей: культурный, благожелательный и очень интересный мужчина. Многие официантки, поварихи и судомойки, увидев его, улыбались и первыми здоровались.

- Константин Ильич, а Вы сегодня опаздываете. Что берете?

- Два рассольника и два азу. Сегодня мы обедаем с другом.

Из столовой мы переходили в закусочную за углом, где брали по стакану кофе и ржаной лепешке. Именно так заканчивал Костя свой обед, считая, что ржаные лепешки не только вкусны, но и полезны для здоровья. Стандартные кисели и компоты из сухофруктов жутко надоели.

% % %

Костя был человеком неординарным. Коллегам - литераторам он был непонятен. Они признавали в нем талантливого, глубокого поэта и удивлялись его пассивности, скромности, житейской непритязательности. Кое-кому он казался чудаком, человеком потерянным, смирившимся, отказавшимся от борьбы за место под солнцем. Регулярное общение с ним не подтверждало этого. Он не укладывался в рамки известных штампов. Он не приспосабливался ради приобретения каких-либо жизненных благ, не использовал появляющиеся возможности для продвижения наверх и был вообще чрезвычайно щепетилен в выборе средств при решении любых проблем.

Он держался независимо и гордо, хотя для этого, как полагали некоторые, оснований не было. Знакомым литераторам он был интересен как некий образ, как тип современного человека, потерявшего жизненные ориентиры, но еще не совсем опустившегося, не полностью утратившего чувства чести и собственного достоинства. Им хотелось видеть в таком типе жалкого, самодовольного человечка, скрывающего свою сущность под личиной недалекого, жалкого прожигателя жизни.

Примерно в таком духе представил Костю Левина несколько избалованный судьбой, очень талантливый писатель Юрий Трифонов в известной повести "Долгое прощание". Он был знаком с Костей, наслышан о странностях его жизни. Из имеющихся сведений с помощью собственного воображения Трифонов реконструировал образ Кости Левина.

Конечно, писатель имеет право свободно судить обо всем. Но только неэтично, непорядочно вмешиваться и по-своему лепить личную жизнь реальных, легко узнаваемых, знакомых людей, живущих рядом, на соседней улице. Абсолютно узнаваемый всеми знакомыми, Костя Левин - в повести Толя Щекин очень болезненно перенес этот нечаянный удар ниже пояса от человека,

которого знал и уважал... Вдобавок на Костю обрушился шквал телефонных звонков. Соболезнования и советы очень неприятно было выслушивать, а реагировать на них - тем более.

Вот что написано в повести "Долгое прощание":

"...И когда Ребров встретил у дверей диетической столовой старого приятеля, некоего Толю Щекина, он был уже весь во власти уныния. Этого парня, с которым когда-то учился в институте, Ребров всегда встречал на улицах. Щекин получал пенсию как инвалид войны. Он был одинок, жил скудно, почти загадочно, не пил, не курил, питался в столовых, всегда ходил в одном тонком пальтишке, с одним и тем же клетчатым шарфиком.

Встречая Реброва, Щекин почему-то разговаривал с ним свысока, с неизменной покровительственной улыбкой. А Ребров любил встречать Щекина. Один вид этого человека, который прекратил всякие попытки подняться выше нулевой отметки, улучшал настроение.

Обычно говорили о женщинах... Друзьями Щекина были продавщицы, официантки, судомойки, приемщицы из ателье и химчистки, с которыми он проводил несколько запланированных часов в неделю: приглашал в свою скромную комнату, угощал скромным ужином, бутылкой вина, иногда просто чаем с колбасой и радовался скромному призу... Ребров спросил машинально:

- Ну, как, еще не женился?

- Никогда, - захохотал Щекин и дружелюбно, хотя и несколько покровительственно, пошлепал Реброва по плечу...

В том, что честный, недалекий Щекин - почему-то Ребров был убежден в том, что Щекин недалек, - высказал так открыто и доброжелательно, была какая-то наивная, смертельная беспощадность... И прожигатель жизни по диетическим столовым двинулся Пушкинской вниз, к метро...".

Многие советовали Косте объясниться с Трифоновым и высказать свое неудовольствие. Костя, однако, этого не сделал, ибо посчитал унизительным для себя...

Уже 23 года, как нет Ю. Трифонова, 20 лет, как ушел К. Левин. А горечь осталась. Хочется крикнуть: "Толя Щекин - неуместный, неприличный шарж! Костя Левин - совсем другой человек!" Трифонов не наделил Щекина, то есть Левина, ни умом, ни талантом, ни смелостью, ни обаянием, ни военными заслугами - ничем из того, чем был щедро одарен Костя.

На сломленного жизнью и самодовольного человека Костя не был похож. Наоборот, он всегда был недоволен собой. Он постоянно повторял: "Я мало тружусь, мало пишу, мало борюсь со

злом!"

Главной целью, главной страстью и главной мукой Костиной жизни была поэзия. Он так обращался к ней, к высшему существу, к повелительнице:

К поэзии

...Поэзия, я твой галерный раб,
Прости мне эти слова.
В них все - банальщина, спесь и треск,
По правды больше в них.
Не знает никто, не знаешь ты,
Как ночью вдруг пробудясь,
Скачу к столу на одной ноге.
Корябаю слова три,
Чтоб утром, осклабясь нехорошо,
Взяв медленное перо,
Самодовольно зачеркнуть
Несбывшуюся строку.
А кровью харкать? А изнемочь,
Не победив себя ?
Нет, как хотел, я не умел,
А как умел - не хотел...

К. Л. 70-е годы.

Нет, Костя не похож на смирившегося и опустившегося Толю Щекина! Костя был очень строг к себе, к своим стихам. Беспощадно браковал даже все выстраданное, глубоко пережитое, передуманное. И снова переписывал, и снова...

В молодости он полагал, что в принципе методом правки посредственную основу, написанную сразу и легко, невозможно превратить в полноценное художественное произведение. Однако быстро пришел к заключению: над каждой вещью, как бы глубоко она ни была осмыслена, нужно много трудиться. В творческих делах, как и вообще в жизни, он не давал себе никаких поблажек, не шел на компромисс.

% % %

К сожалению, творческой работой Костя занимался не систематически, урывками, время расходовал непродуктивно. Уже в конце 50-х годов из-за неудовлетворенности собою у него бывали периоды угнетенного состояния, подавленности. Это была вполне объяснимая реакция нормального, ответственного, строгого к себе человека, не удовлетворенного работой или собственным слабоволием.

У меня сохранилась Костина записка на клочке бумаги: "17 авг. 58 г. 1 ч. ночи. Если в ближайшие недели я не стану самым организованным, самым аккуратным и решительным человеком,

то погибну. Нет, не умру, не околею, но сильно опущусь, дойду до полной потери воли, инициативы, энергии и деятельности".

Изо всех сил боролся Костя со своей "неорганизованностью и бесплановостью". Это была очень трудная, болезненная борьба с самим собой, со своей натурой.

% % %

Когда я учился в Москве или бывал в командировках - это случалось часто, - то предпочитал ужинать с Костей, у него дома. И тогда брали вино, но чаще водку, к которой привыкли еще на фронте. Он стелил на стол чистейшую салфетку, тщательно протирал оставшиеся от матери две старинные, с золоченым узором рюмки, нарезал "докторскую" колбасу и свой любимый сыр "рокфор", для меня - мне "рокфор" неприятен - что-нибудь попроще, "голландский" или "костромской". Потом тонкими ломтиками нарезался черный хлеб - "московский" или "бородинский". Выпивали мы понемногу, для душевного тепла. А потом долго беседовали. Обо всм на свете. Время улетало незаметно, приятно. Часто, особенно в молодые годуы мы говорили, разумеется, о женщинах. Я удивлялся:

- Почему ты никак не женишься? Чего медлишь? Неужели никто не нравится?

- Наоборот, многие нравятся. Даже слишком многие. Но женитьба накладывает столько обязательств! А я не уверен, что люблю по-настоящему, и, признаюсь, не совем понимаю, что такое любовь. Поэтому не хочу никого обманывать.

Женщины в его жизни занимали особое место. Они были главной, если не единственной, опорой его душевного равновесия, жизнестойкости, основным источником радости. А поэзия? Любовь к ней былэ жестока и мучительна. Она доставляла массу разочарований, гнетущее ощущение творческой несвободы и горечь поражений, ибо при сложившихся жизненных обстоятельствах писать, "как умел", Костя не желал.

И наступил глубокий внутренний разлад, преодолеть который Костя не смог, не успел. Не получилось.

Это очень личная, потайная часть его внутреннего мира, очень тонкая и хрупкая материя. Не ко всему допустимо прикасаться, разве что к чему-то, лежащему на самой поверхности. Костя очень хорошо понимал женщин, бережно, даже трепетно, относился к ним, чувствовал и понимал мельчайшие нюансы их восприятия мира и глубоко сопереживал. Он всегда был очень обаятельным мужчиной и в юные, и в зрелые годы - я помню его и восемнадцати -, и шестидесятилетним.

Еще школьником Костя проявил литературный талант и привлекал к себе внимание всех окружающих, соучениц, полагаю

- особенно. Наш общий друг Ефим Берхин, живущий ныне в Сан-Франциско, в своих заметках (газета "Кстати", NoNo 25(82) и 33(90)) пишет: "С Костей Левиным мы дружили еще школьниками в Севастополе. Он был на два класса младше меня. Мы расстались с ним в 1939 году... Вечерами мы гуляли по Севастополю. Вот он

(Костя.- М. Д.) ласково и немного иронично посмотрел на меня, чем-то озабоченного. И рождается экспромт:

Предвижу - тоской

Вы пустяшной томимы.

Наплюньте, преследуйте лучшую цель

Влюбитесь отчаянно... в витамины А, Бэ и Цэ ".

Экспромт не детский.

В школе с Костей училась Зоя Масленникова. После войны, году в 1946-м они снова встретились уже в Москве. Дальше их знакомство продолжалось до последних дней Костиной жизни. Зоя Масленникова была человеком талантливым. Ее многие знают как автора воспоминаний о Борисе Пастернаке и как создателя его скульптурного портрета. Она очень симпатизировала Косте, внимательно относилась к нему и в молодые годы, и в зрелые, - до конца.

Школьницей она коллекционировала Костины детские стихи, собрала их в отдельную книжицу, переплела и, кажется, в 1947 году преподнесла ему в подарок. Трогательно.

Костя всегда очень тепло и благодарно отзывался о Зое.

Женщины своей признанной "дамской интуицией", своим инстинктивным и житейским чутьем сразу угадывали в Косте необыкновенного мужчину. Они тянулись к нему, благожелательному, честному, загадочному. Они влюблялись и любили его. И он любил их искренне и нежно. Точнее не скажешь. Он никого не обманывал, но сразу давал понять: "Я не жених!"

Костя очень дорожил своей личной независимостью и свободой. В частности, и по этой причине он не решился связать себя семейными узами. Были и другие, потаенные причины, помешавшие ему вступить в брак, обрести спокойное семейное счастье.

Чтобы по-настоящему преуспеть на любом поприще, нужно отдать ему себя целиком: все силы, все чувства, все время. Все без остатка! Такова была его нравственная максима.

Какую же часть своей жизни, своих чувств отдать творчеству, а какую любви к женщине? Для максималиста, каковым был Константин Левин, труднейшая дилемма! Работать - так на Славу, любить - так королеву!

Были еще причины, приведшие к одиночеству. Одна из них связана с ранением. Свое, в некотором смысле почетное, увечье

Костя успешно компенсировал выправкой, внешним видом, располагающей манерой общения. Тем не менее при некоторых обстоятельствах громоздкий тяжелый протез с ремнями, специальным поясом, шерстяным чулком и прочими атрибутами оказывался крайне неуместной, даже шокирующей обузой.

Костя достойно, тактично и с тонким чувством самоиронии, хотя и не без труда, преодолевал такого рода затруднения. Иногда в порыве досады и самозащиты он комплексовал и называл себя "обмылок, обсевок, огарок".

И, конечно, не последнюю роль в его одиночестве сыграли особенности мужской натуры Кости: и желание обладать, и жажда новизны, и страсть охотника.

Стремление к самоутверждению естественно и похвально, однако пути к нему неисповедимы. Любовь к женщине, особенно в молодые годы, была сильнее других страстей. Много было передумано, пережито Костей, но вслух не высказывалось. Подтверждение тому - оставленные им стихи и наброски :

Обмылок, обсевок, огарок,
А все-таки в чем-то силен,
И твердые губы дикарок
Умеет расплавливать он.
.....
И вот уже дрогнули звенья:
Холодный азарт игрока,
И скука, и жажда забвенья,
И темное чудо греха.
К. Л. 60-е годы.

Любой человек уносит с собой большую часть пережитого, не поверяя ни бумаге, ни друзьям. Это естественно. Так что было еще нечто такое, чего мы уже никогда не узнаем.

% % %

В самом начале 60-х у Кости, зрелого, почти сорокалетного мужчины, возник продолжительный, трогательный, даже пронзительный роман со студенткой московского мединститута М. Она была красива какой-то необыкновенно яркой, восточной красотой. Поражали прежде всего ее зеленые, таинственные, колдовские глаза, внимательный, сосредоточенный взгляд.

Костя познакомил нас в самом начале их знакомства и потом несколько раз "показывал" ее мне. Мы вместе побывали на выставке в Сокольниках, ужинали в каком-то кафе, гуляли по ЦПКиО. Она была общительна и умна. Меня приятно удивили ее естественный такт и вежливое остроумие. Я был рад за Костю и высказал ему свое восхищение: "Потрясающая девушка! Не упусти ее, Костя!"

Я не сомневался, что это прекрасный выбор, и надеялся - окончательный. Костя ездил с М. и в свой любимый Крым, и на Украину, в Днепропетровск. В гостиницах они представлялись супругами. Этими путешествиями он был очень доволен. Из Костиных рассказов по мелким деталям можно было понять, что при близком общении М. оказалась доброй и покладистой, что она всем хороша, что привязалась и полюбила Костю. Все шло прекрасно, и, мне казалось, свадьба была не за горами.

Подошло время представиться ее родителям.

Выросла М. в очень высокопоставленной мидовской семье. Отец М. и ее старший брат - тоже значительный человек в МИДе - подолгу жили и работали за рубежом. Приближалось окончание института, назначение М. на работу, начало самостоятельной жизни, и она настаивала на скорейшем знакомстве Кости с родителями. Он же всячески оттягивал свой визит в ее дом.

В мае 1961 г. из Швейцарии приехал в отпуск отец М. Так совпало, что в это же время проездом из Китая в Москве оказался ее брат. Под влиянием семьи М. настояла, и, поразмыслив, Костя согласился на визит в качестве официального жениха. Более того, у него появился даже некоторый познавательный интерес к предстоящей беседе. Он заранее продумал линию поведения: главное - не дать втянуть себя в дискуссию на политические темы.

Наступил день, когда М. представила Костю родителям и брату. Потом они с матерью ушли в столовую готовить соответствующий случаю ужин. Отец же пригласил Костю в кабинет для ознакомительной "светской" беседы. Говорил отец искусно: сдержанно, уважительно, но с некоторой строгостью в голосе.

Сначала он тщательно расспросил Костю о его делах:

- Где Вы работаете, Константин Ильич?

- Я периодически работаю литературным консультантом в различных редакциях и в Союзе писателей.

- Почему у Вас нет постоянной работы?

- Я как-то не привык к строгому распорядку дня. Я ведь не инженер, не учитель, а литератор, хотя и мелкий.

- Может быть, Вам ранение мешает?

- Нет, нет. Просто писать дома удобнее, все под рукой.

- А почему не публикуетесь? (Видимо, М. проинформировала.)

- Так получается. Значит, не написал ничего достойного. Муза не посещает.

Дальше начался форменный допрос: "Как Вы, Костантин Ильич, относитесь к диссидентствующим писателям?"

- Неоднозначно. Писатели бывают очень разные, - уклонился

Костя.

- К какой части общества Вы себя относите?

- На какие части Вы делите наше общество? Мне Ваша классификация не известна.

- Я делю общество на три части. Одна часть поддерживает избранный в 1917 году путь. Вторая часть - их немного - это молчаливое меньшинство противников нашего строя. А третья часть - равнодушное большинство, люди без собственного мнения. Они опасны, потому что поддаются разным влияниям.

Отец М. настойчиво пытался выяснить, к какой категории относит себя Костя.

А Костя упрямо, хотя и вежливо уходил от ответа. Зондирующая беседа продолжалась еще долго, и в основном - вокруг политических проблем.

В любых разговорах и дискуссиях Костя всегда находил верный тон, производил хорошее впечатление. Он был эрудирован, общителен, находчив, остроумен.

В конце визита Костя дал понять, что впредь политические разговоры поддерживать не намерен. Другие же темы их, ортодоксальных сталинистов, не интересовали. Говорить с ними было не о чем, и Костя довольно рано откланялся.

Из разговоров и последующих замечаний М. Костя выяснил, что отец и брат его не одобрили. Матери же он понравился, хотя и показался староватым для дочери. М. к итогам визита отнеслась равнодушно. Она просила Костю не обращать внимания на политические взгляды отца и брата, поскольку считала себя человеком самостоятельным и независимым. Костины взгляды она одобряла, а лишь это, по ее мнению, было важно.

Роман продолжался, и через некоторое время я задал Косте прямой вопрос: "Когда же свадьба?"

- Не знаю, - ответил Костя. - Я вообще не знаю, что будет дальше.

- Ты не любишь ее? Говори честно.

- Люблю. Сейчас я люблю. А что будет через год? Не знаю. Я, наверно, нехороший человек, потому что даже теперь заглядываюсь на других женщин. И ничего поделать с собой не могу. Такова моя правда. Я - в растерянности. Не могу дать М. гарантию на всю жизнь и обманывать не хочу. Женитьба может закончиться трагедией... Не вижу выхода.

- А как другие? Все женятся и не боятся. Полюбил и женился.

- Она прекрасная женщина! Сегодня я ее люблю. Но я и себя знаю. Я человек ненадежный. Что дальше...

- Дальше она родит прекрасных детей, и все будет, как в других семьях.

- Это не шутки. Надо и о другом думать. Она привыкла жить широко. Правда, сейчас она готова жить со мной где угодно, даже в коммунальной комнате. А что будет через год, через два? А от ее родителей зависеть не хочу. И, конечно, со своей натурой ничего поделать не могу. Такой тупик...

Через несколько месяцев после трудных объяснений они расстались. Этот драматический поворот имел самые трагические, не сразу проявившиеся последствия в жизни Кости. Он мог и должен был подумать об этом, но упустил время...

Костя тяжело переживал разрыв. Думаю, и она страдала. Потом стало известно, что М. вышла замуж за инженера по электронике (еврея, между прочим), родила дочку. Этот брак не выдержал испытания временем - они разошлись. М. снова стала встречаться с Костей. У них восстановились добрые отношения. Ко дню рождения они писали теплые поздравления и делали друг другу подарки. Костя показывал мне купленные для М. черные английские туфли-лодочки, а она подарила ему пылесос... Потом М. снова вышла замуж, уехала за границу и там затерялась...

Все последующие годы, до конца жизни, Костя вспоминал М. Много лет спустя, незадолго уже до смерти, он в порыве признался мне:

- Ты был тогда прав. Честно признаю. Мне в жизни часто не везло. Но не всегда в этом бывал виноват я. Для меня это важно. Собственную вину и собственные ошибки сознавать особенно трудно. Вот оторвало мне ногу. Большая потеря. Плохо без ноги, особенно с женщинами. Но в этой потере я не виноват. Судьба. АМ.- самая большая и самая обидная утрата. И виноват я. Только я сам. Простить себе не могу. После нее - пусто.

Мысленно возвращаясь к тем временам, Костя впоследствии писал:

Теперь-то можно подводить итоги: Жизнь прожита и сожжена дотла. Средь всех, с кем вышло встретиться в дороге, Как оглянусь, ты только и была.

Я признаю. И все ж у полустанка, У тупикового, где смерть и мгла, Твержу придурковато и бестактно: Как оглянусь, ты только и была. К. Л.

Чрезвычайно болезненно принимала к сердцу одиночество и неустроенность Костиной жизни его мама. Она в конце войны разошлась с Костиным отцом и до самой смерти жила во Львове. Она писала единственному сыну печальные, скорее даже, трагические письма, умоляя его как-то устроить свою личную жизнь. Костя, конечно, успокаивал ее, ездил изредка в гости и обещал все устроить. Не устроил. Тяжкий крест для матери, всю жизнь мечтавшей об устройстве сына и о внуке.

% % %

Без любви, может быть, и просто без увлечения женщиной, жизнь теряла всякий смысл и ценность. Это был кислород, без которого человек умирает. В делах любви, во всем, что связано с любовью, Костя был большим знатоком, тонким, искушенным ценителем, оставаясь при этом человеком деликатным, скрытным и глубоко порядочным. Для него свидание с женщиной было большим, желанным, радостным праздником.

Часто наблюдал, как, готовясь к свиданию, Костя тщательно, долго бреется лезвиями. Я советовал упростить и ускорить этот процесс, для чего подарил ему электрическую бритву. Однако Костя упорно продолжал бриться лезвиями.

- А почему ты не бреешься моей электробритвой? Отличная бритва, со знаком качества. Я такой бритвой всегда бреюсь. Очень гладко. Попробуй и убедишься! Ты теряешь много времени зря. Вот и ногти полируешь подолгу, как барышня. Зачем?

- О-о, ты не понимаешь. Ты грубый человек. Свидание - это праздник не только для души, но и для тела! Она должна надолго запомнить этот день, вернее, - ночь. А раз ты не чувствуешь разницы между лезвием и электробритвой, то и объяснять не стоит.

Сохранилась Костина запись, помеченная 1965 годом (после разрыва с М.):

"Женщин было много, и у всех были плохие руки, костлявые в запястьях, с потливо-холодными и, казалось, плохо вымытыми, синюшными кистями. Вспомнил ее руки - розово-белые, то теплые, то освежающе-прохладные, но всегда сухие, мягкие, выхоленные со вкусом, то есть не броско отманикюрен-ные, и особенно эти полные, крепкие запястья, которые так любил сжимать, чувствуя прилив нежности, доброты и непонятной веселости, и - ерунда такая - эти запястья напоминали тигренка или породистого щенка, и всякий раз говорил ей об этом, и она тоже смеялась в ответ своим потаенным, медленным, грешным смехом". Такое искреннее, щемяще-трогательное воспоминание о М.

Поначалу я не представлял себе, в какой удивительный тайный мир уходит время от времени Костя. Я лишь подозревал, что он, возможно, глубже и острее переживает любовь к женщине. Он никого не подпускал близко к завесе, отделявшей его тайную жизнь от видимой. А она, эта тайная жизнь, и была главным источником, питающим его энергией, оптимизмом и стойкостью. Свои тайны Костя охранял строго.

Стиль жизни, стереотипы поведения человека в обществе, отношение к женщине вырабатываются постепенно, исподволь, с

молодых лет, а затем, в зрелые годы, становятся второй натурой. То же происходило и с Костей, когда в 40-е и 50-е годы окончательно сформировалась его личность.

Женщин в Костиной жизни было много. Еще совсем молодым он написал им, своим подругам, новогоднее поздравление:

Я хотел бы выпить молчаливо
Новогоднее свое вино
За здоровье тех далеких женщин,
С кем пришлось мне в жизни быть на "ты",
Чтоб у них печалей было меньше,
Чтоб сбылись их скромные мечты.
Чтобы их другие полюбили
Проще и верней, чем я умел.
Чтобы серые и голубые
Их глаза светили мне во тьме.
Чтоб я шел дорогою земною
К общей неминуемой черте,
А они б кружились надо мною
В той первоначальной красоте.
К. Л. 1950 г.

Костя хорошо понимал прозу нашей жизни. Он наблюдал ограниченность, убогость, вынужденное смирение одних и неуемное честолюбие и безграничную алчность других. Однако он не стал ни циником, ни равнодушным прожигателем жизни, ни стяжателем. Он до конца оставался лириком, мечтателем, романтиком. Вот как почти на исходе жизни он вспоминает улетевшие дни, наполненные любовью, тихой радостью и печалью:

Что я помню в тех далеких
синих сумерках декабрьских?
Только долгое свеченье
узких глаз твоих дикарских.
Ты пила неговорливо и любила молчаливо,
А глаза - как два кинжала,
два канала, два пролива.
Это сумерки стянули память крепкою супонью,
Все забыл, а плечи помню,
руки помню, губы помню...

И еще, как бьют басово темные часы стенные,
И окалину заката сквозь портьеры шерстяные.
Догорает год, как свечка,
дни становятся короче.
Только сумерки и помню,

но не вечера и ночи.

К.Л. 1982 г

До конца жизни Костя любил, был полон этим прекрасным чувством, глубоко понимал и ценил красоту, дышал ею, жил ею. На пороге старости он писал:

... Но как ты ходишь, как ты движешься!
Как вопросительно глядишь!
Вся нега Востока, вся блажь парижская
В тебе спаялись. Какая дичь!
И стыд какой - что об этом думаю
На пятьдесят восьмом году,
Что эту голову темно-лапанную
Повсюду высматриваю и жду.
Спасибо, женщина из Вильнюса,
За этот март,
За то, что так сумела вклиниться,
За горький фарт.
За то, что стыдным тем художествам
Учусь опять:
Вставать в бессоннице, тревожиться
И ревновать.

К. Л. 1981 г.

"Этот март" был не только предвестником неизбежного увядания, но и так случилось - началом неотвратимой трагедии...

В последние годы, когда начали одолевать болезни, Костя все больше замыкался, редко появлялся на людях. Но до доследних дней сохранил красоту и мужское обаяние. В "Заметках о поэзии" (Альманах "Поэзия", No 30, 1981 г.) Вл. Соколов написал: "Константин Левин. Он жив и сегодня. И по-прежнему этот красивый человек прихрамывает отнюдь не для шарма. Просто после тяжелейшего ранения нога его все сокращается...".

% % %

Причин для горьких размышлений, сожалений и разочарований было немало. Где-то году в 1975-м у Кости возник роман с тихой миловидной замужней женщиной, работавшей на Центральном телеграфе. Ее отношения с мужем были странны и запутанны. После знакомства с Костей они и вовсе прекратились. Через несколько месяцев их связи, уже твердо зная, что Костя "не жених", она объявила, что беременна и обязательно будет рожать, потому что хочет иметь ребенка именно от него. Костя попытался отговорить ее от такого шага, но тщетно:

- Как же ты одна вырастишь и воспитаешь ребенка? От меня помощь мала.

- Не беспокойся. Помощь мне не нужна. Я сама все устрою.

Воспитаю.

И она устроила: вернулась к мужу, родила мальчика, уговорила мужа усыновить его.

Несколько лет поддерживал Костя добрые отношения с этой женщиной. Он приходил в какие-то скверики, где она гуляла с его сыном, приносил небольшие подарки, пытался давать деньги. Женщина от денег решительно отказалась, но на свидания приходила, дарила Косте фотографии сына. К пяти годам мальчик стал очень похож на маленького Костю севастопольских времен (1930 г.).

Они разговаривали, и мальчик называл Костю "дядей". Когда мальчику исполнилось шесть лет, он дома похвастался, что к нему в садик приходит дядя и дарит машинки. Мать встревожилась и запретила Косте встречаться с сыном. Тогда Костя попросил ее иногда звонить ему и сообщать о сыне, а также давать знать в любом случае, когда появится нужда в его помощи. Кости-но тайное, не реализованное по-настоящему отцовство стало еще одним источником отрицательных эмоций и тяжелых раздумий. Он все больше запутывался и разочаровывался в жизни, чувствовал себя согрешившим, но определить меру собственной вины перед сыном и его матерью не мог. Осталась еще одна незаживающая рана.

% % %

Многолетняя борьба Кости с самим собой приносила весьма скудные плоды. В последние годы он стал несколько интенсивнее работать. При этом он вынужден был во многом отказывать себе. Он подготовил к публикации в московских журналах несколько стихотворений, однако в редакции не отправил.

Он передал несколько стихов для "Антологии русской поэзии", которую в течение многих лет готовил к изданию за рубежом Евг. Евтушенко. Костя продолжал урывками обдумывать план романа, но не додумал и ни строчки не написал. План так и не созрел.

По-прежнему много времени отнимала подработка. За долгие годы Костя отшлифовал свой метод и рациональную технологию составления рецензий. Костина работа литконсультациям и редакциям нравилась. Его рецензии были корректны и содержательны, благожелательны, максимально откровенны и заключали в себе полезные советы авторам. Платили за эту работу гроши, поэтому литераторы Костиного уровня ею пренебрегали. Со временем Костя как-то привык к такому неблагодарному труду, смирился и стал даже находить в нем некоторое, хотя и слабое, удовлетворение.

Он заставил себя экономить время на бытовых делах: меньше

звонил, реже встречался с людьми, реже делал уборки...

Исподволь начались болезни. Портились зубы, что приводило Костю в большое уныние. Приближалась старость. Все реже и короче становились встречи с друзьями и подругами. Прежние знакомые женщины давно уже как-то устроили свои жизни, были заняты своими будничными делами, отстранились от Кости. Окружающий мир постепенно тускнел, обесцвечивался, терял свои прелести. Все очевиднее и тягостнее становилось убеждение, что жизнь истрачена зря...

Подобные мысли появились довольно рано. Они, эти мысли, не вызывались спонтанными душевными порывами или мимолетными неудачами и трудностями, отнюдь. Они присутствовали постоянно с конца 50-х годов, лишь укрепляясь со временем. Несмотря на это Костя не стал мизантропом, не озлобился. Он остался человеком доброжелательным, справедливым и мягким:

Я прожил жизнь не так,
Как намечал когда-то,
Атак и контратак
В ней было маловато.
Не выполнил программ,
Все проворонил числа,
Все игры проиграл,
Но - не ожесточился.
К. Л. 1969 г.

Эти строки очень точно отражают его мироощущение.

В 70-е годы Костя говорил еще, что не чувствует приближения старости, хотя мысли о бренности бытия и о неизбежном конце возникали все чаще. Мы, бывало, рассуждали о предназначении человека, о вере в Бога, однако достаточно отвлеченно и с некоторой долей иронии. Тем не менее мы понимали, что искренняя вера утешала бы в старости, примиряла бы с неизбежностью ухода, укрепляла бы дух.

Тогда мы начали понемногу читать Библию и задумываться над вечными проблемами бытия. Моей любимой книгой стал Екклезиаст (Когелет). Я поверил в справедливость его простой мудрости и зачитывал сомневающемуся Косте известные строки: "Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это - доля твоя в жизни и в трудах твоих..." (Еккл. 9:9).

В 80-е годы, перечитывая книги Ветхого Завета, я пытался самостоятельно осмыслить их суть и так шаг за шагом приближался к "неформальной" вере в Единого Бога, не принимая

при этом ритуальных и обрядовых предписаний.

Костя тоже много думал и говорил об этом. К размышлениям о вере его подталкивало и более интенсивное в последние годы общение с Зоей Масленниковой, которая серьезно ушла в религиозные дела. У нее на даче под Москвой был кружок верующих людей, в том числе и молодых. Увлечь Костю Зоя не смогла. Он не проникся верой в Бога и остался непреклонным в своем атеизме до последнего дня жизни:

... Не острою, но стойкою тоскою
Полна душа уже который год.
О, если б знать мне что-нибудь такое!
Но вера в бога тут не подойдет.
По собственной программе обучаюсь
И, суетою душу не дробя,
К кому-то с тихим словом обращаюсь,
Но не к тебе, не верю я в тебя.
К. Л. 80-е годы

Костя был убежден, что из-за невезения и множества совершенных ошибок жизнь не удалась и уже нет возможности изменить ее ход. Однако от своих убеждений он не отказывался и кривить душой не собирался. Для него важнее всего было сохранить достоинство и оставаться самим собой:

Подсобите, мученики века,
Поудобней не искать оков
И, не слишком веря в человека,
Все же не выдумывать богов.
И, прощально вглядываясь в лица,
Перышком раздумчивым скребя,
Не озлобиться и не смириться,
Только две задачи у тебя.
К. Л. 80-е годы

Время неумолимо утекало неизвестно куда, изливалось однообразными буднями. Ничего удивительного не случалось. Притуплялись чувства, угасали страсти - иссякал источник жизненной силы, оптимизма и вдохновения. И это эмоциональное угасание сопровождалось физическим умиранием. Костя все это осознавал и спокойно, мужественно прощался с жизнью.

Захотелось под конец повидать прекрасный Крым, где прошли лучшие годы жизни - золотое детство, вдохновенная юность. Там он был полон радужных ожиданий, мечтал и надеялся. Он не сомневался, что достигнет вершин славы, завоюет признание людей. Многое могло бы свершиться. Но нет, оказалось - все суета. Рассеялись мечты. Ушло время и унесло с собой надежду. Не надо обольщаться, не надо притворяться.

Жизнь - не театр, повторить спектакль невозможно.

Возможно лишь побывать напоследок в тех местах.тде ты встретил утро жизни, где родились и расцвели мечты, и будущее казалось невыразимо прекрасным и многообещающим. Все прошло:

Вот и стал я старым евреем,
Опустившимся и больным,
А не двинуть ли в зимний Крым?
Самое время.
Побродить в предгорной глуши,
С морем вежливо попрощаться
И считать, что это причастье
Для безбожной моей души.
Для безбожной моей души
Мало этого, мало, мало.
Мало, жизнь, ты меня ломала,
Мне тупила карандаши.
Мало я про тебя допер,
Мало ты про меня узнала.
Ну, заладил: мало да мало!
Клади голову под топор.

И когда совсем погас огонь страстей человеческих, Костю настигла редкая, жестокая и беспощадная болезнь.

% % %

Беда подкрадывалась незаметно, исподволь. В марте 1981 г. Костя решил съездить на курорт Друскининкай (Литва) - укрепить здоровье. Купил путевку в санаторий, подлечился, отдохнул и еще неделю провел в Вильнюсе. Дня через два после возвращения в Москву он обнаружил в левой части груди, под соском, уплотнение. В течение двух месяцев это странное уплотнение не только не уменьшилось и не рассосалось, но, наоборот, - увеличилось. Пришлось обратиться к врачам.

Даже в июне Костя еще не всполошился, не допускал мысли о серьезной опасности для жизни. Я помню, как он тогда еще отшучивался:

- Эта опухоль мне "сразу не понравилась", как Рабиновичу, заставшему свою Сару в постели с Абрамовичем. Помнишь? Пройдя мимо любовников на кухню, Рабинович убедился в своих худших предположениях, а именно - фаршированную рыбу они съели!

- Хорошенькие шуточки.

- Ну, на кухню я еще не заходил. Вот сделаю все анализы, покажусь онкологу, тогда и узнаю, что сталось с фаршированной рыбой.

Анализы оказались весьма тревожными, внушающими худшие опасения: рак грудной железы. Мне кто-то из врачей прямо сказал:

- Такой диагноз для мужчины практически - смертный приговор. Надежды на благоприятный исход ничтожны.

Влиятельный знакомый, однокашник по Литинституту, известный поэт и общественный деятель Расул Гамзатов и кое-кто из друзей сделали доброе дело - устроили Костю на лечение в "Каширке" - лучшей клинике Всесоюзного онкологического научного центра Академии медицинских наук (ВОНЦ) на Каширском шоссе, 6.

Директором этого центра был тогда академик Блохин, и поэтому обитатели "Каширки" называли клинику Блохинвальдом.

Вначале Костя обвинял себя в том, что по собственной лености затянул обследование и довел себя до столь печального состояния. Впрочем, врачи в этом его не обвиняли, что было для него некоторым утешением: "Я не виноват".

До конца 1981 г. оставались еще какие-то призрачные надежды, и Костя продолжал верить врачам. В клинике ему был обеспечен приличный уход. Его поместили в отдельную палату, поскольку других мужчин в отделении "Молочная железа" не было. Сплошное женское окружение поначалу стесняло Костю, затем привык.

В первый месяц действия врачей недоверия не вызывали. Однако спустя месяц Костя заметил, что они сами не верят в эффективность лечения...

На 22 июля 1981 г. была назначена так называемая "радикальная" операция. Оперировала доктор медицинских наук Вишнякова. Она была доброжелательна, внимательна и общительна, подробно объяснила Косте цель предстоящей операции, ободряла его. По ходу "радикальной" операции была предусмотрена "срочная гистология", то есть микроскопическое исследование на наличие раковых (атипичных) клеток. Результат этого исследования оказался, увы, неутешительным - "атипичные" клетки обнаружились.

После операции была, как положено, реанимация, интенсивная терапия... Левая рука действовала плохо, самостоятельно управляться одной рукой на одной ноге было трудно.

Костю на время взяли к себе его близкие, добрые друзья Лена и Марк Кисенишские. Последние надежды на улучшение рассеялись - болезнь прогрессировала. Последовали три тяжелых и бесполезных курса "консервативного" лечения, но ни известные лекарства, ни специальная "химия", ни рентген не помогли.

Несколько раз в клинику приходила Зоя Масленникова. Костя был рад ее визитам. Она приносила портативный магнитофон и записывала Костин голос: он читал стихи - свои и чужие. Читал красиво, проникновенно.

В 1983 году, когда все надежды окончательно рухнули, Костя говорил о смерти внешне спокойно, хотя очень любил жизнь, и близость смерти его страшила. Он завидовал Есенину, уже преодолевшему последнее расставание:

... Мы у цветного ящика сидели
Не где-нибудь, а на Каширском, 6,
И думали о собственном уделе,
Каков он есть.
Но я-то знал, что нету мне спасенья,
Что свой отрезок я уже прошел,
Что хорошо тебе, старик Есенин,
Что мне нехорошо.

В октябре 1984 года клиника отказалась держать у себя "неперспективного" Костю. Пришлось ему переселяться в Теплый Стан, в свое неухоженное жилище. Привести в порядок свою первую (и последнюю) квартиру Костя уже не успел, даже книги не распаковал. На самом краю Москвы, в не обустроенном еще районе новостроек, стало совсем трудно. Поблизости не было ни магазинов, ни диетстоловой, ни аптеки, ни рынка.

Костя научился кое-как варить простую еду: бульон из курицы, картофельное пюре, кисель. Болезнь обострялась, становилось все труднее управляться с протезом. Костя невыносимо страдал от болей, от раздиравших его метастазов. Физические страдания усугублялись бытовой неустроенностью и одиночеством.

Говорить о настоящем, а тем более о будущем, было невозможно - о чем?

Мы вспоминали прошлое, то военное прошлое, которое соединило нас 42 года тому назад. Больно было смотреть на Костю, осунувшегося, сильно постаревшего и поседевшего после лечебных курсов рентгено- и химиотерапии. Он держался исключительно мужественно, пытался отвлечься от боли и тяжких мыслей чтением, но скоро это стало невозможно. Как-то он взялся читать "Опыты" Монтеня. Начал с маленькой главки "О боли". Прочел несколько строк и не выдержал, отложил - голова раскалывалась от боли.

Он не хотел никого затруднять, стеснять, обременять своей беспомощностью. В Теплый Стан к Косте по просьбе Зои Масленниковой часто приходила ее приятельница Таня, молодая верующая женщина. Она очень заботливо, как близкий человек,

ухаживала за Костей: ходила в магазины, на рынок, варила, убирала. Удивительно добрая, внимательная и неутомимая женщина - истинная христианка.

- Константин Ильич, - говорила она, - я поеду сейчас не рынок, куплю красивые цветы, в Черемушках есть. Приготовлю вкусное жаркое. Выпьем вина, и, - увидите, Вам станет лучше. Я верю, я убеждена.

- Спасибо, Таня, но незачем ездить в Черемушки. Я красоты цветов не понимаю.

- Ну, что Вы, цветы - это очень красиво!

- Это надо чувствовать. А я не чувствую. Уже не чувствую. Раньше любил театр...

- Я все-таки съезжу. Вам станет лучше. Верю. Я скоро вернусь. Лучше не стало.

В последние дни боли усилились неимоверно. Для их купирования кто-то советовал калечащую операцию. Аптекари отказывались продавать большие дозы болеутоляющих лекарств. Говорили: "Вы все забрали для Левина. Есть еще больные. Надо совесть иметь". Я объяснял и упрашивал управляющую аптекой. Она в конце концов находила какие-то свои "внутренние резервы" и отпускала по рецепту. А он терпеливо ждал и не возмущался...

Костя, превозмогая боль, писал до августа 1984 года. Все надежды давно рухнули, уходили последние дни жизни, а он писал. Какая сила воли и любовь к поэзии! Он оставался до конца самим собой: открытым, мужественным, доброжелательным. Последнее стихотворение такое же искреннее и честное, как вся его жизнь. Больше всего он сожалел, что не написал "вещих", пророческих стихов:

Я подтверждаю письменно и устно,
Что, полных шестьдесят отбыв годов,
Преставиться, отметиться, загнуться
Я не готов, покуда не готов.
Душа надсадно красотой задета,
В суглинке жизни вязнет коготок.
И мне, как пред экзаменом студенту,
Еще б денек, а мне еще б годок.
Но ведомство по выдаче отсрочек
Чеканит якобинский свой ответ!
Ты, гражданин, не выдал вещих строчек,
Для пролонгации оснований нет.
Ступай же в ночь промозглым коридором,
Хоть до небытия и неохоч.
И омнопоном или промедолом
Попробуй кое-как себе помочь.

К. Л. 14 авг. 1984 г.

Сидя у постели, я подумал: "Вот Костя завершает круг жизни. Все, что было с ним, что случилось - все напрасно, все суета: и мысли, и дела, и печаль, и радость, и любовь. Все ушло в никуда, превратилось в прах, в дым". И вспомнились печальные пушкинские слова из моей первой, фронтовой "настольной" книги:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты нам дана?
И зачем судьбою тайной
Ты на смерть обречена?

Тысячи лет раздумывали над этим люди. Пытались понять смысл нашего временного пребывания на Земле. Ответа нет. Поколение за поколением приходит в этот мир и уходит. Рождаются и умирают. И все возвращается к исходу. Именно об этом размышлял мудрый Екклезиаст, глядя из своего чертога на Храмовой горе в долину Гейеном, в Геену огненную, распростертую пред ним. Пушкин лишь облек эти вечные вопросы, этот вопль человека, обращенный к Богу: "Зачем? Для чего я живу?!", в прекрасную оболочку.

Ответа не было и нет. Смысл и предназначение жизни так и остались непостижимой тайной бытия.

% % %

19 ноября 1984 года ушел из жизни мой самый близкий, мой последний друг юности Константин Левин. Он оставил по себе добрую память и еще стихи в ящике письменного стола. Некоторые из них увидели свет после его смерти и не канут в Лету, даже если они не столь совершенны, как того хотелось Косте, самому строгому судье своим поступкам, делам и стихам.

Он всю жизнь стремился к совершенству и был чрезвычайно требователен к себе. Он тонко ценил красоту во всех ее проявлениях: в поступках, в искусстве, в литературе, в женщинах. В последнем стихотворении он написал: "Душа надсадно красотой задета..."

Он очень хотел еще жить: "Еще б денек, а мне еще б годок..." Но сроки его жизни были кратки, и он ушел...

Последний раз я увидел Костю в прощальном зале крематория. Он лежал в гробу, строгий, красивый, в своем ладном сером костюме. Люди подходили к нему, что-то говорили... Я подошел к Косте и сквозь душившие меня слезы сказал ему прощальные слова.

Чуть поодаль стояла кучка заплаканных женщин в черных одеждах. Они стояли, склонив головы, не решаясь подойти к гробу, чтобы в последний раз прикоснуться к его голове и сказать

что-то на прощанье.

Потом гроб опустился, створки над ним сомкнулись, и Костя исчез навсегда.

% % %

За сорок два года дружбы я не сделал для Кости всего, что мог и должен

был сделать. Я в долгу перед ним. Это не дает мне покоя. Теперь я понимаю, что нужно было торопиться познавать жизнь и осмысленно творим, добро Лишь переступив порог старости, я осознал, как быстротечна эта жизнь! И это тоже волнует и печалит...

Моей настольной книгой стал Екклезиаст, очень светская книга Завета, книга о страстях человеческих, о бытие, о деяниях и о смерти. Слишком поздно уже что-либо предпринимать, чтобы изменить течение жизни. Потому что всему свое время, свои, увы, краткие сроки:

Есть время жить - и время умирать.
Всему свой срок. Всему приходит время.
Есть время сеять - время собирать.
Есть время несть - есть время сбросить бремя.
Есть время убивать - и врачевать,
Есть время разрушать - и время строить.
Сшивать - и рвать. Стяжать - и расточать.
Хранить молчанье - слова удостоить.
Всему свой срок. Терять и обретать.
Есть время славословий - и проклятий.
Всему свой час. Есть время обнимать
И время уклоняться от объятий.
Есть время плакать - и пускаться в пляс,
И побивать каменьями кумира.
Есть час любви - и ненависти час.
И для войны есть время - и для мира.
Еккл. 3:1 - 8. Парафраз Г. Плисецкого.

Э П И Л О Г

Все проходит. Прошли дни, пробежали месяцы, пролетели годы, пронеслась, отшумела жизнь. Истратились силы и молодой задор, угасли желания. Невозможное свершилось, а возможное не удалось. Недостало понимания жизни и решимости. Не хватило мудрости и смелости. Как поздно приходит постижение простых явлений и как много печали в запоздалом прозрении!

Все проходит. Из тридцать восьмого курсантского взвода никого уже не осталось.

Я - последний. Мои друзья молодости Левин, Казаринов, Степанов, Козачинский и моя Ева не завершили своих земных

дел, не успели приготовиться к вечности. Не успею и я. Но я помню вас! Не могу забыть. Вы навсегда остались в моих мыслях. Мое желание и мой долг передать память о вас тем, кто следует за нами, кто захочет и сможет принять эту память и, возможно, передать дальше...

Вы не продлили себя в детях. Не было у вас ни сыновей, ни дочерей. Так сложилась ваша земная жизнь. Тем более я хочу, я обязан вспомнить о вас!

Мы в одно время пришли в этот мир и жили на Земле, мы знали друг друга. Безвременно, несправедливо пресеклись ваши жизни. И унесло вас туда, куда уносит все живое, - в никуда.

Придут из ниоткуда и расцветут на свой срок новые жизни, новые поколения. Они тоже совершат свой круг, и их унесет безжалостное Время в немыслимую даль...

Пролетят годы, века, тысячелетия. Земля продолжит свой вечный полет в просторах Вселенной среди неведомых миров, среди немыслимых чудес. Что станется с ней, мы не узнаем. Это случится уже без нас...

А там, где суждено вечно пребывать нашим душам, неужели там ничто не потревожит нас? Не обрадует, не огорчит, не утешит? Неужели мы никогда, никогда не увидим друг друга?

Душа все еще не готова смириться с такой жестокой неизбежностью.

Нет, мы не расстались навсегда! Мы встретимся! Я буду ждать свидания с вами!

Радость предстоящего свидания как-то утешает. А пока я еще жив, и душа болит, и сердце щемит и тоскует по вас, друзья мои, и по тебе, сияющая Ева!

Я говорю вам: до свидания!

25 марта 2004 г. Реховот, Израиль.